

100
жс 34

ЛЕОНИД ЖАРИКОВ

Повесть
о суровом
лесе









ЛЕОНИД ЖАРИКОВ

Новость
о суровом
друзе

Художник И. Ушаков

3788

Жариков Л. М.

ЖЗ4 Повесть о суровом друге/Худож. И. Ушаков. — М.: Сов. Россия, 1980. — 352с.

Герои «Повести о суровом друге» — шахтеры Донбасса и их дети, время действия — революция и гражданская война.

«Повесть о суровом друге» выдержала многократные переиздания, вошла в «Золотую библиотеку» и имеет новую программу.

В настоящее время

«Страницы

как б

Часть первая

В ЦЕПЯХ

Глава первая

ЦАРЬ

*Боже, царя схорони,
Сильный и святой
Царь наш проклятый,
Боже, царя схорони.*

1

Анисим Иванович пришел на берег Кальмиуса, когда англичанин Юз строил там свой металлургический завод. Рыжий мастер-бельгиец хмуро оглядел его рослую фигуру, ощупал мускулы, осмотрел зубы и тогда только черкнул мелом крест на спине и пробурчал: «Пойдешь в шахту!»

Так безродный юноша, пастух из глухой курской деревеньки, стал углекопом.

На заводе, рядом с шахтой, строились доменные печи. Неподалеку находилось кладбище: свежие могилы, а на них кресты, сбитые торопливой рукой. Сюда сваливали обрезки железа; по могилам бродили козы.

За кладбищем Юз сколотил низкие тесовые бараки с нарами в два этажа. Внизу по сырому земляному полу прыгали лягушки. В этих бараках, прозванных балаганами, вповалку, как на станции, жили мужчины и женщины, дети и старики. Там никогда не утихал разноголосый гомон: плач грудных детей, старческий кашель, грубая ругань и тихие вздохи гармошки.

Семейные кое-как отгораживались: старший в семье проводил щепкой по полу черту и говорил соседу: «По ту сторону будет твоя хата, а здесь моя, чтобы скандалу не было».

Но дети не любят границ, они перебегали друг к другу и затапывали черту. Между женщинами начинались ссоры, нередко доходившие до драк.

Над балаганами вечно стоял заводской дым, чад са-
модельных плиток, запах гниющих отбросов. А на сот-
ни верст вокруг — свежая зеленая степь, полная музы-
ки и цветов.

Анисим Иванович ходил нагнув голову, ни на кого
не глядя. Молча спускался в забой, хмурый возвра-
щался с работы, бросал у порога шахтерский обушок
и, не раздеваясь, черный и тяжелый, засыпал на до-
щатых нарах.

Позже, когда по крутому берегу Кальмиуса потяну-
лись кривые ряды землянок, Анисим Иванович женил-
ся и тоже смастерил себе лачугу — низкую, тесную.
Пробил в стене оконце на уровне земли, такое малень-
кое, что, если кто-нибудь заглядывал с улицы, в зем-
лянке становилось темно.

Скоро семья Анисима Ивановича прибавилась —
родился сын.

Окрестили первенца, как полагалось, в церкви. Свя-
щенник отец Иоанн повесил на шею новорожденному
медный крестик на розовой тесемочке и нарек мальчи-
ку имя Василий.

«Сердитый будет», — шутили соседи, глядя, как
младенец хмурит брови. «Бедовый, — замечали дру-
гие, — ишь губы сжал...» — «Не горюй, Анисим, —
ободряли товарищи, — теперь не страшно будет жить
на свете: кормилец растет, заступник твой...»

Началась империалистическая война. Юз вывесил
приказ о том, что рабочий день увеличивается до три-
надцати часов в сутки. А что касается жалованья, то
для пользы многострадального отечества оно сни-
жается.

В ответ рабочие объявили стачку. Юз вызвал на за-
вод полицию, зачинщиков арестовали. Анисима Ива-
новича записали в арестантскую роту и отправили на
передовые позиции.

Три дня только пробыл Анисим Иванович в око-
пах, на четвертый ему снарядом оторвало обе ноги.
Пролежав в лазарете месяц, Анисим Иванович возвра-
тился домой.

Когда поезд привез его в родной край, Анисим Ива-
нович двое суток прожил на станции, не решаясь по-
явиться на глаза жене. Он ползал по деревянному пер-
рону, разыскивая знакомых, чтобы расспросить о се-
мье, но вокруг сухо стучали костыли раненых, мель-

кали чужие, озлобленные лица. Нужно было ехать домой.

Дюжий, подпоясанный кушаком извозчик поднял его на руки, как ребенка, и посадил в кузов старенького фаэтона.

За станцией пошли родные места: белые хатки поселков, рудники, разбросанные по степи, дымящие горы шахтных терриконов.

Наконец въехали в город.

По обеим сторонам улицы потянулись магазины, украшенные вывесками: «Продажа бубликов. П. И. Титов», «Колониальная и мясная торговля. Цыбуля и сын». На доме фабриканта Бродского, лаская взор пестротой красок, висела картина. На ней была нарисована деревянная нога, а внизу надпись:

НОГИ ИСКУССТВЕННЫЕ!
Легки, прочны, изящны!
Цены, а также указания,
как следует снять мерку,
высылаем по первому требованию!
Гиришман и Виндлер
С.-Петербург, Итальянская, 10.
ИСКУССТВЕННЫЕ РУКИ!

По главной улице браво шагали солдаты, поблескивая штыками. Дружная песня с лихим пересвистом взлетала над ошестинившейся колонной:

Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
«Всю Расе-ею завоюю,
Сам в Расе-ею жить приду...»

На солдатах фуражки-бескозырки с жестяными кокардами. Шинельные скатки, точно хомуты, надеты через головы справа налево. На улице — гул от тяжелых шагов и песни:

Врешь ты, врешь ты, царь германский,
Тебе неотколь зайти.

А в другой колонне, идущей следом, гремел в ответ боевой припев:

Ура, ура, ура,
Идем мы на врага
За матушку Россию,
За батюшку царя!..

Анисим Иванович с грустью смотрел вслед удаляющейся колонне новобранцев.

Извозчик свернул в переулок, и фаэтон закачался на ухабах.

Окраина: низкие заборы, сложенные из грубого степного камня, дворы, заросшие лебедой, плач исхудалых детей и треньканье балалайки.

Вдали показалась знакомая белая акация. Сердце Анисима Ивановича сжалось: своими руками посадил он эту акацию под окном землянки.

А вот и она, ободранная, вросшая в землю, но до последней щепки родная завалюшка-хибарка.

Когда Анисим Иванович появился на пороге, тетя Матрена с сочувствием поглядела на него и сказала:

— Бог подаст, солдатик, самим нечего есть...

Но Анисим Иванович не уходил. Тогда она всмотрелась в солдатика и вдруг закричала и повалилась на глиняный пол.

На этом же извозчике ее в беспамятстве отвезли в больницу. Мальчишки сбежались со всей улицы поглядеть на Анисима Ивановича. Осторожно, на цыпочках мы подкрались к окну и заглянули внутрь. Не верилось, что этот великан-шахтер, совсем недавно пугавший нас своим ростом, теперь стал маленьким, как ванька-встанька, и двигался по полу, опираясь на руки.

Мы следили за тем, что будет делать Анисим Иванович. Там, на деревянной кровати, укрытый лоскутным одеялом, спал больной его сын Васька, мой первый друг и защитник. Худые желтые руки больного метались поверх одеяла: должно быть, он бредил.

Анисим Иванович смотрел на сына, и слезы катились по усам. Потом лицо его сморщилось, он ударил себя кулаком по лицу, тонко, по-бабьи, взвыл и ткнулся головой в подушку.

Мы бросились прочь от окна.

Утром Анисима Ивановича тоже отвезли в больницу. Говорили, что он вместо воды выпил полстакана медного купороса и отравился.

Шесть дней землянка Анисима Ивановича стояла заброшенная и мрачная. Наши матери навещали больного Васю, а нас, ребятишек, почему-то не пускали. Но когда на улице темнело, я тайком пробирался в землянку и, нащупав кровать, присаживался на край.

Жуткая тишина пряталась по углам. Где-то за стеной пел сверчок да тикали на стене ходики.

Я подолгу сидел во тьме, прислушиваясь к шорохам ночи, к тихому дыханию друга, и уходил с тяжелым чувством жалости и одиночества.

2

Васька был старше меня, но мы дружили, как братья. Я любил его за смелость. Он ничего не боялся: ни грома, ни собак, ни городских. На старом кирпичном заводе, куда мы бегали играть, Васька забирался по ржавым скобам на самую вершину трубы и весело махал нам оттуда картузом. Сердце заходило от страха, когда он, расставив руки для равновесия, принимался ходить по краю трубы. Все ребята завидовали его смелости.

А еще мы любили Ваську за то, что он знал много сказок про царей, про Змея-Горыныча, про ведьм и богатырей, про ковер-самолет и волшебное зеркальце. И откуда только он знал эти удивительные сказки: ведь Васька был неграмотным. А вот поди ты — можно было всю ночь напролет слушать его страшные и веселые сказки...

Я страдал оттого, что не знал, как помочь больному другу.

Однажды я принес ему за пазухой живых воробьев — наловил под крышей. Воробьи бились под рубашкой, щекотали тело крыльями, а я смеялся. Но Васька глядел на меня грустными глазами, потом тихо сказал:

— Выпусти, зачем их мучить?

Я приоткрыл окошко и по одному стал выпускать взлохмаченных воробьев. Васька с улыбкой глядел, как они срывались и, ошалев от радости, улетали.

В другой раз мне удалось заработать у лавочника Мурата длинную конфету, перевитую ленточкой. (Я отгонял от него мух, пока Мурат спал после обеда под акацией.) Васька обрадовался подарку. Мы разломали конфету пополам, а потом я отломил ему еще кусочек от своей половины...

На седьмой день возвратилась из больницы тетя Матрена. Она ходила, придерживаясь за стену.

Я долго бродил вокруг Васькиной хибарки, боясь

заглянуть туда. Лишь под вечер, когда солнце спустилось за террикон заводской шахты и наша кривая улица стала безлюдной, я незаметно подкрался к раскрытому окошку.

Тетя Матрена неподвижно стояла у постели сына, потом откинула с его лба белесую прядь волос, подошла к окну и долго смотрела на пылающую зарю. Меня поразили ее устремленные вдаль, ничего не видящие глаза.

— Вечерняя заря Маремьяна, утренняя Марёя, — внезапно прошептала тетя Матрена, и я испугался ее хриплого жаркого шепота. — Зоря, Зорница, красна девица. Посватамся, побрякамся: у меня сын Василий, у тебя дочь Марей. Возьми на свою дочь Марей с моего сына Василия болезнь — злую змею. Дай ему сон-покой, угомон во полудни, во полуночи, во всяком часу, во всякой минуте. Буди мои слова крепки, лепки. Аминь.

Последнее слово она повторила трижды, зачем-то плюнула три раза в сторону, дунула на Ваську и перекрестила его. Потом она долго молилась. С темной, засиженной мухами иконы задумчиво смотрел на нее Николай Чудотворец.

На другой день мой отец привез к Васе доктора.

— Ну, как поживаешь, герой? — спросил он, присаживаясь на кровать.

— Хорошо живу, — ответил больной.

— Куда уж лучше... — Доктор оглядел убогую землянку и отвернулся, наверно, не хотел расстраиваться. — Ну-с, давай будем лечиться. Тебя как зовут?

— Василий он, — сказала тетя Матрена. — Вася Руднев.

Доктор приставил деревянную трубку к Васькиной груди и стал слушать. Под конец он сказал:

— Так... Ну вот что, Василий Руднев. Надо тебе мясо есть. Иначе, брат, не поправишься.

Доктор помыл руки, вытер о чистое полотенце. Тетя Матрена молча плакала.

Расстроенный, я вышел из землянки.

Мясо! Где его добыть? Мой сосед, рыжий Илюха, говорил, что завтра в городе будет большой праздник: царь именинник, и по этому случаю в лавках будут раздавать бесплатно пряники, а кому нужно — мясо.

Ночью я то и дело вскакивал — боялся проспать.

Едва забрезжил рассвет, я помчался в город. Лавки оказались закрытыми. Илюха обманул меня.

Оставалось одно: идти на поклон к Сеньке-колбаснику. Отец его, богач Цыбуля, имел в городе много лавок. Они торговали сахаром, колбасой, керосином, кружевами и даже квасом. Во всю стену их дома висела картина, которой я любовался. Там был нарисован козоглазый Илья Муромец в кольчуге, в железной шапке и с бородой, похожей на лопату. В руке богатырь держал деревянную кружку с надписью: «Квас Цыбули». Под картиной помещался стишок:

Квас Цыбули очень вкусный,
В ширину меня раздал,
Силу буйну, богатырску
Он мне очень скоро дал.

К дому Цыбули мы боялись подходить: у них был глухонемой сторож и во дворе по проволоке с кольцом бегали злые псы.

Покричав под окнами: «Сенька, Сенька!» — на что отозвались одни собаки, я пошел в лавку. Когда я робко открыл дверь, под потолком зазвенел колокольчик. Я вздрогнул и оглянулся по сторонам. В лавке никого не было. На конторке стояла керосиновая лампа с зеленым абажуром, лежали счеты. Вдоль стен висели блестящие от жира толстые, перехваченные шпагатом ароматные колбасы. Как аппетитно пахло от них! Кажется, весь день стоял бы и нюхал.

Вдруг за прилавком появился похожий на толстую колбасу отец Сеньки — торговец Цыбуля. Глаза у него были выпуклые, как у быка.

— Чего надо?

— Сеньку.

— Марш отсюда, босяк! Я тебе покажу Сеньку! Воровать ходишь! — И торговец схватил с прилавка длинный ножик. Я толкнул боком дверь лавки и выскочил на улицу.

На крыльцо не спеша вышел Сенька, толстогубый, с выпученными, как у отца, сонными глазами. На нем была шелковая рубаха огненного цвета, подпоясанная серебряным пояском. Из-под черных бархатных штанов выглядывали босые грязные ноги.

— Сень, дай колбасы в долг, — несмело попросил я.

Сенька достал из кармана горсть леденцов и высыпал их себе в рот. Он долго не мог ничего выговорить — хрустел леденцами, потом выплюнул остаток и сказал:

— Могу дать, только не за гроши.

— А за что?

— Буду кататься на тебе верхом.

Кровь ударила мне в лицо.

— Я тебе кокса принесу, — сказал я.

Колбасник глядел на меня скучными глазами.

— Не хочу кокса.

— Рогатку свою отдам!

— Не хочу рогатки. Буду кататься. Отсюда до того столба, три раза.

Как я ненавидел Сеньку в эту минуту, ненавидел его длинную, сплюснутую с боков голову-кубышку, его красную рубаху, его лавку и вонючую колбасу!.. Но я должен был согласиться: ведь я пришел за мясом, и оно спасет жизнь Ваське.

Сопя, колбасник долго взбирался ко мне на спину, устраивался поудобней и ворчал, что я худой и ему жестко на мне сидеть.

— Только синяков об твой хребет набьешь, — бурчал Сенька.

Но вот он весело гикнул и ударил меня пятками по бокам:

— Н-но, кляча!..

Три раза я прокатил Сеньку от крыльца до столба и обратно. А он подгонял меня сзади и, подражая гуляке, напевал:

Когда я на почте служи-ил ямщи-ко-ом!..

С трудом переводя дух, я остановился. Сенька слез и неожиданно сорвал с меня картуз и спрятал за спину.

— Говори: поп или мужик?

— Ну, поп.

— Об землю хлоп, ногой топ! — крикнул Сенька, швырнул на дорогу мой картуз и прихлопнул его ногой.

Я хотел поднять картуз, но Сенька опередил меня.

— Поп или мужик? — снова спросил он.

— Мужик, — ответил я неуверенно.

— Между ног ж-жик!

Сенька нагнулся и между ног далеко закинул мой картуз.

Пока я бегал за ним, колбасник взбежал на крыльцо и показал мне нос:

На четыре кулака...
Обманули дурака.

Я заплакал и пошел прочь. Не то было обидно, что Сенька катался на мне, — придет время, и я на нем покатаюсь. Было обидно, что мяса я не добыл. Теперь Васька помрет.

На углу улицы мне встретился Алеша Пупок, нищий из поселка «Шанхай». У Алеши отец был слепой, мать больная. Чтобы прокормить их, Алеша каждое утро лазил на террикон заводской шахты и собирал там щепки, мелкий уголь. Добычу он отдавал лавочнику Цыбуле и получал за работу фунта два требухи.

Но Сенька отнимал у Алеши его заработок и менял на голубей. При этом он избивал мальчика, стараясь обязательно попасть в нос, чтобы потекла кровь. Алеша молча сносил обиды, иначе Цыбуля отказал бы ему в заработке.

— Ты почему плачешь? — спросил у меня Алеша.

Я рассказал ему, и Алеша подмигнул мне ободряюще. Он достал из холщовой сумы кусок требухи и две картошки: все, что там было.

— На, возьми, — сказал он.

— А ты?

— Обойдусь. — И, чтобы меня не мучила совесть, улыбнулся.

Быстрее ветра помчался я к Ваське: я нес больному спасение.

3

Наступили зимние холода. На крышах землянок, на лавочках возле заборов, на деревьях толстым пыльным слоем лежал снег. По ночам завывали вьюги, ветер хлестал в окошко снежной пылью. В доме становилось холодно. Чтобы согреться, я забирался вместе с котом в теплую духовку и сидел там, прислушиваясь к свисту ветра в трубе.

В эти минуты я думал о Ваське, о том, что он, наверное, тоже думает обо мне. Так я засыпал и не слышал, когда мамка переносила меня к себе в постель.

К утру вьюга утихала. От снега в комнате становилось светло.

Мама растапливала плиту. Зола из поддувала она выносила на улицу и высыпала на чистый снег. На мусор отовсюду слетались галки.

Всю зиму к Ваське ездил доктор. Больной поправлялся медленно.

Анисим Иванович все еще лежал в больнице. Васька так и не виделся с отцом, Васька тогда был в беспомоществе, а когда очнулся, отца уже увезли в больницу.

Так незаметно прошла и весна, наступило лето. Листья на деревьях покрылись копотью от завода. Только степь зеленела по-прежнему. От бахчей веяло сладким ароматом поспевающих дынь.

Как-то утром мы сидели с Васькой под акацией и рассматривали растрепанный журнал «Нива». Васька бережно перелистывал страницы журнала. Там был нарисован портрет храбреца — казака Кузьмы Крючкова, который зарубил на войне семьдесят германцев и двух турок, и было много забавных картинок: ангелы на белых крыльях поднимались в небо, казаки, стоя на спинах лошадей, переправлялись через реку. А вот панцирь-кольчуга, который не берет ни пашка, ни пуля...

Вдруг Васька закрыл журнал.

— Ты чего?

— Царь! — прошептал он, счастливо блестя глазами.

Я заглянул в журнал и увидел картинку во всю страницу.

Царь, увешанный звездами, крестами и медалями, перепоясанный голубой лентой и золотыми шнурами, ласково смотрел на меня. Правой рукой он обнимал мальчика, одетого в чеченский бешмет с кинжалом. За спиной у царя стояли три барышни в белоснежных платьях. Под картинкой было что-то написано. С трудом по слогам я разобрал:

«5 ноября Его Величество Император и Самодержец Всероссийский Николай Второй с Августейшими деть-

ми Их Императорскими Высочествами цесаревичем и Великим князем Алексеем Николаевичем и великими княжнами Ольгою Николаевною, Татьяною Николаевною и Мариєю Николаевною изволили прибыть по Варшавской железной дороге из Скорневиц в Царское Село».

— Вась, дай! — жалобно попросил я.

Васька осторожно вырвал портрет.

— Смотри не замарай...

Руки мои дрожали. Царь! Сколько я слышал сказок о царе, сколько думал о нем! Для меня царь был непонятным человеком. Как и где живет царь? Ходит небось в золотых штанах и серебряных сапогах. Каждый день, наверно, ест борщ с мясом и конфетами закусывает. Чего-чего, а конфет у царя полный сундук! Там и мятная карамель, и «раковые шейки», и ландрин. А еще говорил Васька, что возле царевой хаты есть молочный ставок с кисельными берегами! Захочет царь молока — нырнет и напьется. Захочет киселя — подплывет к берегу и откусит. Сладко царю!..

Я с сожалением вернул Ваське портрет и, чтобы протянуть счастливую минуту, спросил про мальчика на картинке.

— Это царевич и великий князь, — сказал Васька и добавил с уважением: — Алексей Николаевич.

— Почему... великий? — спросил я. — Он же пацан.

Васька сердито протер картинку рукавом, сложил вчетверо и спрятал за пазуху.

— Это кажется, что он пацан. Князь знаешь какой... высокий! — Васька поискал глазами, с чем сравнить великого князя, и остановился на акации. — Вот как это дерево! А царь еще выше! И сильный, знаешь какой? Похлеще Ильи Муромца! Если даст левой рукой — двадцать человек с ног!

— А правой?

— Правой — сто!

— Наверное, не сто, а тыщу, — сказал я. — Царь может целый дом поднять и закинуть вон до того сарая.

— Конечно, может, — согласился Васька и стал хвастаться: — Мой батя за царя воевал, а еще за веру и это... за отечество.

Мне вспомнился Анисим Иванович, его обрубленные ноги, и я спросил:

— Вась, а зачем война бывает?

— Как зачем? Ихний царь нашему по морде дал, а мы смотреть будем?

— Ударил? За что?

Васька помолчал.

— То-то и обидно, что ни за что. Позвал нашего царя к себе. «Приезжай, — говорит, — гостем будешь». Наш поверил, приезжает. Заходит к германскому царю в хату и говорит: «Здорово!» Тот навстречу: «Мое почтеньице, приехали!» — и рр-аз по морде нашему царю! Наш развернулся — и тому в зубы. Тот нашему. И пошло. Так до сих пор и идет война.

Васька помолчал, потом продолжал:

— Германского царя Вильгельмом зовут, усищи как у таракана. А наш царь в панцире воюет. У него сабля из золота, меч называется. Меч — головы сечь!

— Вась, а на войне страшно?

— Еще как! Пули свистят, снаряды воют... Жуть что делается!

— А твоего отца снарядом ранило?

— Пушка по ногам проехала, — нехотя отозвался Васька, потом опять похвалился: — Мой отец царя спас. Когда немецкая пушка покатила на царя, батя схватил ее и остановил, да вот беда, сам под колеса попал...

Я задумался, не понимая, почему германская пушка гналась за царем, но легко представил, как Анисим Иванович ухватился за колеса пушки и задержал ее. На нашей улице не было человека сильнее Анисима Ивановича. Бывало, соберет он шахтерских парней, одного посадит на шею, двое повиснут на руках, еще человека три просто так уцепятся за него, и он давай их вертеть, точно мельницу.

Васька помолчал, лицо его посветлело: что-то радостное было у него на душе.

— Я скоро тоже себе панцирь сделаю и пойду на войну за веру, отечество и еще за царя... Ты думаешь, я не сильный? Вот смотри...

Васька поднял валявшийся обломок рельса, на котором выпрямляли гвозди, и хотел поднять его. В это время к землянке подъехал фазтон. Извозчик снял с

пролетки и опустил на землю что-то тяжелое: я взгляделся и увидел безногого человека.

— Спасибо, брат, — сказал калека и, опираясь о землю руками, направился к нашей калитке. Я похолодел от страха, узнав Анисима Ивановича.

Васька глядел на отца испуганно и вдруг бросился бежать от него.

— Вася, сынок! — Анисим Иванович пополз за ним вслед, но Васька перескочил через забор и скрылся.

4

...Я нашел Ваську в степи. Он лежал в высокой траве среди цветов и смотрел в бездонное небо.

Я сел рядом. Трава была мягкая и теплая. Пахло чабрецом. Легкий ветерок приносил горьковатый дым завода. Он смешивался с медовым запахом желтой сурепы и бледно-розовых граммофончиков. Серебрились на солнце шелковые кисти ковыля, покачивали на ветру пахучими лиловыми шапками высокие «бабки». Невдалеке расселся среди душистого горошка колючий будяк, окруженный шмелиным гудением. Взять бы сейчас мою деревянную саблю и срубить голову этому будяку.

Почему так грустно?

Васька лежит и плачет. Какой бы подарок сделать, чтобы ему не было так больно? Все-все я отдал бы, но у меня ничего не было.

Хорошо лежать в степи и смотреть, как по голубому небу кочуют облака! Далеко до них: кричи — не докрикнешь, лети — не долетишь. Там, на облаках, живет бог. Я смотрел в небо и думал: где это у бога хранится вода для дождя? Васька говорил, что снег там лежит в длинных белых сараях. Утром бог встает, берет лопату и начинает скидывать снег на землю. И снег летит, летит пушистыми хлопьями, садится на крыши, на деревья, на шапки людям...

Интересно жить на свете! Вон там, за синеющим вдали Пастуховским рудником, конец света. Земля кончается, и вдруг — обрыв, а внизу — облака.

Бог плывет по небу и смотрит на землю, следит, кто что делает: кто грешит, кто молится, кто ворует. А потом зовет к себе Илью-пророка и приказывает: «Пророк Илья, вон того человека разбей громом — он в бо-

га не верует, а бедняка, что сидит около хаты и плачет, — награди».

Хорошо бы, наградил бог Анисима Ивановича...

Жалко Васю, а он все молчит...

Незаметно под пение птиц и стрекот кузнечиков мы уснули. Проснулись только под вечер, когда солнце опустилось к земле.

— Идем домой, Вась, — позвал я.

Лицо у Васьки опухло от слез.

Я долго уговаривал его, и он наконец согласился. Я первый вошел в землянку. Анисим Иванович спал на деревянной кровати, укрытый лоскутным одеялом.

Васька бережно вытащил из-за пазухи портрет царя, поклонялся с обратной стороны и приклеил к стене. Мы смотрели, любуясь царем.

Анисим Иванович проснулся, оглядел землянку и остановил хмурый взгляд на портрете царя.

— Вася, — сказал он, — сними эту бумагу и спали в плите.

Тетя Матрена испугалась, а мы с Васькой остановились в растерянности.

— Спали, чтобы я не видел ее в хате, — повторил Анисим Иванович и устало закрыл глаза.

Я не понимал, почему Анисим Иванович велел сжечь царский портрет. Я всю жизнь мечтал быть царем и однажды чуть не утонул, переплывая глубокое место на Кальмиусе только для того, чтобы ребята называли меня царем. И вдруг... сжечь?

Васька снял портрет, но тетя Матрена отобрала его, отозвала нас в сени и зашептала, грозя пальцем:

— Не говорите, что я заговала, и не слушайте его. Нельзя так. Царь-батюшка любит нас, думает о каждом, сердцем болеет.

Тетя Матрена перекрестилась.

На другое утро, когда я прибежал к Ваське, Анисим Иванович сидел на кровати, обняв сына и прижавшись жесткой щекой к его белобрысой голове.

— Не работник я теперь. Тебе, Василий, придется мать кормить.

— Не бойся, батя, — сурово проговорил Васька. — Я вас обоих прокормлю, и тебя и мамку...

В землянку вошел мой отец. Рядом с Анисимом Ивановичем он казался еще выше, чем был. Он при-

гнулся, чтобы не стукнуться головой о низенькую при-
толку.

— Ну кому я теперь нужен без ног? — спрашивал
Анисим Иванович у отца. — Одна дорога — в петлю...

Отец успокаивал его, советовал заняться сапожным
ремеслом, говорил о помощи какого-то комитета, обе-
щал купить сапожный инструмент.

На другой день он в самом деле принес домой це-
лую кошелку ножей, колодок, деревянных гвоздей и,
не раздеваясь, пошел к Анисиму Ивановичу. Я побе-
жал за ним.

— Ну, Анисим, — сказал отец, входя, — веселись,
брат, целую фабрику тебе принес.

Он поставил перед Анисимом Ивановичем кошелку
и вынул из кармана пачку старых рублей, похожих на
тряпки.

— Вот, ешь, пей и сапоги шей, а на горе наплюй.
Если всю жизнь горевать, когда же веселиться?

— Спасибо тебе, Егор, — сказал Анисим Ивано-
вич. — Только ноги вот не купишь...

— Ничего, Анисим, — отец махнул рукой. — Зна-
ешь, как пословица говорит: «Сам без ног, а смекнет
за трех». Ты у нас еще героем будешь. Погоди-ка...

Отец скрылся за дверью, но скоро опять вернулся.
Вместе с ним вошел Мося, сапожник с нашей улицы.
Что-то пряча за спиной, отец улыбался.

— А я тебе что принес, Анисим... — Он поставил
на пол низенькую, на маленьких колесиках тележ-
ку... — Коня тебе принес. Гляди, какой рысак!

Анисим Иванович засмутился:

— Да что ты, Егор...

— Ладно, ладно, садись!

Анисим Иванович неловко влез на тележку, отец
чуть подтолкнул его, и он покатился.

— Ловко ты придумал, Егор, — сказал Анисим
Иванович, повеселев, — этак и на базар могу съездить,
и в лавку.

— Ну вот... — отец указал на Мосю, — а это я учи-
теля привел. Он тебя своему делу выучит, объяснит,
как туфля шьется, как сандаля или, скажем, сапог.

Анисим Иванович сказал дрогнувшим голосом:

— Золотой ты человек, Егор. Душа у тебя теплая.

— Будет... Перехвалишь, на один бок кривой
стану.

В землянке наступило неловкое молчание. На плите протяжно завыл голубой, с помятым боком чайник. Отец взглянул на нас с Васькой и весело кивнул:

— Чего стоите рты нараспашку? Нате вам на гостинцы, ступайте гулять. — И отец дал нам новые, пахнущие медью три копейки с царским орлом и рубчиками по краям.

Обнявшись, мы с Васькой выбежали из землянки.

5

На дворе ярко светило солнце. В небесной синеве, сверкая крыльями, кувыркались голуби.

На другой стороне улицы столпились ребята и спорили, кто дальше прыгнет. Илюха гадал, кому прыгать первому. Шлепая то одного, то другого ладонью по груди, он считал:

Цынцы-брынцы, балалайка,
Цынцы-брынцы, заиграй-ка.
Цынцы-брынцы, не хочу.
Цынцы-брынцы, спать хочу.

Цынцы-брынцы, куда едешь?
Цынцы-брынцы, на базар.
Цынцы-брынцы, чего купишь?
Цынцы-брынцы, самовар.

Одноногий чернолицый гречонок Уча прыгнул дальше всех.

— Это не в счет, — горячился Илюха, — ишь хитрый: с костылем и я так прыгну!

Сын конторщика Витька Доктор, прозванный так за свои плюшевые короткие штанишки, перенес палочку-метку дальше и предложил:

— Кто допрыгнет сюда, тот будет царь!

Ни слова не говоря, Васька растолкал ребят, разбежался и прыгнул, да так далеко, что все закричали:

— У-ю-ю!..

— Васька — царь!

Но Васька даже не улыбнулся, кивнул головой, и мы пошли в лавку Мурата покупать гостинцы. В лавке пахло керосином, конфетами, дынями и дегтем. Мы купили на все наши деньги целый кулек вишен, три конфеты и пряник — расписного коня. Мы вышли из лавки счастливые.

На углу улицы печально играла шарманка. Слепой отец Алеши Пупка, босой, в заплатанных штанах, вертел ручку шарманки и хриплым голосом пел:

Судьба играет человеком,
Она изменщица всегда:
То вознесет его высоко,
То бросит в бездну без стыда-а...

Шарманка была прибита к высокой палке. Ее облезлые бока отливали перламутром, а низ был отделан бахромой с помпончиками.

Подпевая за стариком, шарманка то свистела поптичь, то дудела трубными звуками или начинала тихонько всхлипывать, будто ей самой было жалко человека, которого судьба бросила в бездну без стыда. Красные помпончики чуть покачивались от ветерка, ударялись один о другой, и тогда казалось, будто заунывная, трогающая за душу музыка исходила от них.

Отец Алеши Пупка когда-то работал газожогом в шахте. Мой отец рассказывал, какое это было опасное дело. Углекоп надевал на себя овчинный тулуп, вывернутый наизнанку, обматывал лицо мокрыми тряпками и спускался в шахту. Там, под землей, нужно было поджечь скопившийся газ, а самому упасть в канаву с водой и ждать, пока газ выгорит. Алешкиному отцу не повезло. При взрыве ему выжгло глаза. Когда он вышел из больницы, товарищи сложились и купили ему у персиянина подержанную шарманку вместе с попугаем...

Мы подошли ближе и стали слушать, как поет шарманка.

Сверху на тонкой переключинке сидел обтрепанный желто-зеленый попугай. Он был прикован за лапку медной цепочкой с кольцом. Спрятав голову под крыло, попугай дремал и, как видно, не слышал ни говора людей, ни звуков шарманки.

Возле шарманщика стоял городской в белом кителе, с облезлой черной шашкой, свисающей до земли. Оранжевый шнурок от револьвера обвивал его шею. В руках городской держал по куску кавуна и, вытянув шею, чтобы не закапать китель, хлюпая, грыз то один, то другой кусок. С усов у него текло, к бороде прилипли черные косточки.

Это был известный всему городу полицейский, по прозвищу Загребай. Его ненавидели даже собаки.

— Попка-дурак, — забавлялся городской, тыча в клюв попугая коркой от кавуна.

— Дур-рак, — вдруг отчетливо прокартавил попугай и угрожающе растопырил куцые крылья.

Мы с Васькой разинули рты от удивления — птица говорила по-человечески!

В толпе смеялись, а попугай будто понимал, что именно он рассмешил людей, и повторял как заведенный:

— Дур-рак! Дур-рак!

— Н-но, ты! — пригрозил городской и сбил попугая арбузной коркой. Птица повисла на цепочке вниз головой и беспомощно хлопала по шарманке зелеными крыльями.

Городовой наступал на нищего:

— Чему скотину учишь, балда?

Пятясь от полицейского, старик споткнулся и упал, повалив и шарманку. Медяки, звеня, покатались по пыльной земле. Городовой пнул слепого ногой.

— Проваливай! Живо!

В это время мимо проходил отец Абдулки Цыгана, дядя Хусейн. Он работал на доменных печах каталем, возил тяжелые тачки с рудой. Дядя Хусейн, уставший, едва плелся и нес под мышкой охапку дров.

— За что ты человека обидел? — вступился за нищего дядя Хусейн. — Думаешь, как тебе сеledку прицепили, так можно над людьми издеваться?

— А тебе чего надо, татарин — кошку жарил? — огрызнулся городской, отряхивая шаровары. — Тоже понимает: «че-ло-век».

— Вот ты-то и не человек, — сказал дядя Хусейн. — Держиморда ты, хрюкало императорское!

Городовой выпучил глаза:

— Чего, чего? Государя императора чернословишь?

Городовой схватил дядю Хусейна за грудки:

— А ну стой!

— Стою. Чего мне бежать? Я правду говорю.

Загребай сунул в рот свисток и, надувшись от натуги, принялся свистеть.

Из-за угла, придерживая на ходу шашку, выбежал городской, за ним другой, третий. Они схватили дядю



Хусейна. Один ударил его по лицу, другой разорвал на нем рубашку.

Дядя Хусейн был коренастый и сильный — в каждом кулаке по пуду. Озлившись, он начал расшвыривать городских. Но прибежал на помощь еще один, и они поволокли дядю Хусейна в чей-то двор.

Люди бросились к щелкам забора, но Загребай отгонял:

— Разойдись!

Со двора доносились глухие удары, возня и голоса полицейских:

— Под печенки ему, Герасим, под печенки!

Стало жутко. Люди на улице взволнованно зашумели:

— Надо заступиться, ведь убивают человека!

— Поговорите еще... В Сибирь сошли.

В эту минуту из-за угла, блистая черным лаком, выехала пролетка. В ней сидела барыня в шляпе, а рядом — пристав, одетый в белый мундир с золотыми пуговицами.

Как видно, пристав дал знак, кучер натянул вожжи, и кони остановились, перебирая ногами.

Загребай козырнул приставу:

— Ваш благородь, здесь один мастеровой кричал: «Долой царя!» — и ударил меня по морде.

— Врет он! — зашумели в толпе люди.

— Ваш благородь, истинный бог, правда. — И городской перекрестился.

Пристав лениво махнул рукой и приказал:

— Арестовать!

— Господин пристав, рабочий не виноват! — кричали люди.

— Я лучше знаю, кто виноват, а кто нет, — ответил пристав, и пролетка покатила.

Городовые выволокли со двора дядю Хусейна. Я взглянул на него и отшатнулся: он был весь в крови, ноги безжизненно волочились по земле...

— Господи, куда же царь смотрит? — сказал высокий худой человек в очках.

— Турку в ухо твой царь смотрит, — ответил старичок и зло сплюнул.

— Так вам и надо, бунтовщикам, — ворчал Загребай. — Только знаете бастовать, а работать вас нету. На войну всех, тогда узнали бы...

— Тебя там и не хватает...

— Молчать!..

На место сборища прискакали двое верховых полицейских. Они завертелись на конях среди толпы, неистово размахивая плетками:

— Разойдись, а то всех в тюрьму!

Люди хмуро стали расходиться. Я тоже отошел.

Один Васька стоял посреди улицы, заложив руки в карманы, и не двигался с места. Лицо у него побледнело от какой-то непонятной решимости.

Сначала полицейские не замечали его, тесня толпу к забору. Потом один из них повернул коня и увидел Ваську.

— Чего стоишь? Кому сказано? Разойдись!

— А я не разойдусь! — упрямо заявил Васька и твердо сжал губы.

Полицейский замахнулся плеткой:

— Уходи!

— Не уйду, здесь наша улица!

— Стебани его, Ермил! — крикнул второй полицейский, натянув повод коня.

— А я все равно не уйду!

Полицейский направил лошадь прямо на Ваську, но она, откинув морду, свернула, задев его грудью.

— Уходи, а то убью! — И он с маху стеганул Ваську плетью по спине, потом второй раз и третий.

Но Васька только глубже засунул руки в карманы и не ушел.

— Ну его к свиньям, Ермил, поехали!

Полицейские ускакали. Васька постоял еще немного, потом не спеша пошел вдоль улицы. В глазах у него стояли слезы. Я шел сзади. Васька остановился, поглядел в ту сторону, куда ускакали полицейские, и проговорил со злостью:

— Ваше благородие — свинья в огороде.

— Вась, пойдем к Алеше Пупку, скажем про отца.

Васька не ответил, но согласился и первым пошел к дому Алеши. Какое-то время мы шли молча. Мне было жалко Ваську.

— Больно, Вась?

— Ни капельки...

— А почему плачешь?

— Кто тебе сказал? И не думаю плакать.

— Я вижу...

— Обидно, — сказал Васька, — за что они дядю Хусейна топтали, ведь он за слепого заступился!..

— Это все Загребай... И правда, хрюкало...

Алешу Пупка мы застали дома. Лицо у него было грустное: только что похоронил попугая. Птицу ему принесли вместе с разбитой шарманкой. Слепого отца тоже люди привели, уложили в постель, и кто-то сказал, что он, наверно, больше не поднимется.

Мы посидели на лавочке, Васька взял Алешу за руку и попросил:

— Покажи тетрадку...

— Какую? — не понял Алеша.

— Ту, что с песнями... Помнишь, ты пел про солдата?

Алеша повел нас в тайный уголок за сараем и под большим секретом показал растрепанную клеенчатую тетрадь, куда были переписаны разные песни: про Ваньку-ключника, про атамана Чуркина, а больше всего про рабочих. Я читал и удивлялся: во многих песнях говорилось про нашу жизнь — про дядю Хусейна, про моего отца и даже про нас с Васькой. Но одна песня так мне понравилась, что я запомнил ее слово в слово:

От павших твердынь Порт-Артура,
С кровавых маньчжурских полей,
Калека-солдат истомленный
К семье возвращался своей.

Спешит он жену молодую
И малого сына обнять,
Увидеть любимого брата,
Утешить родимую мать.

Пришел он... В убогом жилище
Ему не узнать ничего:
Другая семья там ютится,
Чужие встречают его.

И тиснуло сердце тревогой:
«Вернулся я, видно, не в срок...
Скажите же мне ради бога,
Где мать, где жена, где сынок?»

Васька сидел задумчивый и молчал. Теперь я понимал, почему он попросил Алешу показать тетрадку. Ведь это про его отца рассказывала песня, про то, как он пришел с войны без ног. И не мог я оторваться от песни, читал, что было дальше:

«Жена твоя... сядь, отдохни-ка,
Небось твои раны болят».
«Скажите мне правду скорее,
Всю правду!» — «Мужайся, солдат!

Толпа изнуренных рабочих
Решила идти ко дворцу:
Защиты искать с челобитной
К царю, как к родному отцу.

Надев свое лучшее платье,
С толпою пошла и она,
И насмерть зарублена шашкой
Твоя молодая жена».

«Но где же остался мой мальчик?»
«Сыночек твой?! Мужайся, солдат!
Твой сын в Александровском парке
Был пулею с дерева снят».

«Где мать?» — «Помолиться Казанской
Старушка к обедне пошла,
Избита казацкой нагайкой,
До ночи едва дожидла».

— Читай, читай. — В голосе Васьки слышалась
тоска. Разбирая с трудом Алешины каракули, я про-
должал читать по складам:

«Не все еще взято судьбою:
Остался единственный брат,
Моряк и красавец собою...
Где брат мой?» — «Мужайся, солдат!»

«Ужели и брата не стало?
Погиб, знать, в Цусимском бою?»
«О нет, не сложил у Цусимы
Он жизнь молодую свою.

Убит он у Черного моря,
Где их броненосец стоит,
За то, что вступился за правду,—
Своим офицером убит».

Вот такая печальная была эта песня. И заканчива-
лась она хорошими словами:

Ни слова солдат не промолвил,
Лишь к небу он поднял глаза,
Была в них великая клятва
И будущей мести гроза!

И все-таки жалко было Алешу Пупка, и Ваську,
и себя самого...

Мы возвратились домой, когда на улице уже стемнело.

В землянке тускло светил каганец. Наши отцы, механик Сиротка и Мося о чем-то горячо спорили.

Мы с Васькой легли на скрипящий сундук. На душе было тяжело. Хотелось плакать от обиды за дядю Хусейна. За что его городовые топтали ногами? За что убили Алешиного попугая?

— И твоя правда, и моя правда, и везде правда, и нигде ее нет, — услышал я голос Анисима Ивановича. — Почему же нет правды, куда она девалась?

— Кошка съела правду.

— То-то и оно... Вот, скажем, ты, Мося, всю жизнь работаешь, тыщу сапогов сшил, а ходишь босой. Почему?

— Потому, что я еврей.

— Неверно! — Анисим Иванович хлопнул ладонью по столу так, что заколебалось пламя над краем блюда. — А почему у Бродского на пальцах бриллианты, ведь он тоже еврей? Я русский, а живу, как нищий. В чем тут дело?

— Во власти дело, в царе, — сказал мой отец.

Анисим Иванович взял со стола железную ложку и показал Мосе:

— Вот ложка. Кто ее сделал? Мы с тобой, рабочие. А завод англичанину Юзу кто построил? Опять же мы, рабочие. Кто дворцы царские создал? Кто корону царю отлил из золота и разукрасил бриллиантами? Мы, трудящийся народ!.. Кто же, выходит, настоящий хозяин России? Царь? Нет, рабочий народ! Почему же он в лохмотьях ходит?

— Об этом и в песне поется, — сказал отец.

Кто одевает всех господ,
А сам и наг и бос живет?
Все мы же, брат рабочий!

— Возьми Егора: идет в сапогах, а след босиком, — продолжал Анисим Иванович. — А колбасник Цыбуля сапожную фабрику имеет. Почему же один беден, а другой богат? А потому, что всегда так было: богатый обкрадывал бедного.

— Царь-батюшка повелел, — вступил в разговор механик Сиротка.

— Царь первый помещик, — добавил отец. — Восемь миллионов десятин земли имеет. У царицы Александры Федоровны одних бриллиантов на десять миллионов рублей. Сколько можно на эти деньги накормить голодных?

— То-то и оно, — отозвался Анисим Иванович. — Вот, к примеру, ведем мы войну. Кому нужно это кровопролитие?

— Богатеям, — ответил отец, — теперь самое время нажиться на войне.

Анисим Иванович поддержал:

— Именно так. Я там был. Солдаты разуты и безоружны. Один стреляет, а трое ждут, когда этот горемыка примет свой смертный час, чтобы его винтовку взять. Немцы засыпают нас снарядами, а нам прислали на фронт три вагона икон и крестиков. И русский герой солдат идет с этим крестиком против германских пушек. Вот тебе и царь всея Руси!

— Шпионы кругом, — вставил Мося, — генералы — шпионы, министры — шпионы. Сама царица — немка, что вы хотите?

— До чего довели Россию! — вздохнул Анисим Иванович. — Земля богата, народ великий. Весь мир этот народ может повести за собой, а вместо того мрет с голоду.

Анисим Иванович помолчал, точно ему трудно было говорить, потом заключил с горечью:

— Так и со мной: ноги были — жил помаленьку, а оторвало, — он развел руками, — что теперь делать? Куда идти? К царю? Так это он и отнял у меня ноги.

Васька уже давно с тревогой прислушивался к речи своего отца, а тут вскочил с сундука и со сжатыми кулаками подбежал к Анисиму Ивановичу:

— Батя, где живет царь? Где его хата?

Васька волновался. Голубые глаза его сверкали. Не дождавшись ответа, он бросился к моему отцу:

— Дядя Егор, где царева хата?

— До бога высоко, до царя далеко, — ответил за отца механик Сиротка.

Анисим Иванович обнял Ваську и погладил его белую нестриженую голову.

— Слушай, сынка, слушай и помни. Я, может, скоро помру, а ты помни: отца твоего царь-собака загубил.

Баська отошел, улегся на сундук и долго лежал с открытыми глазами. Я тоже думал о царе. В голове моей была путаница: тетя Матрена говорит, что царь о нас сердцем болеет, а дядя Хусейн назвал городского императорским хрюкалом. Я всю жизнь мечтал быть царем, а он, оказывается, оторвал у Анисима Ивановича ноги...

За столом становилось все шумнее. Сквозь синий туман махорочного дыма виднелось окно, завешенное старым одеялом.

— Чем так жить дальше, лучше смерть... — горчился Мося.

— Ничего, — возразил отец, — пословица говорит: народ вздохнет — поднимется буря.

Разговоры доносились ко мне все глуше, по стенам двигались тени, я закрыл глаза...

Передо мной в миллионах огней сверкала церковь. Тихо играла музыка. На высокой золоченой табуретке сидел царь, а возле него лавочник Мурат. Указывая на меня пальцем, Мурат говорил: «Ваше благородие, господин царь, у этого мальчика нужно оторвать ноги».

Царь молчал. Тогда со скамейки поднялся Анисим Иванович и сказал: «Отдайте Леньке мои ноги».

Я смотрел на Анисима Ивановича и удивлялся: откуда взялись у него ноги?

А Мурат не унимался: «Ваше благородие, господин царь, Ленька у меня в магазине конфеты воровал».

Я хотел сказать, что это было один раз и что я больше не буду, но царь твякнул и зарычал на Мурата, скаля зубы.

Потом царь уже стал не царь. На троне сидел наш Полкан и яростно лаял.

«Полкан, Полкан!» — позвал я.

Он прыгнул наземь, стал передними лапами мне на грудь и лизнул в лицо. Потом хлопнул по плечу лапой и сказал: «Пошли, сынок».

...Я проснулся. Надо мной стоял отец. Сонный, я сполз с сундука. Анисим Иванович выехал за нами на тележке.

В сенях отец сказал ему:

— Много я тебе не открою, скажу только, что чело-

век этот из наших шахтерских краев, а точнее, из Луганска. Ты ставни и дверь почини, чтобы ни одной щелочки не было. Знай, дело мы начинаем великое. Слова явки помнишь?

— Помню.

— Ну, прощевай... Давай руку, сынок.

Мы вышли на улицу. Со стороны Семеновки дул ветерок, доносивший запахи ночной степи. Слева, освещенный заревом, грохотал завод. Где-то среди землянок печально играла гармошка и хриплый голос пел:

У шахтера душа в теле,
А рубашку воши съели,
Пьем мы водку, пьем мы ром,
Завтра по миру пойдем.

В другом конце поселка кто-то надрывно тянул:

А молодого коногона
Несут с разбитой головой...

Мы с отцом спали во дворе под акацией. Глядя на звезды, я снова стал думать о царе. Что, если он забредет на войну моего отца и оторвет ему ноги? Я так испугался, что сунул руку под одеяло и пощупал ноги отца. Он заворочался.

— Пап, а пап, — встревоженно позвал я.

Отец не отозвался. Я потрогал его за плечо.

— Чего тебе? — не открывая глаз, спросил он и повернулся ко мне спиной.

— Слышь, пап... Тебя не возьмут на войну?

— Нет, сынок, спи, — ответил отец и глубоко вздохнул, засыпая.

Я помолчал, но успокоиться не мог:

— Папа, а у тебя царь не оторвет ноги?

— Нет, спи, — глухо пробормотал отец.

Но мне не спалось. Тревога не покидала меня. Прислушиваясь к ночной тишине, я думал и никак не мог понять: почему царя не утопят в ставке, если он отгрызает у людей ноги?

В ночной тишине где-то далеко прозвучал паровозный гудок. Непокорно зашевелился дремавший на ветке воробей.

— Папа, а чего царя не убьют? — спросил я снова.

— Убьют, убьют... спи, — уже еле выговорил отец, и я заснул, успокоенный.

Глава вторая

БОГ

*Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозите свирепо тюрьмой, кандалами,—
Мы вольны душою, хоть телом пограны.
Позор, позор, позор вам, тираны!*

1

Поплыли над землей осенние тучи, мокрые, растрепанные. Они так низко нависли над поселком, что цеплялись грязными космами за деревья. Темно и тесно стало жить. Дни и ночи хлестал холодный дождь с ветром.

Как ни помогал мой отец Анисиму Ивановичу, семья их бедствовала. Часто у них не было в доме даже ведра угля, чтобы растопить плиту. Пришлось Васе определиться на работу.

Сначала его не принимали. Мастер и слышать не хотел, чтобы взять на завод такого маленького. Тогда люди посоветовали тете Матрене пойти в церковь к отцу Иоанну. Он продавал года — кому сколько надо. Год стоил три рубля. За девять целковых Васке выдали святую бумажку, по которой ему вместо одиннадцати сразу стало четырнадцать лет. Тогда его записали в рабочие и даже выдали круглый жестяной номерок с дырочкой и выдавленным числом «733».

Вечером мы собрались возле Васькиной землянки, чтобы в последний раз побыть со своим вожакom. Пришел гречонок Уча, худенький мальчик-калека с черными глазами и горбатым носом, Абдулка Цыган, чей отец, дядя Хусейн, теперь ни за что сидел в тюрьме, и рыжий Илюха, которого все мы недолюбливали. Отец Илюхи работал банщиком. Вся их семья славилась жадностью — камня со двора не выпросишь. Илюха вечно ходил сопливый. Лицо и руки были густо усыпаны веснушками: как будто маляр, балуясь, тряхнул ему в лицо кистью с краской. Ресницы у Илюхи были белые, как у свиньи. Уважали его только за то, что он умел шевелить ушами.

На улице, погруженной во тьму, было тоскливо и пусто. В черном небе мерцали звезды.

Закутавшись в старые ватные пиджаки, мы тесно

сгрудились на лавочке, согревая один другого. Рыжий Илюха, глядя на звезды, рассказывал нам, что небо — это терем божий, а звезды — окна в этом терему. Для каждого человека, когда он рождается, бог открывает в небе окошко. На подоконник садится ангел со свечой в руке. Когда человек умирает, ангел тушит свечу, закрывает окошко и уходит.

«Интересно, где там мое окошко?» — подумал я, глядя на звезды, а они сверкали, как живые, и то пропадали во тьме, то опять вспыхивали...

— А богово окошко где? — спросил Уча, косясь на Илюху черными, как два жука, хитрыми глазами.

Илюха презрительно хмыкнул:

— Не знаешь? Эх ты, а еще православный! Самое большое окно богово.

— А какое? — спросил Абдулка Цыган, большегоубый, коренастый татарчонок.

— Гм, какое... Отгадай!

Абдулка молчал. Мы тоже не знали. Тогда Илюха объяснил:

— Луна, вот какое!

Уча ядовито заметил:

— Значит, днем бог ничего не видит?

— Почему это? — настороженно спросил Илюха.

— Потому что днем луны не бывает.

Илюха громко засмеялся:

— Чудак-рыбак. Зачем луне светить днем, если и так видно? Другое дело — ночью, когда темно и надо светить.

— А сейчас бог видит что-нибудь? — спросил вдруг Васька, сидевший до того в молчаливой задумчивости.

— Сейчас?

— Да.

— А то как же? — поспешно ответил Илюха. — Бог всегда все видит.

— А ведь луны нету, как он видит?

Васька удивил всех. И правда, как же бог видит в темноте, если луны нет?

— Тю, дурной, — возмутился Илюха, — ангелы на небе зачем? Они смотрят и обо всем богу рассказывают. У человека всегда слева ангел, а справа черт с копытами. Ангел от смерти спасает, а черт на грех наводит. Даже когда мы спим, ангелы караулят около по-

душки. Один раз интересный случай был: Просыпаюсь утром, открыл глаза, гляжу, а он сидит сбоку.

— Кто?

— Тебе же говорят — ангел. Сидит на табуретке и дремлет. Я ка-ак вскочу, а он захлопал крыльями и улетел.

— Куда? — спросил я, пораженный словами Илюхи.

— «Куда, куда»! Закудыкал. В трубу улетел.

— Там же сажал!

— Ну и что? Он в ставке искупается и опять чистый летит на небо.

— Врешь ты, Илюха, — с досадой проговорил Васька.

Илюха оправдывался:

— В божьем писании так сказано, а я здесь ни при чем. Да ты сам Леньке говорил про рай и про чертей, забыл, да? Забыл?

— Забыл я или не забыл, то мое дело, — хмуро отозвался Васька, — а врать, что живого ангела видел, незачем.

— Могу показать перо от крыла ангела, если не веришь.

— Опять врешь.

— Чтоб я провалился! Когда ангел вылетал в трубу, он зацепился за гвоздик, и перо выпало. Хотя сейчас идем, посмотришь, за иконами у нас лежит.

— То небось петушиное.

— Петушиное, как бы не так!

Ребята примолкли. Видя, что больше никто не возражает, Илюха, глядя в небо, блещущее звездами, продолжал:

— А во-он дорога в рай, видите, где звезды густой полосой тянутся. По этой дороге праведники после смерти идут в рай. Там у ворот стоит святой Петр с золотыми ключами и стережет. У него на дурницу в рай не проберешься.

— Документы требует? — простодушно спросил Абдулка.

Васька усмехнулся:

— Пачпорт!

— Не пачпорт, а крест на шее, — поправил Илюха. — Если грешник — крест будет заржавленный, а у праведника — новенький, сияет, как солнце. Если

святой Петр увидит, что грешник хочет незаметно в рай пробраться, то сейчас его за шиворот — и под зад коленкой.

— А кто в раю живет? — не унимался Абдулка.

— В раю живут Адам и Ева.

— Еще кто?

— Я же говорил: праведники. Те, которые безгрешно жили на земле. Моя бабка там живет.

— Откуда ты знаешь?

— Во сне видел.

— Тью, во сне... — насмешливо протянул Уча. — Бабку видеть во сне к дождю.

— И вовсе не к дождю... А потом, я где видел бабку? В раю, будто она сидит под райским деревом и золотые яблоки ест. В раю хорошо. А возле ада, прямо у калитки, сидит на цепи страшная-престрашная собака о семи головах, Санхурха называется.

Хотя я чувствовал, что Илюха врет, все же было интересно слушать его рассказы.

Поздно в этот вечер разошлись мы по домам.

Ваське нужно было ложиться, чтобы утром не проспять на работу. Расставаясь, мы взяли друг друга за руки. Наверно, ему тоже было тяжело; он вздохнул и сказал ободряюще:

— Ничего, Лень. Зато денежек заработаю. Батька даст нам гривенник, и накупим мы целую шапку пряников и «раковых шеек», а хочешь — голубей купим.

— Голубей лучше, — сказал я, стараясь подавить слезы.

— Ладно, купим голубей: красноперых, чернохвостых, «монаха» одного купим...

Безрадостным был наступивший день. Потерянный, слонялся я по улице, не зная, куда себя девать. Поиграл возле калитки с Полканом: закидывал палку и заставлял принести обратно. Потом смотрел в щелку забора, как Илюхина мать стирала во дворе белье. Надоело и это. С тоской побрел я на речку, сел на камень у засохших камышей и, глядя на небо, стал считать облака. Вот проплыло первое, похожее на грязную рубашу с разбросанными рукавами, за ним второе, похожее на скачущего коня...

Интересно, на каком облаке сидит сейчас бог? Еще покойная бабушка рассказывала: есть у бога золотая книга, где записано, кто когда родился и сколько ему

положено жить на земле. Про меня тоже записано. Хотя бы одним глазком поглядеть, сколько мне назначено жить! Я подчистил бы стеклышком свою жизнь и прибавил годика два, Сеньке-колбаснику стер бы лет десять. А его отца совсем вычеркнул бы из божьей книги. Пусть явится после смерти на тот свет, а бог проверит по книге и спросит: «Откуда тебя черти принесли? Ты в золотой книге не записан. Проваливай в ад!» — и по шее его, по шее. А в аду черти схватят колбасника за шиворот — и на сковородку: поджарься, голубчик, потанцуй на горячей сковородочке... потом в кипящей смоле посидишь да раскаленную плиту языком полижешь...

В размышлениях я не заметил, долго ли сидел у речки. Надоели облака и степь. Поднялся я и пошел домой.

А там неожиданно-негаданно выпало счастье.

— Сынок, — сказала мать, едва я переступил порог, — сходи-ка на завод, снеси отцу обед. Я что-то занедужила, да и стирки много.

С трудом сдержался я, чтобы не заплясать. Пойти на завод — значит побывать у Васьки, увидеть, где он работает, поговорить с ним. А еще, слышал я, там купят снаряды для войны. Все это я увижу своими глазами.

Захватив судок с обедом, я пошел из дому не спеша, чтобы мать видела, что я осторожно несу обед. Но едва я вышел за калитку, гикнул от радости и помчался, расплескивая суп. Мать кричала мне вслед:

— Душу-то застегни, скаженный!

Я ничего и слышать не хотел.

2

На заводе я бывал не раз. Но одно дело — пробраться туда с задворок и поминутно озиаться, не идет ли Юз, и другое дело — идти свободно, с полным правом: несу отцу обед!

Первый раз я по-настоящему увидел завод. Черный дым и копоть закрывали солнце. Всюду грохотало, лязгало, свистело, визжало. Вертелись огромные колеса, что-то ухало над самой головой. Казалось, какой-то страшный великан, скрежеща зубами, жевал что ни попадя: железо, камни, людей, не зря что-то хрустело,

трещало, и пламя сквозь черный дым выбивалось будто из ноздрей.

Все на заводе было покрыто ржавчиной: земля, железо, трубы, даже воробьи. Пахло известью, мазутом, гарью — задохнуться можно.

У высоких домен мускулистые каталы возили железные двухколесные тачки с коксом и рудой. Глядя на их голые, красные от руды, натруженные спины, я вспоминал Абдулкиного отца — дядю Хусейна. Он работал здесь, а теперь ни за что сидел в тюрьме.

За доменными печами начинался мартеновский цех. Я долго смотрел, как сталевары носили на плечах пудовые чушки чугуна. Корчась от пламени, они швыряли чугун в пасти печей, откуда с яростью выбивался сгонь, будто хотел догнать рабочих и сжечь их. Кожа на лицах лопалась от жара, одежда дымилась. Но сталевары были смелыми людьми — куда Кузьме Крючкову и даже царю! — они лезли в самое пламя, и, если на ком-нибудь загоралась рубашка, он окунался в бочку с водой и, объятый паром, опять спешил к печам.

Из завалочных окон через край выливалась на площадку горячая жидкая сталь. Она расплзалась ручьями, но рабочие спокойно перешагивали через них.

Возле прокатного цеха встретились мне тряские дроги, покрытые рогожей. Из-под края рогожи торчали две ноги, обутое в чуни. «Наверно, задавило кого-нибудь», — подумал я и поспешил уйти подальше.

Прошелся я мимо горячего заводского ставка, где, по рассказам ребят, хорошо купаться даже зимой. Кто знает, может, и взаправду хорошо, а только берега в том ставке были черны от мазута.

Суп в моем судке давно остыл, а я все бродил по заводу. У литейного цеха меня увидел городской и взялся за свисток. Я прицепился позади паровозного крана и доехал до кузнечно-костыльного цеха, где работал отец.

Здесь тоже стоял грохот; синий дым висел под высокими сводами здания. Голоплечие кузнецы выхватывали из огня клещами раскаленное железо и лупили по нему тяжелыми кувалдами. Только и слышно:

Динь-дон-бум,
Динь-дон-бум...

Жара стояла невыносимая. Из-под молотов в разные стороны летели искры. Недаром у отца рубаха была прожженная, мать вечно заплатки пришивала.

Я с трудом узнал отца среди кузнецов. Он грохал молотом по вишнево-огненному железу, и под его ударами кусок железа превращался в топор.

«А корону царю кто выковал?» — вспомнились мне слова Анисима Ивановича. «Может быть, здесь, в кузнечном цехе, и сделали царю корону, — подумал я, — может, отец и выковал ее?»

Я смотрел на кузнецов и думал: «Вырасту, никем не буду, а только кузнецом и еще сталеваром, чтобы ковать железо, варить сталь и окунаться в кадушку с водой. Я нырял бы на самое дно и сидел в бочке, пуская пузыри. Люди бы удивлялись: откуда пузыри в кадушке? А я сидел бы на дне и смеялся...»

Хрипло, натруженно завыл гудок. Начался обед. Рабочие примостились кто где: на ржавых болванках, а то и просто на полу, привалившись спиной к наковальне. Одни пили из бутылок чай, другие черпали из чугунков жидкую похлебку.

Пока отец обедал, я бродил по цеху, ощупывал только что выкованные теплые гайки; потрогал кузнечный мех, и он зашипел, как живой.

Потом один из рабочих подошел к моему отцу и стал о чем-то шептаться с ним. Я насторожился: «Обо мне говорят». Когда рабочий отошел, отец связал недоеденный обед и поманил меня:

— Сынок, пойдем, я тебя помою. Пойдем в баньку, а то ты грязный.

Так я и знал! Всегда что-нибудь придумает отец. Я смерть как не любил мыться.

— Я не грязный, не хочу.

— Как же не грязный, смотри! — Отец мазнул меня черным пальцем по носу.

— Это ты меня сейчас вымазал, не буду мыться!

— Пойдем, пойдем, — говорил отец, подталкивая меня в спину.

Рабочие смеялись.

— Устинов, ты куда? — строго спросил проходивший мимо толстый человек.

— Мальчика помыть, господин мастер, а то бегаёт целый день, как поросенок.

— А-а, ну, ну, помой.

Мы с отцом обогнули кузнечный цех и пошли к заводской кочегарке. Там по мокрым каменным ступеням мы спустились в подвал, где было темно и сыро, прошли на ощупь несколько шагов и столкнулись с каким-то рабочим. Он поднял над головой горящий каганец, присматриваясь к нам.

— Можно помыться? — весело спросил отец.

— Можно, вода ждет, — ответил рабочий, похожий на китайца.

— Добре, — сказал отец, — а ты, Ваня, покарауль здесь.

— Будь спокоен...

Отец взял у рабочего каганец, и мы стали пробираться по каменному коридору. Отец открыл деревянную, разбухшую от сырости тяжелую дверь, и мы очутились в темном каземате. В углу стоял цементный ящик, а в него из железной трубки капала вода.

— Ну, здравствуй, товарищ Богдан, — услышал я во тьме чей-то басовитый голос и в свете каганца увидел незнакомое чернобородое лицо.

«Черт, ей-богу, черт!» — подумал я и спрятался за отца. А он и не собирался пугаться и даже весело потряс руку незнакомцу, здороваясь с ним.

— Заждались тебя, товарищ Митяй. Очень рады, что ты появился.

— Патруль выставлен?

— Есть... Раздевайся, сынок, не бойся, это хороший дядя. Вот тебе мыло, скидывай рубашку. — Отец повернул в стене какую-то ручку, и в ящик из железной трубки с шумом ударила струя воды. — Мойся, сынок, а я поговорю с дядей.

И откуда принесло этого чернобородого? Делает вид, будто знакомый, а сам даже не знает, как зовут отца. «Богдан»... Еще Иваном назови...

Я разделся и нехотя, как в пропасть, полез в воду. Лучше бы мне не приходиться на завод. Когда я теперь доберусь к Ваське?

Отец присел на край ванны и стал разговаривать с незнакомым человеком.

— ЦК партии прислал меня к вам, чтобы восстановить разгромленный комитет. За мной слежка от самого Луганска. Если арестуют, придется тебе, товарищ Богдан, взять на себя партийное руководство. Я сейчас дам явки...

— Мойся, мойся, сынок, — сказал отец и загорол спиной незнакомца.

Я ничего не понял из их разговора и начал плескаться. Вода была теплая. Мыло я забросил и начал нырять, заткнув пальцами уши и нос.

Отец и незнакомец стали прощаться. Чернобородый поглядел на меня и усмехнулся:

— А нырять ты не умеешь.

— А ты? — спросил я.

— Еще как!..

Отец погладил меня по мокрой голове и сказал:

— Сорванец растет.

— Ладно, в другой раз встретимся, научу тебя нырять, — сказал чернобородый, — далеко будешь нырять...

— Как далеко?

— Здесь нырнешь, а в Петрограде вынырнешь! — И они оба рассмеялись.

Отец проводил незнакомца до двери и вернулся.

— Вылезай.

— Подожди, я еще не накупался.

— Вылезай, а то мне на работу пора.

Отец вытащил меня из ванны. Я дрожал от холода. Он кое-как вытер меня рубашкой, натянул на мокрое тело штаны.

Прежней дорогой мы выбрались наверх. Там уже никого не было: ни китайца, ни чернобородого.

Мы вернулись в цех. Отец поспешно доел обед, а я захватил пустой судок и заторопился к Ваське. На прощание я взял теплую гайку и опустил ее за пазуху.

Ваську я нашел на коксовых печах. Там нечем было дышать. Все вокруг заволкло ядовито-желтым дымом. Даже я, сидя в отдалении, поминутно вытирал слезящиеся глаза.

Коксовые печи-батареи вытянулись в длинный ряд. Сверху по рельсам ходила вагонетка и сыпала в круглые люки размолотый каменный уголь. Когда печь наполнялась доверху, ее накрывали чугунной крышкой, плотно обмазывали глиной, и уголь спекался внутри. Когда кокс был готов, раздавался звонок, сбоку открывалась узкая, точно крышка гроба, заслонка, и на площадку из огненной печи сама собой, как живая,

медленно выползала стена раскаленного кокса. Ее называли «коксовым пирогом». Васька должен был остужать этот «пирог» водой из пожарной кишки.

Становилось жутко, когда он, надвинув на самые глаза вывернутую наизнанку ватную шапку, подходил к жаркому коксу и поливал его брызжащей струей.

В рваном отцовском пиджаке с длинными рукавами Васька казался совсем маленьким. Он копошился перед пылающей стеной, и горячий пар окутывал его так, что он, наверно, и сам не видел, куда лить воду.

Постепенно коксовая стена осыпалась, от нее отваливались огненные куски и падали к ногам Васьки. Казалось, вот-вот вся эта стена рухнет на него и сожжет заживо.

Мастер коксовых печей, бельгиец, маленький, лысый человечек с большим животом, знавший по-русски только три слова: «лей», «с богом» и «своличь», все время покрикивал на Ваську:

— С богом, лей!

Васька еще ближе подступал к пышущей жаром стене и изо всех сил тянул за собой длинную кишку. Ему не под силу было держать на весу тяжелый медный наконечник пожарной кишки, и Васька упал на одно колено. Мастер заорал, затряс брюхом:

— Лей, своличь!

Двое рабочих, проходивших мимо, остановились, глядя на то, как мучается Васька.

— Душегубы, какого мальчика поставили на проклятую работу, — сказал один.

— Дешевле платить, вот и поставили, — ответил другой. — Взрослому надо сорок копеек в день, а мальчику можно гривенник.

— Чей это пацан, не знаешь?

— Анисима Руднева сын. Отец с войны без ног пришел, и сынишка теперь пропадает...

— Чтоб их, этих богачей, в бараний рог согнуло. Когда они напьются нашей крови?..

Я видел, как Васька еле держался на ногах. Я знал, какой он упрямый — скорее умрет, чем покажет, что ему тяжело, — и мне стало жаль его.

Закончив поливать, он, шатаясь, с красным от жары лицом поплелся к ведру с водой. С жадностью Васька выпил подряд три кружки теплой, смешанной с каплями пота воды, потом снял шапку и вытер ею лицо.

Васька сел на приступке в уголке, где на кирпичной стене в тусклом свете лампадки виднелась черная от копоти икона. Трудно было понять, кто был на иконе — не то божья мать, не то Николай Чудотворец: одни белки глаз светились в полутьме.

— Тяжело, Вась? — спросил я, вытирая пот на его лице.

— Что поделаешь, — хрипло отозвался он, — надо же мамку с бате́й кормить...

Все-таки Васька не выдержал и убежал с завода.

Случилось это в понедельник. Я принес ему на коксовые печи обед — бутылку чаю и кусок хлеба. Не успел он поест, как зазвенел звонок — стали выдавать кокс. Васька подхватил ненавистную брезентовую кишку и стал поливать.

Зашипело, затрещало вокруг. Удушающий огненный пар совершенно скрыл Ваську, и я не заметил, как и когда он упал. Я видел только, как толстобрюхий мастер взмахнул руками и заорал:

— С богом, сволочь!

Он спрыгнул на площадку, где находился Васька, и продолжал вопить:

— Лей!

Когда горячий пар рассеялся, я увидел Ваську лежащим на железных плитах. Вода, пофыркивая, выливалась из кишки. Бельгиец схватил Ваську за шиворот и поставил на ноги:

— Сволочь, лей!

Васька стоял пошатываясь. Из носа у него текла струйка крови. Он смотрел на мастера какими-то пустыми глазами, будто не видел его. Но когда тот схватил его и встряхнул, Васька вырвался, подхватил кишку и направил струю прямо в усатое лицо мастера.

Бельгиец вскинул руки, хотел позвать на помощь, но захлебнулся и грохнулся мягким задом на железные плиты.

Закрываясь от бьющей струи руками, он что-то кричал, но Васька поливал и поливал его, сбил с него кожаный картуз, намочил жилетку с золотой цепочкой на брюхе. На крик мастера отовсюду стали сбегаться рабочие. Васька отбросил шланг и помчался вдоль кок-

совых батарей, вскарабкался на гору железного лома и скрылся.

Мы встретились с ним у проходных ворот. Васька сорвал пыльный лист лопуха и вытер им кровь на губах. С ненавистью глядя туда, где курился над печами желтый дым, он сказал:

— Так ему и надо, толстопузому. Идем, Ленья, нехай они пропадут со своим коксом...

3

В неглубокой балке мы присели отдохнуть. Я показал Ваське новые фантики от конфет, потом достал из-под рубашки веревку и предложил поиграть в коня и кучера, но Васька безразлично смотрел на все это.

— Не надо, — сказал он, — ни к чему...

Мы поднялись и пошли домой.

Васька боялся, что ему влетит от отца. Но все обошлось. Жаль только, что жалованье Ваське не выдали. Он заработал семьдесят копеек, но Юз оштрафовал его на рубль. Ладно уж, спасибо, что в тюрьму не посадили...

Теперь мы опять играли вместе, строили в огороде шалаш из бурьяна и палок, потом копали шахту. Только Васька сильно переменялся. Испортили его на заводе. Он сделался задумчивым: лежит и лежит с открытыми глазами. Окликнешь, а он молчит.

Однажды, когда мы возились у калитки, подъехал на тележке Анисим Иванович и виновато сказал:

— Определили тебя, сынок, в шахту! Не хотелось губить твои малые годы, да такая уж наша судьба — тяни лямку, пока не выроют ямку.

Тетя Матрена заплакала:

— Посылаем дите в прорву!..

— Замолчи! — прикрикнул на нее Анисим Иванович. — И так тяжело на душе.

На другой день тетя Матрена повела Ваську на Пастуховский рудник.

Я продолжал ходить к отцу на завод, но теперь ничто не занимало меня там. Все чаще взбирался я на крышу нашего домика и с грустью смотрел в далекую степь. Вон куда угнали моего Васю, на самый конец света...

Долго я тосковал и наконец не выдержал: сунул за

пазуху ломоть хлеба, захватил на всякий случай две сырые картошки и подался на рудник. Для смелости я кликнул Полкана, но он проводил меня только до речки. «Полкан, Полкан!» — кричал я, но он сел на берегу, уставился на меня грустными глазами и сидел, виновато помахивая хвостом.

Идти было версты три. В степи уже высохла трава — даже полынь почернела, лишь торчали кое-где высокие будяки с грязными, как тряпки, листьями, да катились под порывами ветра сухие шары перекати-поля.

Страшно было идти одному. Раскинулась кругом печальная степь с одинокими, как могилы, терриконами шахт. Куда ни глянь — пусто, безлюдно, тихо. Наверно, один бог наблюдал с неба, как я чмокал опорками по раскисшей грязи.

За Богодуховской балкой начался Пастуховский рудник. Поселок был черный от угольной пыли.

Здесь, как и у нас, заборы были низкие, сложенные из дикого камня песчаника, даже крыши землянок были покрыты тонкими каменными плитами. Улочки все узкие, шага три от забора до забора. Старые землянки, повалившиеся в разные стороны, были похожи на толпу подгулявших шахтеров, бредущих в обнимку неизвестно куда и зачем.

Едва я вошел в первую улочку, как рыжая цепная собака вскочила на крышу землянки и облаяла меня, потом спрыгнула на землю и продолжала хрипло брехать, гремя цепью.

Невдалеке, пугая страшным видом, стояла шахта «Италия». Над воротами на железной сетке виднелись крупные буквы: «Угольные копи, Шульц Апшероден фон Графф».

Дул пронизывающий ветер. Я шагал мимо кабака, где на вывеске был нарисован красный рак, держащий в клешне кружку с пивом.

Под забором среди сваленных пивных бочек я увидел группу оборванных рудничных ребят. Двое играли в карты, остальные тоскливо пели сиплыми голосами:

Вот мчится лошадь по продольной,
По узкой, темной и сырой,
А молодого коногона
Несут с разбитой головой.

В кабаке дрожали стекла от пляски. Ребята не обращали на грохот никакого внимания и продолжали заунывно петь:

Двенадцать раз сигнал пробило,
И клетка в гору понеслась.
Подняли тело коногона,
И мать слезою залилась...

Меня поразила худенькая девочка лет семи, с бледным лицом и большими черными глазами. На тонкой шее у нее висел медный крестик. Девочка сидела, поджав под себя красные босые ноги и натянув на озябшие колени юбочку. Она держала в дрожащих пальцах папиросу и, жадно затягиваясь, курила. Я никогда не видел, чтобы девочки курили табак. Не зря она постариковски кашляла.

А ребята пели негромко, лениво, будто им не хотелось петь:

Я был отважным коногоном,
Родная маменька моя,
Меня убило в темной шахте,
А ты осталась одна...

Чтобы меня не заметили рудничные ребята, я нагнулся, делая вид, что очищаю щепкой налипшую грязь. Но меня увидели.

Коренастый, одетый в черные лохмотья мальчуган, наверное вожак, подошел ко мне вразвалку, запустив руки в карманы по самые локти. Он оглядел меня презрительно и спросил:

- Ты кто?
- Никто.
- Дать тебе в рыло?
- Не надо.
- Почему?

Я не знал почему и сказал:

- Драться грех. Бог накажет.

Задира покосил глазом на свою грязную грудь, где болтался на засаленной нитке крестик, сплюнул сквозь щербатый зуб и сказал:

— Шахтер богу не родня, его бойся как огня. Понял?

- А я Ваське скажу.

— Какому Ваське?

— С Нахаловки, у вас тут работает.

— А ты кем Ваське доводишься?

— Брат, то есть сосед. Одним словом, я ему завтра нес.

— Забожись!

Я снял шапку и перекрестился.

— Так бы и сказал. Ваську я знаю. Иди, никого не бойся. Если остановят, скажешь, Пашка Огонь пропуск дал.

Я пошел дальше, но Пашка снова догнал меня:

— Идем, я тебе покажу, где Васька работает. Он хороший парняга. У нас его любят.

Мы пошли рядом. Я испуганно косился на Пашку: уж очень он был страшный в своем тряпье, с черным лицом и руками.

— Ты чего такой грязный? — спросил я.

— Со смены, — равнодушно ответил Пашка, — в ночь работал.

— Где?

— Где же? В шахте, конечно. Лампонос я, а батька забойщик.

Мы подходили к последнему «питейному заведению», когда неожиданно с грохотом распахнулась дверь кабака и на пороге показались двое шахтеров.

Один из них держал в руке шахтерский обушок и порывался куда-то бежать. На нем кровавыми клочьями свисала рубаха. Его товарищ, молодой парень с рябоватым лицом, с гармошкой на плече, удерживал друга.

— Пусти, Петька! Хочешь, чтобы они нас совсем задушили, хочешь, чтобы мы сгорели в шахте?

Со страху я было пустился наутек, но Пашка схватил меня за рукав:

— Не бойся. Это мой брат Петька, тот, что с гармошкой, а пьяный — наш сосед. У него сынишку в шахте завалило: три дня пробивались к нему, так и не откопали. Мать с горя удавилась ночью в сарае. И вот он один остался, напился пьяный и хочет хозяина шахты фон Граффа убить.

Едва Пашка произнес эти слова, как из-за угла вымчались двое верховых казаков с чубами из-под фуражек. За ними, покачиваясь на мягких рессорах, ехал



фаэтон. В нем сидел важный господин, как видно, хозяин шахты. Позади скакали еще двое всадников с плетками и карабинами через плечо.

— Пусти, Петя, дай я с ним рассчитаюсь! — кричал пьяный и рвался к пролетке.

Один из казаков ударил шахтера плеткой по голове, и тот упал в грязь.

Пашка схватил камень и кинулся туда, где началась свалка.

Я не знал, куда бежать, где искать Ваську, и припустился к шахте...

После долгих поисков я нашел его там.

Васька работал на подъеме. Огромная деревянная катушка-барабан крутилась на высоком столбе, наматывая на себя длинный стальной канат. Барабан крутила пара лошадей, ходившая по кругу. На передней, вислопузой, сидел верхом Васька с кнутиком, погонял ее. Когда канат на барабане разматывался — железная бадья опускалась в темную пропасть шахты. Потом Васька поворачивал лошадей и погонял их в обратную сторону. Канат, скрипя, вновь наматывался на барабан — бадья с людьми или углем поднималась из шахты.

Во время минутного отдыха Васька рассказал мне, что лошадей зовут Валетка и Стрепет, что они слепые, потому что раньше работали в темноте под землей. Я покормил Валетку хлебом. Мигая сизым глазом, он понюхал меня и даже притронулся к лицу бархатными губами.

— Это он поцеловал тебя, — сказал Васька ласково.

Жаль, нельзя было стоять возле лошадей, штейгер прогнал меня.

Я отправился бродить по руднику, обходя шахту. Я боялся ее. Илюха рассказывал, что ствол шахты опускается до самого ада, будто если в шахте приложить ухо к земле, то услышишь, как черти разговаривают между собой и как стонут грешники на сковородках...

Все же любопытно было посмотреть, и я подошел к шахте. Как раз в эту минуту из-под земли вынырнула и повисла на ржавых цепях железная бадья. В ней по пояс, как в кадушке, стояли черные люди — ни одного лица не разглядишь, только зубы сверкают и вид-

ны белки глаз. Мне стало жутко, и я поспешил уйти подальше от шахты.

Помахав Ваське издали картузом, я пустился в обратный путь.

Опять открылась предо мной неоглядная степь. Теперь я чувствовал себя смелее и даже не побоялся свернуть в сторону, к Богодуховской балке. Люди рассказывали, что в революцию девятьсот пятого года жандармы расстреливали в этой балке рабочих. Захотелось пойти туда и поискать: вдруг найду пулю, оставшуюся после расстрела?.. Кроме того, я знал, что в балке есть ставок — можно побросать камешки со скалы в воду.

Балка находилась в глухой степи, в стороне от дорог, время было осеннее, в ставке давно уже не купались, поэтому я никак не ожидал застать там кого-нибудь. Каково же было мое удивление и мой страх, когда, приблизившись, я услышал приглушенные голоса! Я не сразу сообразил, откуда они доносились.

Осторожно глянув со скалы вниз, я увидел двух незнакомых людей. Они сидели под стеной и о чем-то негромко разговаривали. Сверху мне были видны только шапки, лиц рассмотреть я не мог. Тот, что был в шинели, в сером солдатском картузе, говорил другому, с забинтованной головой и в кепке:

— Явка в Нахаловке, у Преподобного, знаешь его?

— Слышать слышал, а в лицо не знаю.

— Безногий он, сапожник.

— А-а, такого знаю. Его, кажись, Анисимом зовут. Значит, это и есть Преподобный?

— Он самый.

— Приду, — сказал забинтованный.

Я стоял у самого обрыва. Голос одного показался мне знакомым. Всмотревшись, я узнал в нем шахтера-гармониста, которого утром видел на Пастуховке. Наверно, казаки избили его, потому и голова перевязана.

— Значит, приходи, — продолжал тот, что был в шинели, — хлопцев много не зови. Перед тем как пригласить, выясни, что за человек. Избегай тех, кто любит выпить, живет разгульно или состоит в родстве с начальством или полицией.

— Понимаю, товарищ Митяй.

«Митяй»... Где-то я уже слышал это имя.

Тихонько, на цыпочках я отошел от обрыва. Боясь, как бы тайные люди не услышали моих шагов, я опу-

стился на четвереньки и пополз, потом подхватился и, шлепая опорками, помчался с горы. Бежал я до самой речки, а там присел за камнем и выглянул: пого-ни за мной не было.

«Что за люди, почему они уединились в балке?» — думал я. Мне казалось, что я знаю и того, в шинели. Я заметил у него черную кудлатую бородку. Человек, который разговаривал с отцом в бане, тоже имел такую бородку, и у него был такой же басовитый голос. Неужели это он? Тогда, как он попал в степную балку, если работал на заводе?

4

С нетерпением дожидался я Ваську и, когда он пришел с работы, поманил его в самый уединенный угол за сараем и с жаром поведал о таинственной встрече в Богодуховской балке. В ответ Васька загадочно усмехнулся, пытливо взглянул на меня, как бы раздумывая: сказать или нет? Наконец не спеша стащил с головы шапку, порылся в ней и вынул какую-то бумажку.

— Тс-с, тише, — произнес он шепотом и подал мне листок.

Я развернул. Это была какая-то картинка. Она изображала высокую гору, состоявшую из людей и похожую на шахтный террикон.

На самой вершине на тронах сидели царь и царица, около них надпись: «Мы царствуем над вами». Под царем и царицей на широком кругу, похожем на карусель, стояли богачи в дорогих одеждах. Здесь была другая надпись: «Мы правим вами». Еще ниже, тоже на кругу, стояли священники, монахи и всякие богослужители. Надпись около них была мне непонятна: «Мы морочим вас». Под духовенством, на еще более широком кругу, выстроились жандармы, полицейские, генералы. Сбоку надпись: «Мы стреляем в вас». Под военными опять шел круг. Там стоял заваленный всевозможными закусками и винами стол, за которым расселись барыни, купцы, фабриканты. Здесь было написано: «Мы едим за вас».

Васька посмотрел на меня:

— Понял? Они едят за нас.

— А мы что?

— А мы голодные ходим...

Я взглянул на листовку. Под теми господами, которые ели за нас, был еще круг. А на нем, согнувшись под тяжестью господ, стояли рабочие и разный бедный люд. Здесь тоже были надписи: «Мы кормим вас», «Мы работаем на вас». Бедняки, державшие на своих плечах эту карусель, эту уйму богачей, совсем обессилели, многие упали, и только один вырвался из-под круга. Он поднял красный флаг с надписью: «Жить в свободе или умереть в борьбе!»

— Вась, что это такое?

— Афишка против царя.

— Что ты хочешь с ней делать?

Вместо ответа Васька поднял ржавый гвоздь и, отобрав у меня афишку, выколол глаза царю.

— Вот что буду делать, — проговорил он со злостью и хотел порвать ее, но я вовремя остановил его:

— Постой, не надо, лучше мы Сеньке-колбаснику на забор прилепим!

— Царю бы подкинуть, — сказал Васька.

— Давай! И напишем сбоку: «Царь — собака».

Мы уселись на лавочке и стали шептаться, обдумывая, как подкинуть царю афишку.

Вдруг мы заметили, как во тьме какой-то человек подкрался к землянке, постучал в окно и, подождав, пока отзовутся, негромко спросил:

— Сапожник Анисим здесь живет?

Мы притаились. Из землянки послышался голос Анисима Ивановича:

— Здесь, что надо?

— Поклон от Павла, пришел за сапогами, — проговорил неизвестный.

— Готовы сапоги, заходи, — ответил Анисим Иванович.

Не замечая нас, человек прошел мимо. Скрипнула калитка, и стало тихо. Мне показалось, что я узнал человека из Богодуховской балки.

Сказать об этом Ваське я не успел. На улице снова послышались шаги. Еще один человек подошел к домику, и разговор про какого-то Павла и про сапоги повторился. Когда и этот скрылся в темноте, Васька шепнул мне:

— Сиди тихо, это подпольщики.

Я удивился: зачем подпольщики идут в землянку

к Анисиму Ивановичу, если там и пола-то нет — одна земля, подмазанная глиной с кизяком?

Скоро через дорогу к землянке прошел мой отец, за ним однорукий механик Сиротка. Потом показался во тьме высокий рабочий-китаец. А когда с гармошкой на плече явился гость с Пастуховки, я понял, что в землянке сошлись рабочие. Не терпелось поглядеть, что они там делают, и я потянул Ваську в землянку.

Едва мы вошли, Анисим Иванович выпроводил нас, но я успел заметить того, с кудлатой черной бородкой. Понравился он мне: глаза хитрые, а зубы белые и веселые, как у цыгана.

— Вам тут, хлопцы, делать нечего, — сказал мой отец, подталкивая нас в спины. — Ленька, ты марш спать, а Вася...

Отец о чем-то пошептался с ним, и Васька вышел. Я узнал потом, что отец велел ему покараулить возле хаты. Если появится городской, нужно запеть громко: «Во субботу, день ненастный...»

Ни о каком сне не могло быть речи.

— Вась, можно, я с тобой подежурю?

— Смотри только, чтобы тихо...

Мы притаились у забора и стали наблюдать.

— Вась, а кто этот, с бородкой?

— Подпольщик из Луганска. Он знаешь какой смелый? Против царя идет.

Против царя! Вот кого я с Васькой охраняю! Значит, я тоже иду против царя. Если бы рыжий Илюха узнал, он бы помер от зависти.

На землю спустилась ночь, но мне не было страшно. Даже хотелось, чтобы поскорее пришел городской и мы с Васькой запели во весь голос: «Во субботу, день ненастный...» Я напрягал зрение, вглядывался в темноту, но никого нигде не было.

Прошло много времени, я озяб, но не уходить же домой, если до смерти хочется послушать, о чем говорят в землянке!

— Вась, а Вась, у вас в окошке дырка есть, — шепнул я.

— Знаю.

— Стекло подушкой заткнуто...

— Ну и что? Это я заткнул, чтобы не дуло.

— Понимаю... Только я хотел сказать, что подушка вытаскивается...

Понял ли меня Васька или ему самому хотелось послушать подпольщиков, — он погрозил мне: дескать, молчи, — и мы подкрались к окну. Опустившись на колени, Васька осторожно приоткрыл край подушки, и мы стали слушать.

Говорил человек с бородкой — я узнал его по голосу.

— ...Над нами стоит свора паразитов: попов, буржуев, жандармов. Тюрьмы переполнены. Под пулями царя гибнет народ. Стон стоит над Россией, товарищи! Центральный Комитет Российской социал-демократической рабочей партии большевиков призывает нас к борьбе. Надо разбить вдребезги старый мир. Ничто не поможет — ни слезы, ни протесты. Только наши мозолистые руки, вооруженные пока обушками, добудут себе свободу...

Мы переглянулись и отошли от окошка.

— Слышал? — шепотом спросил Васька.

Я кивнул.

— Вот гад ползучий!

— Кто?

— Царь, кто же еще? Россия стонет, а он водку пьет и в рабочих стреляет.

Россия стонет... А в ночной степи так тихо, не слышно ни звука.

Мы опять прильнули к окошку. Теперь говорил мой отец:

— Мы куем оружие, товарищи. Сорок сабель и сотня пик сложены в надежном месте. Поднимайтесь смелее, товарищи шахтеры, за вами встанет весь народ...

5

Мы отошли от окна, чтобы проверить, не подкрадывается ли городской, но вокруг по-прежнему было тихо, лишь мерцали в темном небе звезды.

Вдруг где-то далеко в ночи послышался протяжный, тревожащий душу стон, замер и снова повторился. Что такое? Прерывистые надрывные звуки долетали к нам все яснее. Я схватил в темноте руку Васьки:

— Слышишь?

— Подожди ты, — с досадой проговорил он, прислушиваясь к жалобным стонам.

— Что это?

Васька молчал.

— Россия, да?

— Чего?

— Россия застонала?

— Какая там Россия! Гудок Пастуховской шахты помощи просит. Что-то случилось там. — И Васька снова затих, прислушиваясь.

А во тьме звучал и звучал одинокий призыв. Потом, как бы в ответ ему, печально затрубили другие шахты. И в ночи, наводя страх, заголосили десятки отдаленных тревожных гудков: во-у-у, о-у-у...

Вася метнулся к землянке, но оттуда уже выбегали, одеваясь на ходу, подпольщики. Даже Анисим Иванович выехал на тележке.

— Пастуховка горит! — крикнул Васька. — Во-он, смотрите!

В той стороне, где находился рудник, занималось зловещее зарево.

Гармонист с Пастуховки пропаще махнул рукой и побежал вдоль улицы. Остальные последовали за ним.

Всюду слышался топот ног. Люди беспорядочно бежали все в одном направлении. В темноте звучали встревоженные голоса.

— Пойдем? — чуть не плача спросил Васька, до боли сжав мне руку. — Там же мои Валетка и Стрепет горят.

Мне вспомнились слепые лошади, и я, ни о чем не раздумывая, бросился за Васькой.

На углу улицы мы столкнулись с отцом. Узнав меня, он приказал вернуться. Огорченные, мы остановились. Я чувствовал, что Ваське хотелось сбегать на рудник, но он боялся оставить меня одного.

Мы вышли на окраину. Отсюда хорошо был виден пожар. Пастуховский рудник стоял на горе, и зарево, все больше разгораясь, освещало полстепи. Виднелся зловеще-красный террикон шахты «Италия».

А гудки ревели. Люди метались, спешили со всех концов, растерянно спрашивали друг друга, что случилось. Кто-то произнес: «Рудник горит». Другой подтвердил: «Конечно, взрыв». И заговорили взволнованные, сердитые, жалостливые, гневные голоса:

— Погибли кормильцы, опять сироты по миру пойдут.

- Вентилятор в шахте не чинили, вот и пожар.
- Что им вентилятор, нехай лучше люди гибнут!
- Покидать бы их в ствол, паразитов!

У меня стучали зубы от страха. В приглушенном людском говоре я уловил голос матери. Она спрашивала у кого-то обо мне. Улизнуть не удалось, меня увидели и подвели к ней. Мать шлепнула меня.

— Ах ты босячина! Я его шукаю, всю улицу обегала, а он гулять надумал ночью!

Тетя Матрена держала за рукав Ваську, но с Пастуховки прибежал человек и крикнул:

— Братья, на помощь! Пастуховские шахтеры погибают!

Васька вырвался из рук матери и скрылся в темной степи.

6

Всю ночь в городе не утихала тревога. За окнами слышались крики, выстрелы, топот бегущих людей. Мать погасила каганец и стояла у окна, напряженно вглядываясь в темноту.

Утром к нам прибежал Васька и рассказал, что на шахте «Италия» под землей взорвался газ, погибла целая смена, сгорели здание шахты и конюшня с лошадьми.

Васька с жаром рассказывал, как рабочие выволокли из дома хозяина шахты фон Граффа и потащили его к шахте, хотели бросить в ствол, но налетели казаки и отбили фон Граффа.

Целый день в городе было тревожно, целый день не было дома отца. Мы с матерью боялись, как бы его не посадили в тюрьму. Отец пришел только под утро, виновато положил на стол помятый бумажный рубль и тридцать одну копейку мелочью: отца рассчитали и теперь никуда не возьмут на работу, потому что ему выдали какой-то «волчий билет».

По улицам шныряла конная полиция. Мать строго-настрого запретила мне выходить за калитку, чтобы, не дай бог, не затоптали лошади. Но в день похорон погибших шахтеров я убежал, и мы с Васькой помчались на Пастуховку.

Все дороги к руднику были запружены людьми. Полиция, жандармы и казаки разгоняли их, наезжая

на женщин и детей лошадьми, но люди шли и шли.

Вид сгоревшего рудника поразил меня. Над зданием шахты еще курился черный дым. В воздухе летала копоть. Пахло мокрой сажой и чем-то еще тяжелым и приторным, от чего першило в горле. Притихли землянки, опустели кабаки. Даже собаки перестали лаять, как будто понимали, что случилась беда.

По дороге на кладбище длинной вереницей везли на телегах простые дощатые гробы. На целую версту вытянулось похоронное шествие. Лошади шли понуро, точно им тяжело было везти этот страшный груз.

По обе стороны похоронной процессии длинной цепью растянулись и гарцевали на конях жандармы с шашками наголо. Они никого не подпускали к гробам.

Впереди подвод медленно двигалась небольшая группа рабочих. Они несли на руках наскоро сколоченный гроб и нестройно, грозно пели:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.

Вся степь оглашалась плачем детей, криками женщин. Одна из них ползала по земле, протягивая руки к гробам. Она уже не могла плакать и только хрипела. А сквозь этот стон сурово звучало пение:

Порой изнывали вы в тюрьмах сырых;
Свой суд беспощадный над вами
Враги-палачи изрекли, и на казнь
Пошли вы, гремя кандалами.

Жандармский ротмистр в белых перчатках, нахлестывая лошадь, заезжал вперед и кричал, поднимаясь в стремях на носки, точно петух на насесте:

— Пре-кра-тить пение! Прошу пре-кра-тить!

Рабочие не обращали внимания на жандарма, и дружное пение звучало все громче:

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Чертит уж рука роковая.

Протиснувшись сквозь толпу, я увидел в переднем ряду отца. Он нес гроб, подставив под угол плечо. По

другую сторону медленно шагал шахтер-гармонист с Пастуховки.

«Не его ли приятель лежит в том гробу?» — подумал я.

Отец шел медленно и пел вместе со всеми:

Настанет пора — и проснется народ,
Великий, могучий, свободный.
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Ваш доблестный путь, благородный.

На кладбище полиция никого не пустила, кроме тех, что несли гробы. Но мы с Васькой пролезли сквозь шаткую ограду, хотя казак с лошади больно стеганул меня плеткой.

На степном кладбище ни кустика. Только полынь, лопухи да редкие кресты. Посреди кладбища была вырыта братская могила — длинная глубокая яма. Рабочие спускали туда гробы на веревках и устанавливали в ряд.

Чья-то девочка в длинном ситцевом платье хватала рабочих за руки и кричала до хрипоты:

— Куда вы дедушку опускаете, там лягушка!

На другом конце на коленях стояла шахтерская мать. Она обнимала деревянный ящик-гроб и причитала:

— И на кого же ты нас оставил, бедных сиротинок? А как спросят у меня детки: где же наш папенька? А что скажу я им, что отвечу? В сырой земле закрыл свои очи орлиные!..

Около нее теснилась куча ребят мал мала меньше. Старший, лет тринадцати, хмурый мальчик одной рукой вытирал слезы, а другой поддерживал мать. Я вгляделся и узнал в нем вожака пастуховских ребят. Да, это был он, грозный и лохматый Пашка Огонь.

Священник отец Иоанн с добрым, христоролюбивым лицом, в темно-малиновой, расшитой серебром ризе стоял над ямой и, плавно размахивая кадилом, из которого вился пахучий синий дымок, рокотал басом:

— Со святыми упо-о-кой, Христе, души рабов твоих-и-их, идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыха-а-ние, но жизнь бесконечная. Яко земля еси и в землю отыдеси, амо же вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь. Аллилуйя.

Грустно звучало заупокойное пение, прерываемое

рыданиями женщин. Видно, отцу Иоанну самому было жаль погибших шахтеров. Он провожал их в рай.

Механик Сиротка, в чистой рубашке с пустым рукавом, засунутым за пояс, стоял у могилы и, не вытирая молчаливых слез, слушал печальное бормотание священника.

В стороне от нас, в толпе разнаряженных барынь, стоял с набожным видом колбасник Цыбуля. Глядя издали на могилу, он крестился и что-то говорил соседу, трактирщику Титову. Я прислушался.

— Жизнь человека — что свеча на ветру. Дунь — и погасла. Ничто не вечно.

— И царь и народ — все в землю пойдет... — отвечал ему трактирщик, закатывая глаза.

С глубоким вздохом Цыбуля вторил ему:

— Истину глаголете, Тит Власович. Все под богом ходим. Сегодня жив, а завтра жил... — И лавочник поспешил осенить себя крестным знамением.

Механик Сиротка посмотрел на Цыбулю и сказал негромко, будто сквозь зубы:

— Молишься, купчина? Боишься умереть? А люди вот погибли, хорошие люди...

— Бог дал, бог и взял, — сердито ответил ему Цыбуля и отвернулся...

— Бог... Где он есть, твой бог? Покажи мне его!

— Богохульник, — сердито прошипел трактирщик Титов, — разве можно так говорить? Бог живет в тебе самом, в душе твоей.

Лицо у Сиротки потемнело.

— Во мне живет? — спросил он, берясь за ворот рубашки, точно ему стало душно. — Где же он во мне, покажи? — Он потянул за ворот так, что посыпались пуговицы и обнажилась худая грудь. — Здесь, что ли? Здесь, я у тебя спрашиваю? — задыхаясь, говорил Сиротка. — Тогда почему бог не видит, что я голодный, а ты заплыл жиром?

— Тш-ш... — прошипел трактирщик, косясь на Сиротку. — Батюшка услышит, не стыдно тебе?

— Твой батюшка — городской в рясе. Стыдно должно быть вам. На вас, богатеев, работали шахтеры. Вы же их и погубили!

— Не смеешь так разговаривать со мной! — вдруг выкрикнул трактирщик. — Я купец первой гильдии, я гласный городской думы! Эй, городской!

— Зови, зови, гад, захлебнетесь нашей кровью!

Жандармы тотчас схватили Сиротку и уволокли его.

Я заметил, как Васька с трудом сдерживал себя, и стал следить, что он будет делать. Васька подошел к трактирщику и негромко сказал ему прямо в лицо:

— Буржуй, свинячий хвост пожуй!

Трактирщик отшатнулся от Васькиных слов, как от пощечины.

— Рвань несчастная, босяки! — крикнул купец. — Всех вас в яму!

У меня отлегло от сердца. Пусть ругается, Зато наш верх!

7

Мы с Васькой ушли с кладбища после всех, когда там оставались только полиция да плачущие над могилой матери с детьми.

Шли молча, разговаривать не хотелось.

Уже за вечерело. Мы подходили к окраине поселка, когда нас догнал фаэтон, мчавшийся со стороны Пастуховского рудника. В фаэтоне на мягком кожаном сиденье полувалялся пьяный отец Иоанн. Пышные женские волосы его были встрепаны, одна нога, обутая в сапог, свесилась на крыло фаэтона. По временам он пьяно вскидывал руки и, не помня себя от водочного дурмана, сильным голосом запевал:

Все говорят, что я ветрена была,
Все говорят, что я многих люблю...
Эх, многих любила, всех позабыла...

Цыбуля придерживал его за длинный лиловый подрысник и говорил пьяным голосом:

— Батюшка, я люблю вас, давайте поцелуемся.

И они, облапив один другого, соединили свои обвислые губы.

Горькая обида сжала мне сердце. Значит, отец Иоанн, которого я уважал, заодно с Цыбулей. Значит, ему не было жалко погибших рабочих и он притворялся, когда отпевал их на кладбище... А я-то думал, что, когда он кончит молебен, ангелы вознесут его на небо и там он будет рассказывать богу, как погибли шахтеры и как он хоронил их... Выходит, священник обма-

нул нас с Васькой, и шахтеров обманул, и самого бога...

— Напился, как свинья, длинногривый, — сказал я. — Бог накажет его, правда, Вась?

— Накажет... Белыми пирогами с начинкой да полбутылкой водки... — сердито проговорил Васька.

— Почему пирогами?

— Потому что... — Васька нахмурился и замолк, точно был недоволен тем, что я сам не догадываюсь. Он оглянулся, хотя на целую версту не было ни души, и с отчаянной решимостью прошептал: — Потому что... если хочешь знать... бога совсем нема.

Я остановился, пораженный.

— Чего испугался? Говорю, нема бога.

— Как нема, что ты сказал, Вась, перекрестись!

— Незачем мне креститься. Подпольщики врать не будут.

— А куда девался бог?

— Никуда. Его не было вовсе.

— Как? Я вчера своими глазами видел бога в церкви.

— Картинки ты видел.

— Нет, иконы.

— Это и есть картинки. Их буржуи намалевали, чтобы...

Васька не договорил, сердитым движением достал из-за пазухи афишку и ткнул пальцем в то место, где на карусели были нарисованы духовные лица.

— Чего здесь написано, читай.

— «Мы морочим вас».

— То-то же, понимать надо...

Но я ничего не понимал. Не верить Ваське я не мог, а верить было страшно.

— Вася, а божья матерь есть? — спросил я, заикаясь.

— Нема никакой божьей матери.

— А рай?

— Что?

— Есть рай?

— Рай, рай — ложись да помирай, — хмуро ответил Васька.

Мы помолчали.

— А кто же создал деревья, шахты и... разные огурцы?



Мои вопросы начинали сердить Ваську.

— Ты слышал, что Сиротка говорил про бога на кладбище? — спросил он с досадой.

— А что?

— Нет, ты скажи — слышал?

— Слышал.

— Ну и все. Никакого бога нет.

Потрясенный, я пришел домой. Матери не было. Из переднего угла глядел на меня сердитыми глазами Николай-угодник. Страшен был его темный иконописный лик.

«Как же так бога нема? — думал я. — А молитвенники, а церкви, а Иисус Христос и, наконец, вот Николай-угодник? Если это картинка, то почему святой так зло смотрит на меня? Наверное, уж знает о нашем разговоре с Васькой».

Я вытащил из-за иконы затрепанный святой календарь. Вот великомученица Варвара с печальными, как у Алеши Пупка, глазами. Еще бабушка, когда жива была, учила меня, что этой святой нужно молиться «от нечаянной смерти и головной боли». А вот еще какой-то лысый святой в юбке, с книгой в руке, кажись, преподобный Трофим, которому нужно молиться первого февраля «об истреблении мышей и крыс». А вот мученик Иисус Христос, распятый на кресте. Почему он худющий, как скелет? Потому, что ничего не ел и не пил, все страдал за грехи людские. Как же нема бога?

Но ведь мне сказал об этом Васька. Никому я так не верил, как Ваське! И опять мне вспомнился пьяный отец Иоанн и девочка-сиротка, плачущая над могилой деда-шахтера. Зачем нужно было богу, чтобы она плакала, почему бог не вступился за нее? Вспомнился и Сенька Цыбуля. Неужели бог не видел, как лавочник катался на мне верхом, почему же он не наказал Сеньку?

«Где он, бог, покажи мне его?» — вспомнил я слова Сиротки. И мне захотелось так же смело сказать: «Где бог? Васька сказал, нема бога!»

У кого бы узнать: есть ли бог? Спросить у матери — заругает, а у отца и спрашивать нечего — в церковь он не ходит.

Вдруг меня осенила догадка: «Что, если самому поговорить с богом?»

Не спуская глаз с иконы, я подошел к ней. Николай

Чудотворец хмуро смотрел на меня. Тихо, чтобы чудотворец не совсем отчетливо разобрал мои слова, я спросил:

— Бог, тебя нема, да?

Ожидая разящего громового удара, я втянул голову в плечи и зажмурился. Все было тихо. Я пощупал язык — не отсох ли? Язык шевелился.

— Нема бога! — повторил я громче.

Святой тупо глядел на меня темными пятнами очей.

— Нема бога! Бога нема! — выкрикнул я. На душе стало легко и весело. — И не было бога, одни картинки! — продолжал кричать я, ударил ногой в дверь и выскочил во двор.

Ярко светило солнце, и небо над головой показалось мне просторнее, чем было.

— Бога нема! — завопил я на всю улицу и увидел на заборе рыжего Илюху. Он смотрел на меня, испуганно вытаращив глаза. Челюсть у него отвисла.

— Ну, чего уставился? Нема твоего бога, и ангелов нема!

Илюха хотел перекреститься, но от страха не сумел, прыгнул с забора и пустился наутек.

— Держи Илью-пророка! — закричал я вдогонку и, веселый, побежал через дорогу к Ваське.

Но вдруг у Васькиной калитки я с разбегу чуть не ткнулся в живот Загребаю. Городовой сцапал меня за шиворот:

— А ну, стой! Это кто тебе сказал, что бога нема? Идем к отцу!

— Я больше не буду, дяденька...

— Врешь... Ишь разбаловались — бога нема! Отвечай: православный?

— Православный.

— А ну перекрестись!

Я торопливо осенил себя крестом раз, и другой, и третий.

— Скажи: «кукуруза».

— Кукуруза.

— Прочитай «Отче наш».

Я затарахтел заученное:

— Отче наш иже еси на небеси, да святится имя твое, да будет воля твоя...

— Стой!.. Понял теперь, что бог есть?

— Понял...

— Хочешь его увидеть?

— Х-хочу, — машинально пробормотал я.

Внезапно городской поднес к моему лицу огромный волосатый кулак:

— Вот бог, видел?

Я молчал, глядя на грязный, пахнувший солеными огурцами кулак. Городовой держал его у самых моих бровей, закрыв от меня весь свет.

— Что это? — спросил он грозно.

Я не знал, как отвечать. Городовой закричал:

— Я спрашиваю, что это?

— Б... бог, — испуганно выговорил я.

— То-то же... Я тебе покажу, бога нема! Ишь ин-тильгенты!

Городовой дал мне подзатыльник, и я помчался что было духу к Ваське.

Глава третья КРАСНЫЕ МАКИ

*Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы неизвестные ждут.*

1

Миновала зимушка-зима; отсвистели вьюги, растаяли надоевшие за зиму, покрытые копотью серые равнины снега в степи за поселком.

Пришла весна.

По крутым склонам каменного карьера снежной россыпью, белым кружевом цвели заросли дикого терна. Чуть подальше, где спускались к речке еще не зазеленевшие огороды, за низкими заборами отцвели абрикосы, вишни, сливы. Земля под ними была усеяна душистыми лепестками. В густой листве сиреневых кустов звенели синицы, чирикали яблочки, порхали щеглы. От речки доносилось кваканье лягушек, с утра до ночи звучал их разноголосый хор. Не было сил удержаться — манило в степь.

С весной пришла к нам радость — вернулся отец.

Всю зиму он скитался где-то по рудникам: искал работу, да напрасно. С тех пор как отцу выдали «волчий билет», его нигде не принимали. И что это был за билет? Куда отец ни придет, ему говорят: «Проваливай. Хорошо «Марсельезу» поешь, пойди еще попой».

Так и воротился отец ни с чем, худой, бородатый. Пиджак на нем был драный, а сапоги ношенные-перешитые, какие-то рыжие, со стоптанными каблуками и без подметок. Если бы отец не улыбнулся, входя, мы с мамкой не узнали бы его.

Гостинцев отец не привез. В пустых карманах пиджака я только и нашел огрызок карандаша да за подкладкой нащупал пачку каких-то красных листков с надписью: «Российская социал-демократическая рабочая партия». Я украдкой вынул один. На листке был стишок:

Царь ты наш русский,
Носишь мундир прусский.
Все твои министры
На руку нечисты.
А все сенаторы —
Пьяницы и воры,
Флигель-адъютанты —
Дураки и франты.
Сам ты в три аршина —
Экая скотина...

Дальше прочитать не удалось: вошел отец. Я успел положить листок обратно за подкладку, а в пиджаке запутался.

— Воришку поймал, — весело проговорил отец, входя. Он был добрый, чувствовалось, что соскучился по нас. — Ты что в чужих карманах ищешь?

— Обещал гостинца привезти, а сам не привез, — притворился я обиженным.

— Гостинец надо заработать. Отгадаешь загадку — получишь гостинец.

— Какую загадку?

— Ну слушай и отгадывай. Первая загадка такая: «Ударю булатом по каменным палатам, выйдет княгиня, сядет на перину»...

Пряча в усах усмешку, отец не спеша достал кисет, свернул сигарку, вынул кремень, фитиль, огниво, ударил раз-другой по кремню и начал раздувать искру.

— Отгадал? — спросил он, прикуривая.

— Нет.

— Плохи твои дела... Ну, тогда отгадывай вторую: «Лежит брус через всю Русь, а как станет — до неба достанет». Отгадывай.

— Не знаю.

— А ты подумай.

— Я уже думал.

— Эх ты, отгадчик...

Отец вынул из жилетного кармана кусок сахара, завернутый в лоскуток, и отдал мне.

— Грызи... А загадки мои простые. Первая — кремень, огниво, искра. Вторая — дорога. Пролегли дороги через всю Русь — не измеришь их, не сосчитаешь. Сколько ни ходи — не исходишь. Каждый человек выбирает себе дорогу и шагает по ней через всю жизнь. И у тебя будет своя дорога...

В голосе отца слышалась грусть, будто ему было жалко меня. Папка, папка, я и сам его жалел, прижался плечом к его худому плечу, и так мне стало хорошо! Я любил, когда отец бывал дома, но такое редко случалось.

А в тот день мы были с ним вместе, лежали за сараем в траве, и он рассказывал мне про дальние города, про шахтеров, которые живут там.

Счастье мое оборвалось неожиданно. Вечером нагрянула полиция. Мы только сели ужинать, как в дверь громко застучали. Отец выхватил из пиджака красные афишки и сунул их в рукомойник. Лишь тогда он открыл дверь, и в землянку, гремя саблями, вошли городовые.

Первым шагнул через порог полицейский пристав, весь в золотых пуговицах, с шашкой на боку.

— Руки в гору! — скомандовал он.

Отец поднял руки, и его стали обыскивать.

Мать как сидела на табуретке, так и окаменела.

Трое городских начали распарывать подушки, по полу рассыпались перья. Городовые становились сапогами на кровать и шарили за иконами. Потом один перекопал шашкой одежду в сундуке. Раз десять прошли они мимо рукомойника, но никто не догадался приоткрыть крышку. Во время обыска во дворе толпились люди и заглядывали в окно. Полиция отгоняла их.

Пристав, заморившись, хотел сесть на табуретку, но она под ним сломалась.

— Политикой занимаешься, а табуретки исправной нет! — сердито пробурчал пристав, поднимаясь с пола с помощью городского.

Больше он не стал садиться и стоя допрашивал отца:

— Где ваш главарь из Петербурга, по кличке Митяй?

— Не знаю такого, — отвечал отец и хотел погладить кошку, но пристав отшвырнул ее ногой.

— Ты, Устинов, дурака не валяй, все равно его найдем, а ты в кутузке насидишься. Я всех ваших главарей знаю: и Преподобного, и Митяя, и Богдана... Скоро всех переловим, так и знай.

Я испугался: Богданом подпольщики называли моего отца. Почему же пристав не схватил его и не закричал: «Держите, вот он, Богдан!» Значит, не знает пристав, что у отца такое прозвище, не знает! — радовался я.

У пристава были рыжие, почти красные усы. Они торчали в стороны, как две морковки, противно смотреть. Отец отвечал угрюмо:

— Власть ваша, господин пристав, делайте что хотите. Мы, рабочие, люди подневольные. У нас крылья связаны.

Пристав постучал по краю стола пальцем и сказал:

— Смотри, как бы твои крылья не оказались скованными.

Пристав не спеша прошелся по комнате, потом вернулся к отцу и ласково положил ему руку на плечо:

— Ты, Устинов, хороший кузнец. На заводе про тебя говорят, что таких кузнецов по всей России не сыщешь. Бросил бы ты заниматься политикой. У тебя семья, сын растет, ишь какой хороший пацан. Сгубишь ты ему жизнь. Брось это дело и живи по-божески. Я за тебя господину Юзу словечко замолвлю, жалование прибавят, квартиру дадут.

Отец тяжело поднялся:

— Вы зачем пришли, господин пристав? Обыск делать? Так делайте.

Пристав рассердился и зашагал к двери. У выхода он обернулся и, угрожающе держа руку на сабле, сказал:

— Насчет завтрашнего дня предупреждаю: никто

из дому не выйдет. Ничего не будет с того, что вы задумали. Так и передай своим.

Отец запер за полицейскими дверь на крючок и только тогда вынул из рукмоуника тайные листки.

Мать так перепугалась полиции, что и убирать не стала. Мы легли спать среди разбросанных вещей. Отец и мать шептались.

Я слышал, как она сказала:

— Против кого идете, подумай-ка! Царь всех вас погубит.

Отец ответил:

— Неправда, народ — как туча, в бурю все выльет.

«Пропадет отец, погубит его царь, — думал я, — заберут на войну, а там, известное дело, — останется отец без ног... Дали бы мне царя на расправу, я бы сначала огрел его палкой по голове, потом штыком в пузо ткнул, взял бы клещи да за ухо щипнул. Запросился бы царь: „Отпусти душу на покаяние!“»

Всю ночь снились тревожные сны, а утром, чуть солнце заглянуло в окошко, я подхватился. Дверь оказалась запертой снаружи на щепку. Ни отца, ни матери не было. Я испугался: значит, пристав запер меня, а отца с матерью увел.

Я с размаху ударил плечом в дверь и сломал щепку.

По улице, побалтывая ременными плетками, гарцевали верховые казаки, наверно, следили, не вышел ли кто из дому.

Спрятавшись за калиткой, я подождал, пока они проедут, и помчался через дорогу к Анисиму Ивановичу.

У них дверь была открыта. Наверно, тоже сломали запер. Анисим Иванович, куда-то собираясь, надевал чистую сорочку. Он был веселый. Тетя Матрена и Васька успокоили меня: оказывается, мамка моя ушла на базар, а куда делся отец, они сами не знали.

— Дядя Анисим, что это? — спросил я, увидев у старика на груди красную ленточку, пришпиленную булавкой.

— Это? — Он провел корявой ладонью по ленточке. — Это, Леня, знак свободы.

— Зачем?

— День сегодня такой.

«Какой же «такой» день? — думал я. — Пасха прошла, а до троицы еще далеко».

Я заметил, что сапожный инструмент Анисима Ивановича сложен в кучу: ни отец, ни Васька не работали. В землянке пахло свежим кизяком: тетя Матрена, видать, подмазала пол. Какой же нынче праздник?

Анисим Иванович отпустил Ваську гулять на целый день. Мы запрятали в карманы по куску хлеба и выбежали со двора.

До чего было хорошо вокруг! Теплый, едва слышный ветерок веял в лицо свежим ароматом сирени. На высокой акации, надувая пушистый зоб, пел скворец. В лучах солнца его черные перья отсвечивали то фиолетовым, то зеленым, то синим блеском.

Весна украсила нашу грязную улочку, наши пропахшие дымом дворики. Ни одной хатки не узнать: ту побелили, и она слилась с пышной кроной цветущей яблоньки; у той зазеленела трава на крыше, и мазанка стала похожа на камень, поросший мхом. А Илюхина завалюшка — точь-в-точь избушка на курьих ножках — косила подслеповатым оконцем из-за куста желтой акации, будто подглядывала за кем-то.

Казачьих разъездов на улице уже не было, но у лавки Мурата прохаживался Загребай. На другом углу еще трое городских, там еще и еще. Зачем их нагнали сюда столько? Неужели стерегут людей в землянках?

— Вась, почему сегодня нельзя из дому выходить? — шепотом спросил я.

Васька ответил раздраженно:

— Царь приказал.

— Да что ты все — царь да царь... Зачем это ему нужно?

— А я почем знаю? Царь что захочет, то и сделает. Может, например, тебе бочку золота дать, а может на котлеты изрубить. Скажет: «Нажарьте мне котлет из Ленки», — и прощайся с жизнью, капут, жил — и нету.

«Беда, — думал я, — отец еще когда обещался, что царя убьют, а он живет себе да живет...»

— Вась, я только тебе тайну открою, больше никому...

— Какую тайну?

— Отец говорил: царя убьют...

Васька испуганно обернулся:

- Тише, городской услышит. Я тоже кое-что знаю.
- Что, Вася?
- Сказку про царя Далдона. Хочешь, расскажу?
- Хочу.
- Идем в степь. А то здесь услышит кто-нибудь.
- Айда!

2

Васька обнял меня за шею, и мы пошли. На углу нас догнали ребята — Абдулка Цыган и гречонок Уча. Потом мы увидели рыжего Илюху. Он бежал по улице, придерживая рукой спадающие штаны; при этом он дул в самодельный свисток, изображая городского.

— Дай посвистеть, — попросил я, когда Илюха подбежал.

- Вот еще, слюней напустишь... Вы куда, хлопцы?
- На кудыкин двор.
- Нет, правда, куда?
- Гулять.
- Меня возьмите.
- Идем.

Обгоняя один другого, мы помчались туда, где обрывался отвесный каменный карьер.

— В атаку, за мной! — скомандовал Васька и стал наносить палкой удары по высоким колючкам. Летели в стороны отсеченные лиловые цветы, испуганно разлетались шмели, шарахались в стороны бабочки.

— Ур-ра! — вопили мы, следуя за Васькой.

Уча, запыхавшись, упал на живот, приложил ухо к земле и сделал вид, будто слушает, что делается под землей.

— Ребята, слышу, — закричал он, — слышу, как шахтеры уголь рубают!

Мы знали: Уча шутит. И все-таки мы тоже легли и стали слушать.

Васька постучал кулаком по земле и крикнул:

— Дядя шахтер, мы тебя слышим, вылезай!

— Угольку дай! — вопил Уча, зарывшись лицом в траву и приложив ко рту ладони, чтобы шахтеры под землей лучше слышали его.

Над обрывом каменного карьера мы заползли под

кусты колючего терновника и спрятались в тени. Цветущие ветви низко нависли над нашими головами. Полосатые осы, хлопотливые пчелы, жуки, букашки гудели, мелькали, кружились в синем воздухе. С речки доносились женский говор, шлепанье вальков по мокрому белью, гогот гусей.

Васька сидел, обхватив кольцом рук поджатые бо-
сые ноги, и, думая о чем-то, смотрел в степную даль,
а мы, сомкнувшись кругом, — голова к голове, ждали.

Вот он сорвал одуванчик и лег на спину.

— Что же ты, Вась?

— Чего?

— Сказку расскажи.

Васька рассмеялся:

— Царь Овес все сказки унес.

— Правда, Вась, расскажи! — просили ребята.

Васька отбросил одуванчик и сказал:

— Ну ладно, только глядите, сказка страшная. Не
будете бояться?

— Нет.

— Илюха, не будешь бояться?

— Я еще пострашней знаю...

— Ну, слушайте и знайте: сказка с начала начи-
нается, концом кончается, а в середине перебивается.
Понятно?

— Понятно.

— Значит, так. В некотором царстве, не знаю, в
каком государстве, за горами, за морями жили-были
два брата: один богатый, другой бедный. У богача в
доме пир горой, гармошка играет, а у бедного в хате
куска хлеба нема, одни мыши бегают. И жил в этом
царстве-государстве царь, по прозвищу Далдон. Был
он дурак дураком, да все-таки царь...

Илюха испуганно посмотрел на Ваську, а тот про-
должал:

— Вот раз встречается братьев царь Далдон и спра-
шивает: «А ну говорите, кто из вас добрей?» Богатый
брат выскочил наперед и отвечает: «Царь-государь
батюшка, добрее меня человека на свете нет». — «А
ты?» — спрашивает царь у бедного. «Не знаю», — отве-
чает тот. «Не знаешь? Тогда я сам узнаю, кто из вас
добрее».

Взял царь богатого брата за руку и спрашивает:
«Видишь в поле три дуба?» — «Вижу». — «Что бы ты

из тех дубов сделал?» Богач и говорит: «Я бы те дубы спилил, досок наделал и тебе, царь-батюшка, богатые хоромы построил». — «Молодец! — похвалил царь. — Ну, а ты, что сделал бы из тех дубов?» — спрашивает у бедного. Подумал Бедняк и отвечает: «Я бы третий дуб срубил, положил на те два да тебя, царское величество, повесил бы».

Рыжий Илюха заерзал на месте, будто под него насыпали горячих углей.

— Ты чего?

— Не бывает таких сказок...

— Не любо — не слушай, а врать не мешай, — проговорил Васька и продолжал: — Ну, так вот... Услыхал царь Далдон слова Бедняка и говорит: «Пойдемте до моря...» Пришли они, остановились и смотрят, как рыба играет. Царь Далдон подкрался сзади да как толкнет Бедняка в воду. «Пропaday же, — говорит, — лучше ты, чем я...»

Абдулка Цыган даже привстал, а Уча с досады стукнул своим расщепленным костылем по траве:

— Чудак, зачем же он так близко к морю подошел?

— ...Упал Бедняк в воду, а тут откуда ни возмись — Чудо-юдо рыба кит. Подплыла — хап его! — и проглотила.

Илюха опять недоверчиво хмыкнул:

— Ну да, проглотила. Он же в сапогах был.

Васька покосился на рыжего и неожиданно спросил:

— Илюха, сто да сто — сколько будет?

— Двести.

— Ну и сиди, дурак, на месте.

Илюха обиделся и засопел:

— Задаешься чересчур...

В траве прошмыгнула ящерица. Васька прихлопнул ее ладонью, отбросил щелчком в сторону и продолжал:

— Ну вот, значит, очутился Бедняк в животе у кита. Что делать? А кит наглотал в себя всяких пароходов, бричек с волами — тесно в животе у кита, как на ярмарке. Сидит Бедняк и думает: «Чего бы поест?»

Ребята рассмеялись.

— Бедняк-бедняк, а хитрый! — проговорил Уча.

— А может, он целый день не обедал,— сказал Абдулка.

— Тише, не мешайте рассказывать! — прикрикнул я на ребят.

Васька продолжал:

— ...Немного погодя поднялся Бедняк и пошел бродить между бричками. Пошарил рукой в одной бричке и нашел в соломе трубку, табак и кресало. Взял трубку, высек огонь кресалом и сидит себе курит. Одну трубку выкурил, набил табаком другую — выкурил, набил третью — тоже выкурил. У кита от дыма голова закружилась, приплыл он до берега и заснул...

Ребята опять было рассмеялись, но Васька нахмурился, и они смолкли.

— ...Ну, что делать Бедняку? Не сидеть же в ките! Вылез он через китово ухо, смотрит, а на берегу сидит старик и что-то стругает. «Бог на помощь, дедушка». — «Спасибо, добрый молодец». — «Что делаешь?» — «Гусли-самогуды стругаю». — «Давай меняться: я тебе трубку-самокурку, а ты мне гусли-самогуды». — «Давай». И поменялись.

Васька умолк. Усмешка играла на его губах. Он оглядел нас, спросил:

— Интересная сказка?

— Интересная.

— Рассказывать дальше?

— Рассказывай, рассказывай!

— А может, не надо?

— Надо, надо!

— Что же дальше?.. Ну ладно, пошел Бедняк по дороге. Гусли-самогуды сами играют, сами пляшут, сами песни поют. Поют про то, как царь Далдон Бедняка в море утопил. Ходит Бедняк по городам и рудникам, а гусли поют про царя и его злодейство. Собирается народ, слушают люди гусли-самогуды и говорят: «Надо бы самого Далдона утопить. Зачем он над бедными знущается?..»

Илюха тревожно оглянулся на кусты — нет ли кого поблизости.

— ...Пошла молва про Бедняка и докатилась до царя, — продолжал Васька. — Испугался Далдон и говорит своим слугам: «Спрячьте меня скорее, а если Бедняк придет, скажите, что меня дома нема, что я на базар пошел».

— А какие слуги у царя? — неожиданно спросил Абдулка.

Васька ответил не сразу.

— Какие? Всякие. Эти, как их... гусары, бароны...

— И палач! — выкрикнул Уча. — С топором по царскому приказу головы отрубает.

— Ноги, — сказал я.

— Не ноги, а головы, — возразил Уча.

— Вы будете меня перебивать? — сердито спросил Васька.

— Не будем, не будем!

— Вот, значит, стали слуги думать, куда царя Далдона спрятать, чтобы его Бедняк не нашел. Куда спрячешь? На небо нельзя — не удержится он на облаках; в воду тоже нельзя — потонет. Думали, думали и надумали: спрятали царя в яйцо, яйцо в утку, утку в железный сундук, а сундук заперли пудовым замком и опустили в глубокую шахту под землю.

Илюха поднялся, собираясь уходить.

— Шо ты, Васька? Разве можно так про... царя?

— Дурной, это же сказка.

— Будет тебе сказка, если городской узнает!..

Уча поддел костью Илюхину шапку и закинул ее в кусты. Илюха обиженно засопел и уныло поплелся за шапкой.

Васька продолжал:

— Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли шел Бедняк. Приходит до царского двора. Видит, высокие-превысокие хоромы, а вокруг забор из дубовых бревен. В небо забор упирается. Слуги цареvy увидели Бедняка, перепугались насмерть и ласково так спрашивают: «Ты царя, голубчик, ищешь? Нема его, на базар ушел».

Вдруг Васька запнулся и переменялся в лице. Я оглянулся и обмер: в двух шагах от себя я увидел Загребая. Пышные усы его шевелились, точно городской нюхал нас.

Кусты терна раздвинулись, и на поляну, крадучись, вышли двое: Загребай и какой-то слюнявый парень с мутными глазами. На нем был новый картуз с блестящим лакированным козырьком, одна штанина заправлена в сапог, другая вывалилась и болталась. Я сразу догадался — сыщик.

— Вы что тут делаете? — грозным шепотом спросил Загребай.

Васька растерянно приподнялся. Мы тоже встали.

— Что делаете, спрашиваю?

— Ничего не делаем, играем, — сказал Васька хмуро.

— Мастеровых не видали? — спросил городской, оглядывая нас подозрительно.

— Каких мастеровых?

— Не знаешь, каких? Заводских. Может, собирались тут, про царя говорили?

— Нет, не видали.

Успокоившись, городской снял белый картуз с желтым кантом и облупившейся жестяной кокардой, вытер платком потный лоб. Сыщик лениво опустил на траву, вынул из кармана конфету, развернул ее и отправил в рот. У него были скучные глаза, будто ему до смерти надоели эта степь, поющие жаворонки, полицейский Загребай и мастеровые, которых нужно искать по кустам. Он сосал конфету и безучастно смотрел в степь.

Городовой высморкался в большой белый платок и присел на корточки. Его зеленые, точно у кота, глаза улыбались.

— Играете, значит? — спросил он мирно и, желая, видимо, развеселить нас, ткнул Илюху в живот концом шашки, выкрикнул «к-кх!» и закатился беззвучным смехом. — Ах ты сволочь эдакая, обезьяна рыжая! — сказал он и снова потянулся щекотать ребра Илюхи, но тот испуганно спрятался за Ваську.

Потом лицо городского сделалось серьезным, и он зашептал:

— Вот что, пацаны. Вы тут последите, ладно? Если заметите, собираются мастеровые, — живо ко мне! — Он достал из кармана медный пятак с двуглавым царским орлом и показал нам. — Кто первый увидит, тому дам эту штуку, поняли?

— Поняли, господин Загре... то есть господин городской.

— Молодцы. Сидите и делайте вид, будто играете, а сами смотрите в оба.

Сыщик и городской, пригнувшись, полезли в кусты. Среди ветвей промелькнула длинная черная спина сы-

щика, за ней красный складчатый затылок городского. Васька поспешно надел картуз.

— Побудьте тут, я скоро приду.

— А ты куда?

— На кудыкину улицу.

Ребята заволновались:

— Доскажи сказку, Вась.

— Некогда.

— Можно с тобой?

— Сиди здесь. — И Васька скрылся за кустами.

Легко сказать — сиди, а как же сказка? Чем она окончилась: нашел Бедняк царя или нет?.. Перебил сказку усатый! Я решил убежать от ребят. Уж мне-то Васька доскажет сказку. Я сделал вид, будто погнался за бабочкой, а сам полез сквозь колючие ветки.

Бежать пришлось недолго, Васька возвращался озабоченный. Оказывается, отец велел ему зачем-то нарвать красных полевых маков и побыстрее отнести на завод.

— Зачем цветы?

— Не знаю. Может, праздник или свадьба.

— А разве бывают на заводе свадьбы?

— Наверно, бывают.

По ту сторону речки степь была усеяна красными полевыми маками. Мигом мы нарвали их столько, что трудно было удержать в охапке.

Дома Анисим Иванович завернул цветы в мокрую тряпицу, положил их в кошелку и велел отнести на «Шанхай», к отцу Алеши Пупка.

Я удивился: к какому отцу, если отец Алеши помер год назад?

3

До смерти не любил я, когда старшие поручали Ваське какое-нибудь дело. Он становился строгим — не улыбнется, не забалуется. Я понял: со сказкой ничего не получится. «Некогда, — скажет Васька, — нужно дело делать!»

Васька взял у отца кошелку и подмигнул мне:

— Идем.

Я притворно зевнул и сказал лениво:

— Ну тебя, зачем я пойду?

— Идем, я ведь ходил с тобой в лавку.



— Сказку доскажешь — пойду!

Васька засмеялся:

— Я ее сам не знаю, чудак человек.

— Как не знаешь?

— Очень просто. Такой сказки нету вовсе. Я ее из своей головы выдумал.

«Хитрит, — решил я, — разве можно сказку выдумать?» Некоторое время мы молча шли рядом. Впереди, свесив розовый язык, бежал Полкан.

Солнце уже поднялось высоко и жгло нещадно. Босыми пятками было горячо ступать по раскаленной земле. На дороге лежала пыль, рыхлая, как мука.

Мимо нас проехал к заводу отряд жандармов. Поднялась такая туча пыли, что мы долго шли вслепую, прикрыв ладонями глаза.

— Вась, а правда, интересно, что было дальше в той сказке? Наверное, кто-нибудь знает, — сказал я, сплевывая пыль, набившуюся в рот.

Васька молча шагал рядом, защитившись от пыли воротом ситцевой рубахи.

— Я бы такому человеку, который знает сказку, все свои стекляшки отдал бы и еще в придачу...

— Некогда сейчас, — сказал Васька, — надо дело сделать. Ты как маленький, тебе бы только сказки.

Сказки. А как узнать про Бедняка? Отплатил он царю Далдону или нет? Я бы тоже заступился за Бедняка с гуслями.

В раздумье я не заметил, как миновали трехрублевые балаганы, и вот перед нами вырос задымленный террикон заводской шахты.

Поселок «Шанхай» примостился у подножия террикона, как цыганский табор под горой.

Здесь было все черно от заводской копоти. Нигде ни деревца, ни травинки, только пыль и камень. Саманные лачуги покрыты ржавыми листами железа и обломками прогнивших досок. Всюду торчали отхожие места вперемежку с летними кухнями, валялись на дороге дохлые собаки и кошки.

В «Шанхае» в большинстве жили китайцы — рабочие завода. Там же находилась хибарка Алеши Пупка.

Он будто знал, что мы придем, и стоял у порога.

— Заходите, давно вас ждем, — сказал он тонким голосом, и его бледное лицо озарилось улыбкой. Мне

правились глаза Алеши — большие и печальные, как у святого.

Мы вошли в полутемную землянку. На кровати, заваленной ворохом тряпья, сидел человек и что-то стругал.

— Па, пришли с маками, — сказал Алеша.

— Добре, — весело отозвался человек, вставая, и я, к своему удивлению, узнал в нем рабочего-китайца, который караулил нас с отцом, когда я мылся в заводской кочегарке.

«Значит, этот китаец — второй отец Алеши Пупка», — решил я.

— Здравствуй, товарищ, — сказал он, подавая руку Ваське, и по тому, как он крепко и долго тряс Васькину руку, я понял: он добрый человек.

— Что ты стругаешь? — спросил я.

Алешкин отец посмотрел на палку, которую выстругал, и сам спросил у меня:

— Красный флаг видал когда-нибудь?

— Видал.

— А почему он красный, знаешь?

— Нет.

— Потому что на нем наша рабочая кровь! И надо эту кровь поднять высоко над землей, чтобы все видели, как горит рабочая кровь!.. Понял или нет?

— Да.

— Молодец, пролетарий! — сказал он и обратился к Алеше: — Собирайся, скоро гудок будет.

Алеша подхватил кошелку, и мы вышли.

— Как твоего отца звать? — спросил я.

— Ван Ли, а рабочие зовут Ваней. Он хороший, меня жалеет.

— Кому ты цветы несешь? — спросил я.

— То не мое дело. Велено отнести, я и несу.

Алеша произнес эти слова хмуро, будто был недоволен моим вопросом.

— Сегодня же Первый май! — сказал он.

— Какой Первый май?

— Рабочий праздник, разве вы не знаете? Эх, чудаки... Сегодня на заводе забастовка будет: Полиции собралось — тьма! Солдаты из Бахмута прибыли. Про флаг слышали?

— Нет.

— Сегодня ночью кто-то вывесил на доменной тру-

бе красный флаг. Я сам видал, высоко, на самой макушке. Красиво! Солнце вставало, осветило флаг, и он, как огонь, горел. Суматоха поднялась! Полицейские бегают, а лезть наверх боятся. Пристав кричит на рабочих: «Арестую! Кто повесил?» А те посмеиваются: «Не знаем». — «Приказываю снять!» — «Не можем». — «Сто рублей дам!» — «Спасибо, нам жизнь дороже». Тогда пристав начал подталкивать к трубе своих полицейских, а те как глянут вверх, так в обморок падают. Потом все-таки один, прыщавый, сапоги скинул, перекрестился и полез. Сняли флаг, жалко...

Мы подошли к заводской стене, посадили Алешу, подали ему кошелку с красными маками, и он исчез.

Васька стоял в растерянности.

— погоди, — сказал он, о чем-то раздумывая, — кажись, мы промах дали.

— Какой?

— Алешу охранять надо. Если городовые остановят, мы их камнями закидаем. А ну, за мной!

Царапаясь по стене пальцами босых ног, Васька вскарабкался наверх и подал мне руку. Полкан прыгал и стрывисто лаял: жаловался, что мы его бросаем.

На заводе, подбирая на ходу ржавые болты и гайки, мы побежали догонять Алешу. Его худенькая фигурка с кошелкой на локте мелькала вдали, между цехами.

Я шел пригнувшись и неожиданно чуть не наступил на красный листок бумаги, совсем новенький, видимо только что оброненный.

— Чур, на одного!

— Чур, на двоих!

Мы столкнулись плечами, но листок уже похрустывал у Васьки в руке.

— Здесь что-то написано, — сказал он, разглядывая пахнувший краской листок. Я вспомнил, что точно такие листки видал у отца за подкладкой пиджака. Неужели отец проходил здесь и обронил?

— Знаю, — шепотом сказал Вася, — это афишка против царя. А ну, читай!

Мы присели у затухшего ржавого паровозика, стоявшего на заросших травой рельсах. Оглянувшись по сторонам, я начал разбирать по слогам написанное.

«Российская социал-демократическая рабочая партия. Товарищи, поздравляем вас с праздником Перво-

го мая!» — я читал про себя, опасаясь произнести эти страшные слова вслух.

Васька толкнул меня:

— Чего же ты? Читай!

— «Взгляните, товарищи рабочие, — прочитал я громко и обернулся, — взгляните, каким страхом охвачены сегодня царь и его слуги — городовые и жандармы, посмотрите, сколько штыков держит он наготове против нас».

— Дай сюда, — прошептал Васька и сунул афишку за пазуху, — это мы после прочитаем. За Алешкой надо следить.

Алешу мы не догнали. Наверное, он уже дошел до коксового цеха, где работала его мать.

На заводе мы увидели много полиции — всюду белели их мундиры.

Вдруг заревел заводской гудок. Белая струя пара билась в воздухе над кочегаркой. Гудок гудел не вовремя: ни на обед, ни на шабаш. Сигнал к забастовке!

Из цехов стали выходить рабочие. В грозном реве гудка противно, по-комариному пропищал полицейский свисток. Со всех сторон отозвались десятки других. Рабочим преградили дорогу.

Пристав (который делал у нас обыск) взобрался на груды железного лома и поднял руку, требуя тишины.

— Господа рабочие! — громко выкрикнул он. — Поздравляю вас с праздничком. Но вы сами понимаете: идет кровопролитная война, нам нужны снаряды. Не время бастовать, прошу разойтись по цехам.

А толпа прибывала. Шли из литейного, от мартенов, с вальцовки. В замасленной одежде шагали слесари механического цеха, боевым шагом поспешали бурые от руды доменщики. Вразнобой шли запыленные известью работницы кирпичного цеха.

Группа рабочих парней образовала шуточный хор. Стоя перед приставом, который говорил речь, они пели заунывными голосами:

Жил-был у бабушки
Серенький козлик...

Скоро и другие подхватили:

Вот как, вот как!
Серенький козлик!

Как ни старался пристав перекричать хор, песня гремела:

Бабушка козлика
Очень любила.
Вот как, вот как!
Очень любила...

Пристав не выдержал и выхватил саблю:

— Не разрешу покидать завод! По цехам — иначе всех в Сибирь!

— Кандалов не хватит, — отвечали рабочие, — во-он сколько нас, целое море!

— Уходи с дороги, ваше благородие, мундир испачкаем.

Наконец показались в обгорелых лохмотьях желтолицые коксовики. Мы с Васькой чуть не вскрикнули от радости: у каждого в петлице, на фуражке или просто в руке огоньками горели красные маки. Конечно, это были наши цветы!

Встречая коксовиков, рабочие зашумели. В толпе я заметил отца. Он кинул вверх пачку бумажек, и листки, трепеща, как голуби крыльями, медленно оседали над головами тысячной толпы.

Пристав охрип. Он кричал, но ничего не было слышно. Вдруг ворота завода распахнулись, и во двор на рысях въехали конные жандармы с шашками наголо.

— Тикай! — крикнул мне Васька.

Рабочие хлынули в разные стороны и стали перелезать через забор.

Мы с Васькой бросились к дыре под заводской стеной, где вытекал черный вонючий ручей. Дыра была тесной, пришлось проползать на животе, и я вымазался в грязной, как мазут, воде.

Полкан, оказывается, дожидался нас у заводских ворот и, как только увидел, пулей помчался за нами, прижав уши.

4

Вымокшие, перепуганные, мы долго бежали по степи и опомнились, когда очутились на крутом обрыве степной балки. Мы узнали ее сразу: то была Цыганская балка. В ней находилась подземная штольня, где раньше добывали уголь, а потом, по рассказам, жили дезертиры.

Мы стояли на высоком ее берегу. Перед нами раскинулась опаленная степь. Над волнистыми холмами струилось и дрожало знойное марево. Ветер-волногон пробежал по серебристым ковылям. Не пересчитать, не окинуть взглядом, сколько было в степи цветов! На склонах балки покачивали золотыми головками венчики горлицы. Издалека синели лимоноссы. А над всем этим в высоком небе громоздились сугробы из белых облаков.

Степное раздолье навевало радость, и как-то сами собой забылись только что пережитые страхи.

Мы стали спускаться в балку, продираясь сквозь низкорослые корявые дубки, дикие груши, боярышник. На дне балки трава была по пояс. Полкана не было видно в траве. Мы узнавали, где он, по птицам, которые с криком вспархивали то там, то здесь.

Мы натолкнулись на светлую криничку; вода в ней была такая чистая, что виднелись на дне мелкие камешки. Желтая бабочка сидела на краю и шевелила крыльями.

— Про афишку мы забыли, — усмехнувшись, сказал Васька и вынул из-за пазухи красный листок. — Погоди, здесь нас увидят. Пойдем, я знаю куда.

Мы протиснулись сквозь кусты и очутились перед заброшенной штольной. Вход в нее густо зарос кустами шиповника. «Не здесь ли спрятался царь Далдон?» — вспомнилась мне Васькина сказка. Похоже, что здесь, вон как тянет холодом и сыростью.

Васька нырнул в пещеру. Пришлось лезть и мне, хотя было жутко.

Мы присели с краю у стены. Заводская мазутная вода совсем запачкала буквы прокламации, и стало трудно разбирать написанное.

— Читай, — сказал Васька.

— «...Поглядите вокруг — каждый день взрывы, каждый день увечья. Богатства Юза сочатся нашей кровью!..»

Невдалеке заворчал Полкан.

Васька, предупреждая о чем-то, схватил меня за руку, а сам подкрался к выходу и огляделся по сторонам. Вернулся он на цыпочках и присел, блестя в полутьме настороженными глазами.

— Какие-то рабочие в степь пошли. — Помолчав, он добавил: — Я знаю куда.

— Скажи!

Васька не ответил, взял у меня листок и спрятал под камень.

— Идем револьверы искать.

— Какие?

— Ясно какие! Если в штольне дезертиры жили, значит, револьверы в стенах спрятаны.

Лезть в глубь штольни было страшнее, чем попасться в руки городовому с запрещенной афишкой. А вдруг под землей взаправду сидит царь Далдон или, того хуже, прячется в темноте сам Шубин¹ с волосатыми копытами? Против Шубина, правда, есть верное средство — перекреститься и прочитать молитву: «Да воскреснет бог...» Но я со страху все молитвы позабыл.

Васька выломал две палки, одну дал мне:

— Лезем, Леня, не бойся.

Полкана мы оставили у входа караулить. Тот послушно лег в траву. Мы шли вглубь, постепенно удаляясь от света. Запахло плесенью. Под ногами чмокала грязь. По обеим сторонам виднелись скользкие подгнившие столбы крепи, приходилось опускаться на четвереньки, чтобы пролезть под ними. Потом стало так темно, что и Васьки не было видно. Я держался сзади за его рубаху.

Васька то и дело останавливался и, присев, шарил рукой под камнями: нет ли револьверов.

Мы брели в кромешной тьме, пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о верхняк. Чем дальше мы шли, тем становилось страшнее. Я ждал, что вот-вот в темноте засмеется Шубин и цапнет за ногу.

— Вась, тут, наверное, нету револьверов, идем назад.

Васька достал из кармана кресало и высек искру. Раздувая тлеющую тряпочку, он слегка осветил мокрый низкий свод. Тут мы наткнулись на кирку. Она лежала поперек залитых водой рельсов.

— Здесь шахтеры уголь добывали, — сказал Васька, ощупывая ржавую кирку.

Мы пошли дальше, куда-то свернули, потом пришлось ползти: старая крепь осела донизу. Тряпочка давно истлела. Я оглянулся: позади тьма, впереди тоже. Холодный страх пополз у меня по спине. Вокруг

¹ По преданиям, шахтерский черт, живший в шахтах.

было так тихо, что звенело в ушах. Слышно было, как шлепались в воду капли.

— Хорошо здесь в жмурки играть, правда? — сказал Васька.

— А-ага.

— Ты чего?

— Ничего.

— Боишься?

— Не-е.

— Я думал, боишься. Скоро выход будет. Чуешь, ветерком потянуло?

Я ощутил на лице легкое дуновение. На душе стало легче. А вот блеснул впереди еле заметный далекий выход. Я обогнал Ваську и бегом помчался к пятнышку света.

— Пригни голову, стукнешься! — крикнул мне Васька, но я еще быстрее устремился вперед.

5

Выход из штольни обвалился и зарос кустарником, поэтому я не сразу понял, что мы вышли в Богодуховскую балку. Меж тенистых ветвей поблескивал ключевой Богодуховский ставок.

После гнилого удушья штольни свежий ветерок показался особенно приятным.

Но, чу!.. людские голоса. Я высунул голову и тогда только разглядел среди кустов множество людей. Большой красный флаг плескался в упругих струях степного ветра.

Сердце обдало холодом. Глухо, толчками забила в висках кровь. Сзади подполз Васька. Он заметил, наверно, что со мной творится неладное, и спросил шепотом:

— Что там?

Я не ответил. Васька осторожно развел ветки и зашептал радостно:

— Я так и знал.

Затаившись, мы стали наблюдать.

Какой-то низенький тучный человек в круглом котелке произносил речь. Стоя на пеньке, он потрясал пухлым, как булочка, кулаком и выкрикивал:

— Мы не перестанем повторять: нельзя братья за оружие! Нельзя! Вспомните девятьсот пятый год. Что

он дал нам, русским революционерам? Сотни убитых! Тысячи сосланных на каторгу! Вы что, хотите камни пропитать кровью?

— Девятьсот пятый научил нас сражаться! — громко выкрикнул человек с черной кудлатой бородкой, тот, что приехал к нам из Луганска и которого звали Митяем. Я его сразу узнал.

— Это не борьба, а смута, — резким голосом отвечал дяде Митяю толстяк в котелке, — она слишком дорого обошлась рабочему человеку. Спасибо, мы не хотим, чтобы пятый год повторялся.

— Так прямо и скажи: не хотим революции! — под громкий шум одобрения крикнул дядя Митяй. — А мы видим спасение в революции и совершим ее, хотя она и не нравится вам, буржуйским прихлебателям!

— Рабочему не драки нужны. Да-с! — пищал толстяк. — Пять копеек прибавки на рубль ему дороже, чем вся ваша политика!

— Неправда!

— Хватит слушать его, долой меньшевистские молитвы!

Красный флаг, прикрепленный к свежеструганой палке, забился, затрепетал на ветру.

Я разглядел, что с флагом стоял молодой рабочий.

— Что же ты, хочешь за пятак свободу у царя купить? — послышался вдруг такой родной голос, что у меня захватило дыхание. Из тысячи голосов я отличил бы этот хрипловатый голос. Кусты мешали мне увидеть отца, но я знал, что это был он.

А толстяк надрывался:

— Русский рабочий не готов к революции! Наша задача — организовать промышленные комитеты и воскресные школы. И не призыв к восстанию нужен, а петиция в Государственную думу с просьбой о правах для рабочих!

— Хватит! Мы в девятьсот пятом просили, и царь ответил пулями.

Мне хорошо было видно, что эти слова произнес механик Сиротка, и он даже встряхнул пустым рукавом ситцевой рубахи.

— Вот он, ответ царя на мою просьбу! Товарищи! — обратился он ко всем. — Большевики зовут нас к отступлению! Они защищают царя-тюремщика! Долой меньшевиков, изменников рабочего дела!

— До-лой! — поддержали Сиротку со всех концов балки.

— Пусть под рабочего не маскируется, меньшевик!

И началось! Шахтер Петя с Пастуховки, сидевший у самой штольни, шагах в трех от меня, вскочил и крикнул:

— Спихните его в ставок!

Шея толстяка налилась кровью, голова, похожая на кувалду, затряслась, и он визгливо закричал:

— Вы нам рта не закроете! (Никто ему и не закрывал рта, хотели только столкнуть.) Мы не меньше вас, большевиков, боремся за свободу...

Потеха была с этим толстым человечком. Его правильно прозвали меньшевиком, он и в самом деле был маленький — совсем карапуз, только живот большой.

Рабочие стащили толстяка, и на его место поднялся дядя Митяй.

Ко мне долетели обрывки его речи:

— Вы, меньшевики, хуже врагов. Вы прикидываетесь друзьями рабочих и хотите отвлечь их от революции красивыми словами. Не выйдем! Ни в одной революции не побеждали словами. На пули царя нужно ответить пулями!..

Я раздумывал, что нам с Васькой делать: идти обратно по штольне страшно, оставаться тоже было бо-язно.

Мне почудилось, что где-то далеко-далеко тревожно лаял Полкан. Но это, конечно, показалось: слишком далеко отсюда была наша собака. Но вдруг сзади послышалось чавканье шагов, я обернулся: в темной глупине штольни блуждали огоньки.

— Кто это, Вась?

— Прячься.

Прятаться было некуда. Страх сковал тело. Я прижался к стене, затаившись между столбами подземной крепи. Донесли приглушенные голоса. От близких огней на мокрых стенах задвигались тени.

Я не дышал. Кто подкрадывается к нам?

Какой-то человек прошел мимо меня, прислушался и зашептал, обернувшись:

— Ваше благородие, здесь они.

Я узнал слюнявого сыщика. Потом, крадучись, подошел пристав, осторожно выглянул из пещеры и прошептал стоявшим позади городовым:

— Приготовиться... Главарей хватать живьем!

В страхе я позабыл о Ваське и даже не видел, куда он делся. Вдруг я услышал рядом не то стон, не то мычанье, потом Васькин вскрик:

— Ой!

Пристав и городовые так и присели.

— Кто здесь? — прошипел пристав и стал торопливо шарить руками вокруг себя.

— Ой, ногу сломал! — изо всех сил закричал Васька.

— Молчи, скотина!

В свете огоньков я увидел, как Васька корчился, сидя на земле.

— Ой, спасите, больно! — вопил он.

Пристав зажал ему рот, но Васька вырвался и еще громче закричал.

В балке послышался треск сучьев и голос Петishaхтера:

— Товарищи! Тревога!

— Чего стоите, болваны! — закричал на городских пристав и, выхватив из кобуры револьвер, первым выскочил из штольни.

Из балки донеслись стрельба, крики, шум борьбы.

Васька схватил меня и, вытянув перед собой руку, чтобы не удариться о верхняк, кинулся в глубь штольни. Он уже не жаловался на ногу, значит, нарочно притворился...

Какой-то страшный день, ничего нельзя было понять...

6

Весть о том, что в Богодуховской балке полиция расстреляла рабочих, что многие убиты или ранены, разнеслась далеко по шахтерской степи. Рассказывали, что красный флаг пристав изорвал в клочья и что по всей балке валяются обрызганные кровью прокламации. Эту весть принесли те, кому удалось бежать.

Я не знал, что с отцом: уцелел он или убит. Я плакал у заводского забора, а Васька тянул меня искать отца. Но где его найдешь, если всюду творилось что-то немыслимое!

У завода волновались тысячные толпы рабочих. С соседних рудников прибежали углекопы, вооружен-

ные обушками, кайлами и топорами, — пришли на помощь заводским.

Рабочие готовились к бою, сносили глыбы камня, столбы, вагонетки, листы железа, нагромождали одно на другое, и вырастала крепость. Сверху установили флаг — прибитую к палке чью-то рубашку в крови.

Рабочими командовал дядя Митяй. Это он укрепил на баррикаде красный флаг. Был тут и дядя Ван Ли, Алешин отец, и шахтер Петя. Потом мы увидели Анисима Ивановича. Вздолнованный, он разъезжал на своей тележке возле крепости и показывал рабочим, как надо строить баррикады.

Мы с Васькой пригнулись, чтобы Анисим Иванович не заметил нас.

Вдруг из ближайшей улицы вылетел всадник, потанцевал верхом на коне и поднял саблю. На рысях выскочил эскадрон казаков с винтовками. В мягком фазтоне наперед выехал сам городской голова генерал Шатохин, а с ним полицмейстер. Стоя на крыле фазтона, полицмейстер зычно крикнул:

— Р-разой-дись!

Вслед за этим треснул винтовочный залп.

Дядя Митяй поднялся на баррикаду. Грозно прозвучал его голос:

— Товарищи! Отстоим право на жизнь! Долой Николая Кровавого!

Рабочие подняли камни, в толпе замелькали обушки. Скакавший впереди казаков молодой сотник в белых перчатках рывком вздыбил вороного коня и, обернувшись к всадникам, громко, нараспев, подал команду:

— Шашки вон! За мной марш, марш!

Молниями сверкнули выхваченные из ножен сабли. Казаки пригнулись к вытянутым шеям коней и поскакали на рабочих.

Навстречу полетели камни, обломки породы, куски железа.

Казачьи лошади заплясали: какая боком, какая выгнув дугой шею. Одна лошадь поднялась на дыбы и, всхрапывая и роняя розовую пену, перебирала ногами, точно отбивалась от урагана камней. Казаки ворвались в толпу и, вертя над головой саблями, топтали конями людей. Другие били рабочих плетками со свинцовыми шариками на концах, озверело, с маху стегали по пле-

чам, по рукам, по спинам. Я видел, как шахтер Петя вцепился в хrap серой лошади. Казак наотмашь сек его плетью по голове, но тот не отпускал ноздри лошади, пока она не упала на колени; казак нырнул через ее голову на землю.

Такое побоище шло вокруг, что страшно было смотреть.

На помощь казакам нагрянули жандармы. Механик Сиротка кричал:

— Товарищи, братья, бейте царских сатрапов! «Встава-ай, проклятьем заклеиме-енный, весь мир голodных и ра-бо-ов!..»

Слюнявый сыщик кинулся к Сиротке с кирпичом, но шахтер Петя ударил сзади сыщика обушком по голове, и тот с разбегу ткнулся лбом в канаву, где прятались мы с Васькой. Из кармана сыщика выпала и покатилась в ров конфета, а сам он остался лежать с разбитой головой.

Человек двадцать жандармов пробивались сквозь толпу к недостроенной крепости, где развевался смоченный кровью флаг. Другие бросились к дяде Митяю, которого плотной стеной окружили рабочие. Вот жандармы схватили флаг и стали рвать его. Дядя Ван Ли бил их палкой, но она сломалась. Из толпы отделился рабочий, отбежал в сторону, расстегнул ворот рубашки, достал из-за пазухи красный лоскут и стал прикреплять его к обломанной палке. Казак с лошади ударил его плетью по лицу, а рабочий упал вместе с флагом.

Но тут какая-то барышня с зонтиком мигом сняла чехол, и в ее руках вместо зонтика затрепетал на ветру красный флаг.

Усатый городской схватил барышню за косы и пригнул ее голову к земле, но рабочие подхватили зонтик-флаг, и он поплыл над головами, переходя из рук в руки.

В грохоте битвы дядя Митяй призывал рабочих не сдаваться, однако городовые прорвались к нему. Он отшвыривал их, но жандармы навалились кучей.

Я видел, как недалеко от нас какая-то женщина с растрепанными волосами подбежала к сотнику, который гарцевал на коне, рванула на груди кофточку и крикнула:

— На, мерзавец, стреляй в грудь, которой я младенца кормлю!

Жандармы, казаки и полиция теснили рабочих к воротам завода. Под напором людей ворота затрещали.

Толпа хлынула на завод, казаки — следом. Звуки битвы стали удаляться...

— Вот тебе и свадьба в заводе! — сказал Васька с обидой в голосе.

Все-таки мы нашли отца. Рабочие привели его, раненого, в котельную.

Отец был весь в крови. Он сидел на ящике, откинувшись к стене. Шахтер Петя и двое других рабочих перевязывали ему голову лоскутами.

Я громко заплакал, но отец не слышал меня. Закрыв глаза, он повторял, как в бреду:

— Не может быть, чтобы эта кровь прошла даром... Не может быть!..

7

Бунт в городе не утихал несколько дней.

Рассказывали, что Первого мая бои шли на всех улицах. Присланные из Бахмута казачьи эскадроны в центре города загнали рабочих за церковную ограду и начали избивать. Пленным некуда было укрыться, кроме как в церковь. А оттуда их выгонял поп. Рабочие стали защищаться церковной утварью: лупили казачков подсвечниками, палками от хоругвей, медными евангелиями. Один огрел городского кадилом. Говорят, отец Иоанн стоял на паперти и кричал: «Побойтесь бога, храм разорили!» Где там было слушать попа, если казаки рубили людей саблями!

На третий день из Екатеринослава приехал губернатор и назначил порку всех арестованных. Пожарную площадь кольцом оцепили солдаты — нельзя было пройти. Рассказывали, что губернатор издевался над рабочими и перед поркой поздравлял каждого с праздником Первого мая.

Дядю Ван Ли и Сиротку посадили в тюрьму, многих сдали в арестантские роты. Отца моего рабочие куда-то спрятали, а дядю Митяя, как ни оберегали его рабочие, полиция схватила. Губернатор будто бы сказал: «Давно тебя ищем, со-ци-ал-де-мо-крат! Теперь нашего суда не минуешь».

Только на пятый день по городу можно было пройти спокойно. Нам с Васькой сказали, что вся Пожар-

ная площадь забрызгана кровью. Но мы не нашли следов. Дети пожарников указали место, где стояла скамья для порки, — у самого памятника царю. А табуретка, на которой отдыхал губернатор, — напротив. Мы увидели вмятины в земле от ножек табуретки. Наверное, губернатор был жирный.

По городу разъезжала конная стража. Возле городского суда улица была запружена народом. Мы прислушались к разговорам и поняли: судят самого главного революционера — дядю Митяя. Мы хотели протиснуться поближе, но вокруг суда разъезжали на конях казаки и, грозя пиками, покрикивали:

— Осади назад!

Мы забрались с Васькой на дерево. Отсюда были видны окна суда и дверь, у которой стоял часовой.

Под деревом собрались рабочие. Один из них, наверно, побывал на суде и горячо рассказывал:

— Судья объявляет: «Подсудимый, ваше последнее слово». Встает он и давай их резать: «Нет, — говорит, — господа, там, где голодают миллионы крестьян, а рабочих расстреливают за забастовки, — там восстания не прекратятся, пока не сметут с лица земли позор человечества — русский царизм!»

Это было похоже на дядю Митяя: я сам видел, как он смело дрался с жандармами, наверно, не одному съездил по уху...

Я спустился с дерева пониже, чтобы лучше слышать рассказ рабочего, как вдруг люди зашумели:

— Ведут, ведут!

Я увидел, как из суда вышли двое солдат с саблями наголо, а за ними — я чуть не разревелся от жалости — шел дядя Митяй в кандалах. Позади шли еще двое солдат с саблями.

Выйдя из суда, дядя Митяй поднял цепи и позвонил ими:

— Вот их правосудие, товарищи!

Солдат, шедший позади, пнул его ногой:

— Иди, не разговаривай.

— До скорого свидания, товарищи! На баррикадах!

— Прощения просим, товарищ Митяй! — доносились голоса.

Мы с Васькой спрыгнули с дерева, но нас затерли.



И думать было нечего, чтобы протиснуться к дяде Митяю. Верховые казаки отгоняли людей плетью.

Мы шли до самой тюрьмы. Там жандармов и полиции было еще больше. Тюрьму переполнили арестованными, оттуда, из-за стены, доносился встревоженный гул.

Из одного окна сквозь решетку просунулся красный платок и кто-то прокричал:

— Братья! Продолжайте борьбу!

Околоточный поднял кирпич и, скверно выругавшись, запустил им в решетчатое окно.

Мы ушли: боялись, как бы не началась стрельба.

Нехорошо было на душе — наших побили. А по главной улице мимо богатых магазинов, развалиясь на бархатных сиденьях, катили на пароконных фаэтонах разнаряженные барыни с офицерами.

Я потянул Ваську домой.

Солнце садилось. Запад был охвачен заревом.

На базаре мы увидели толпу женщин и ребятишек. Они кого-то слушали. Мы подошли. Прямо на земле, сложив ноги калачиком, сидел старик с бандурой в руках. Волосы у него были белые, брови пушистые. Старик ударял по струнам и не пел, а говорил, то тихо, едва слышно, то громко и сердито:

Гей, гей...
Як умру, то поховайте
Мене на могиле,
Серед степу широкого
На Вкраини милий.

Старик прижал струны рукой и замолк. И вдруг снова ударил по ним. Звонко вскрикнули струны, и старик угрожающе заговорил:

Поховайте та вставайте
Кайданы порвите
И вражю злою кровью
Волю окропите.
Гей, гей!..

Неожиданно догадка озарила меня: «Да ведь это же тот самый Бедняк с гусями, про которого рассказывал Васька! Значит, он еще ходит по земле, ищет царя, чтобы расплатиться с ним». Сказка переплелась с жизнью, и я уже не знал, где выдумка и где правда.

Я хотел сказать об этом Ваське, но из-за угла развалистой походкой вышел Загребай с длинной черной пашкой на бедре. Люди испуганно зашептали что-то гуслиару, но Загребай опередил их и пнул старика сапогом:

— Ну чего расселся? Марш отсюда! Живо!

Старик поднялся и пошел. Притихшие, мы провожали его до самой окраины, а там остановились и долго смотрели, как Бедняк уходил по дороге в бескрайнюю степь.

— Пошел царя искать... Правда, Вась?

Васька ничего не ответил.

Глава четвертая

КОНЕЦ ИМПЕРИИ

*Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног,
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.*

1

В феврале семнадцатого года на заводе вспыхнула такая забастовка, какой не бывало. Завод притих, даже гудок, по которому жил весь город, молчал. Мы с утра побежали смотреть на невиданное зрелище — остановившийся завод. С нами увязалась сестра Абдулки Тонька. Подобрав юбочонку, она бежала позади и хныкала:

— Абдулка, обожди!

Ничто не могло удержать нас, даже слухи о том, что хозяин завода Юз сам сторожит завод с ружьем, заряженным солью. Соль была страшнее пули. Пуля что? Убьет, и ладно. А вот если стрельнет солью в сидячее место, тогда одно спасенье: ищи корыто с водой и садись в него, сиди и терпи, пока соль не растает.

В воздухе чувствовалось веяние весны. С крыш сыпалась веселая капель. На мокрых дорогах появились темно-синие грачи. Они важно расхаживали по талым лужам, поводя длинными белыми носами.

Сквозь известную одним нам дыру в заборе мы гуськом, друг за другом, пробрались на завод.

Первое, что бросилось нам в глаза, был чистый снег, лежавший всюду: на крышах цехов, на ржавых котлах, на мартеновских болванках, сложенных по обеим сторонам подъездных путей. Это было диво: мы привыкли, что снег на заводе всегда бывал черным, как сажа.

Еще больше поразила нас тишина. Угрюмо возвышались холодные доменные печи. На них тоже покоились шапки снега, хотя раньше наверху вечно бушевало пламя. На заводе стало светлее: небо очистилось от дыма и копоти. На поржавевших рельсах стояли осыпанные снегом горбоносые паровозные краны.

В мартеновском цехе было пусто и холодно. Сквозь завалочное окно мы пролезли внутрь печи и потанцевали на застывшем, твердом металле.

Потом мы перебежали в котельно-мостовой цех. От безлюдья и тишины цех казался еще больше. Взглянешь под крышу, где неподвижно повисли подъемные краны, и картуз валится с головы.

Васька приложил ко рту ладони, сложенные трубкой, и крикнул на весь цех:

— Ку-ка-ре-ку!

Эхо отдалось над высокими сводами здания, разноголосо откликнулось в котлах, разбросанных повсюду.

Гречонок Уча повернул к нам шутливо-испуганное лицо и зашептал:

— Хлопцы, это нас Юз передразнивает. — И он закричал: — Эй, Юз, вылазь!

Эхо отдалось: «Эй-о-ась!»

Илюха боязливо попятился:

— Зачем зовете Юза? Дождетесь, что он придет и схватит вас!

Мы не слушали Илюху. Нас охватило чувство свободы и веселья. А тут еще Васька крикнул:

— Хлопцы, это Юз в котел забрался и пугает нас! Объявляю бомбардировку!

Веселыми возгласами встретили мы эту выдумку. Ураган камней обрушился на пустой котел, и цех наполнился таким грохотом, какого не выдержал бы и глухарь-котельщик.

— Стой, хлопцы! — приказал Васька, подняв руку.

Мы замерли с зажатыми в кулаках камнями. Васька оглядел нас испытующе:

— Говори, кто смелый?

— Я!

Васька взглянул на меня, и я испугался: вдруг он заставит меня залезть на заводскую трубу, куда и галки не долетали?

— Так. Кто еще смелый?

— А что? — спросила Тонька, лукаво кося черными красивыми глазами.

— Кто не побоится пойти к дому Юза?

Такая дерзость была под стать только Ваське. Мы никогда не видели Юза, он постоянно жил в Петербурге и приезжал редко. Ребята рассказывали, что тройку своих серых жеребцов он поит вином, чтобы скакали как черти! У этих жеребцов и подковы серебряные!

Словом, идти к дому Юза было боязно. Мы молчали, не зная, что ответить Ваське. Абдулка скреб заросшую жесткими волосами макушку.

— А что? — первым отозвался Уча. — Пойдемте и скажем Юзу, что мы тоже бастуем.

— И посмотрим лебедей, — подсказал Илюха.

— Каких лебедей?

— А вы не знаете? У него в саду ставок, а в ставке лебеди плавают.

— Зачем?

— Для красоты.

— А ты видал, рыжий? — спросил Уча.

— Не я, так другие видали... До нас дядька приходил и говорил, что его брат слышал...

— Наговорил: брат видал, как барин едал...

— Ничего удивительного нет, — сказал Васька. — Юз богач... У него в погребе сундуки с золотом стоят...

— А дом у него белый-пребелый, — сказала Тонька, — знаете почему? Из сахара сделан...

— Хватит врать! — прервал ее Васька. — Что ты, дите малое или соображение у тебя не работает? Разве дом из сахару делают?

Илюха ухмыльнулся и сказал:

— Этак люди соберутся с чайниками, сядут вокруг дома и весь его испьют... Сначала стенки, а потом и хвундамент. — И довольный шуткой Илюха закатился смехом.

— Я вам другое расскажу про юзовский дом, — сказал Васька. — Такое услышите, что не поверите.

— Что, Вась?

— У Юза прямо из ставка в дом вода по трубам идет.

— Как? — спросила Тонька.

— А так: в стене крант, если его повернуть, то вода сама польется, хоть целый день будет течь.

— Ой, смешно!

— Зачем ему столько воды, разве он выпьет? — с недоверием переспросил Илюха.

— На случай пожара вода, — со знанием дела объяснил Абдулка.

— Айда к дому Юза! — скомандовал Васька.

— Ну вас, — Илюха попятился, — еще застрелит Юз. Лучше я пойду домой кукурузу есть.

— Тикай и не оглядывайся, — сказал ему Васька.

И мы впятером — Васька, я, Абдулка с Тонькой и Уча — пустились в опасный путь.

Илюха вслед нам бубнил:

— Идите, идите... Юзовские собаки порвут вам штаники. А еще Юз снимет вас на карточку, тогда узнаете!

Мы прошли через механический цех и сквозь забор вылезли в степь. Там на отшибе стоял особняк Юза, обнесенный стеной из серого камня. Возле ворот пестрела белыми и черными полосами будка городского.

По неглубокому и уже влажному весеннему снегу, крадучись, мы приблизились к юзовскому дому. По гребню стены угрожающе торчали острые стекляшки, чтобы никто не мог перелезть через забор.

Стена была высокая. Мы собрали несколько кирпичей и сложили их один на другой. Васька влез ко мне на плечи и мигом оказался на стене. Мы снизу шепотом спрашивали:

— Ну, шо там, Вась? Шо?

Васька показал нам грязный кулак, и мы притихли. Однако любопытство взяло верх, и Уча с помощью костыля тоже вскарабкался на стену. Он хотел втянуть за собой Тоньку, но та съехала обратно, порвала юбку и захныкала.

Мы с Абдулкой заспорили, кто кого должен подсадить. Васька снова погрозил нам. Мы затихли, и тогда Абдулка уступил. Я влез к нему на спину, он поднял меня, и я кое-как взгромоздился на стену. Чтобы не порезаться о стекляшки, я спрятал руки в рукава телогрейки. Уча костылем втянул на стену Абдулку.

Одна Тонька осталась внизу и ныла:

— А я? Меня подсадите! Сами влезли...

— Тс-с, тише, ты!

Сердце мое колотилось от страха и любопытства. Я увидел белый дом. Возле дверей стояла лопата с налипшими комьями снега. Дорожки кругом были расчищены.

Сквозь редкие ветки деревьев и кустов, посаженных вдоль стены, я рассматривал двор. Он был пустынный, и никаких лебедей нигде не было.

Вдруг послышались голоса. Я в испуге прижался к стене. Дверь в доме отворилась, и с крыльца сбежала высокая, стального цвета собака с огромной квадратной мордой и нарядным медным ошейником. Вслед за собакой показалась группа людей. Они медленно шли по дорожке, ведущей к железным воротам.

Бежать было поздно. Мы замерли.

По сияющим пуговицам на шинели я узнал пристава. Был здесь и отец Иоанн в черном длинном подряснике, с серебряным крестом на груди.

Заметил я также человечка в круглом котелке. Это был тот самый меньшевик-коротышка, который в прошлом году весной говорил речь на маевке. Сейчас на нем была шуба с большим меховым воротником, похожим на хомут, — от шеи до живота.

В середине всей компании шел господин в клетчатом пальто, в кепке из желтой кожи. По диковинной сигарке коричневого цвета, которую он жевал во рту и дымил ею, как паровой трубой, я догадался, что это был сам Юз. Его сытое лицо окаймляла круглая аккуратная борода.

Господа двигались к воротам, не замечая нас. Собака обнюхивала влажный снег на краю дорожки. К счастью, ветви деревьев надежно скрывали нас.

Жуя заморскую свою сигарку, Юз что-то говорил. Изредка он останавливался, тогда останавливались все и слушали его.

Тыча меньшевику-коротышке в грудь пальцем, на котором сверкало золотое кольцо, Юз говорил:

— Власть в России должны взять промышленники — цвет страны. Царь Николай уже не способен вести войну. Дни царя сочтены. Россия охвачена внутренней смутой.

— То, что вы называете смутой, есть революция! — отвечал толстяк Юзу. — Идет спасительная и очистительная революция!

Юз раздраженно махнул рукой:

— Пустые слова... Революция — это хаос, и вы, русские, сами погибнете в этом хаосе.

Собака потерлась мордой о карман клетчатого пальто, Юз погладил ее и сказал, обращаясь к приставу:

— Царя уговаривают кончить войну миром с немцами. Если вы допустите эту ошибку и царь заключит мир, то все ваши заводы и шахты приберут к рукам германские промышленники.

— Мы не допустим этого, Джон Иванович, — сказал пристав.

— У вас не спросят разрешения, — жестко возразил Юз. — Власть берут силой. Разве можно давать волю народу? Если хозяин даст свободу своей скотине, то в его доме господином станет свинья. О, у нас в Англии рабочие знают, что их обязанность работать, а не заниматься политикой...

— Мы воспитаны иначе, — кипятился меньшевик, приподнимаясь перед Юзом на цыпочки: наверно, хотел казаться выше. — Наш идеал — свобода, равенство, братство!

Юз даже отвернулся от меньшевика — так не нравились ему эти речи. Он стал разговаривать с курным человеком с широкой, как у купца, бородой, должно быть, владельцем какой-нибудь фабрики или шахты.

— Я вчера получил депешу из Петербурга, там бастуют двести тысяч рабочих... О, Россия — варварская страна!

— Именно так, господин Юз, — поддакнул бородатый, — варварство у нас в России, дикость. Иногда задумаешься, и просто стыдно становится, что ты русский...

Не дослушав его, Юз обратился к приставу:

— Достаточно у вас сил, чтобы сломить забастовщиков?

— Так точно, Джон Иванович! Вызваны казаки есаула фон Граффа.

— Надо как можно скорее покончить с этой забастовкой.

— Слушаю-с, Джон Иванович. Можете положиться на нас.

И Юз вновь повернулся к меньшевику-коротышке, взял его за пуговицу шубы:

— Вот вы, социалисты, или, как вы себя называете... демократы. Ваша задача спасти Россию, отвлечь народ от революции.

Юз начертил концом палки крест на снегу и с силой ткнул в него.

— Война, господа, только война! Война полезна, она освежает общество и движет вперед производство. Призывайте к войне!

Я ничего не понял из того, о чем говорил Юз. Да и не это меня занимало. В руках у заводчика была удивительная палка. На ней во все стороны торчали гладкие шишки, а вместо ручки поблескивала серебряная голова змеи.

Я подался вперед, чтобы получше рассмотреть палку Юза, но в это время Абдулка и Уча о чем-то зашпорили, зашипели друг на друга. Со стены упал костыль Учи и, как назло, стукнулся о кирпичи.

Собака бросилась к стене.

Я спрыгнул, за мной гурьбой посыпались ребята, и мы бросились бежать.

В неглубокой балке недалеко от дома Юза я провалился в снег до пояса и, тяжело дыша, лег. Снег показался мне теплым. В тишине слышно было пение жаворонка.

Скоро ко мне в овраг кубарем скатился Абдулка, за ним приполз, волоча за собой сломанный костыль, весь исцарапанный Уча, потом Тонька, и последним свалился улыбающийся Васька.

Мы долго сидели в балке, боясь высунуть голову, чтобы Юз не подстрелил нас из ружья.

Домой мы возвращались через завод и по пути набрали полные шапки угля: с тех пор как началась забастовка, топить было нечем.

Мать похвалила меня за уголь. Вечером пришел Васька, и мы допоздна сидели, греясь у жаркой плиты и вспоминая о нашем походе к дому хозяина завода.

Забастовка перекинулась на соседние рудники. Остановились поезда. Ни одна шахта не работала. В городе с утра до ночи шли митинги. Богачи хмуро поглядывали на рабочих и обзывали их босяками и смутьянами.

Однажды нам сказали, что около городской думы началась драка рабочих с черносотенцами — защитниками царя. Мы с Васькой помчались туда и по дороге догнали колонну бастующих рабочих. Грозными рядами, в стоптанных сапогах, в заплатанных пальто, шли рабочие с песнями. Впереди, подняв в единственной руке красный флаг, шагал механик Сиротка.

Это был удивительный человек. Руку ему отрубили в тысяча девятьсот пятом году на баррикадах. Жандарм ударил шашкой и отсек руку вместе с флагом. Но вот опять Сиротка несет развевающийся красный флаг! Я с восхищением смотрел на механика и думал, что, если бы мне отрубили руку, я поступил бы так же, как он.

В колонне несли плакат-картину. Там были нарисованы два солдата, разделенные окопом. На одной стороне — русский солдат, на другой — германский. Русский протягивал германцу руку, а внизу были написаны слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Вот оно как: то воевали с германцами, то замиряемся. Зачем? И что такое «Пролетарии всех стран»?.. Надо спросить у Васьки, решил я, и спросил потихоньку, чтобы никто из ребят не слышал, а то задразнят:

— Вася, непонятно мне, кто на картине пролетарий всех стран — немец или русский?

— А ты не знаешь?

— Знал, да позабыл...

Васька усмехнулся:

— Оба. Все бедняки называются пролетариями всех стран. Ты тоже пролетарий, и я, и отец твой.

— А Уча?

— И Уча тоже.

Ну и чудак я: сколько раз слышал это слово и не знал, что я и есть пролетарий. Значит, и мне нужно соединяться. Я помчался в голову колонны, туда, где рядом с Сироткой прыгал на своем костыле гречонок Уча.

— Уча, спроси: кто я?
— Зачем?
— Спроси.
— Ну кто ты?
— Пролетарий всех стран!.. Давай соединяться?
Этого Уча не ожидал и улыбнулся:

— Давай. Держи пять.

— Будет десять, — сказал я, и мы крепко пожали друг другу руки.

Я оглянулся на плакат с рисунком. Русский солдат все так же обнимал германского, они соединялись! Вот что надо делать! А я, чудак, не знал, что все бедняки должны соединяться.

От этой мысли на душе стало веселее.

А рабочие шагали в колоннах и пели:

Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело.
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу!

Мы, мальчишки, пристроились к бастующей колонне и звонко подхватили знакомый припев:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!..

На тротуарах стояли притихшие городовые. Они были при саблях и револьверах, но почему-то не трогали рабочих.

Когда наша колонна подходила к Пожарной площади, навстречу из боковой улицы вышли черносотенцы: лавочники, попы с крестами и хоругвями, лабазники с царскими флагами. Колбасник Цыбуля шел впереди и нес в руках портрет царя.

Улицы и вся площадь были запружены народом. Столько людей я не видел еще никогда в жизни и невольно схватился за руку Васки, боясь потеряться в толпе.

Гул стоял над площадью. Развевались на ветру пестрые флаги: красные — большевистские, черные — анархистов, трехцветные — царские. Во всех углах площади выступали ораторы, забравшись на плечи товарищей, потрясали кулаками, сбивчиво выкрикивали

каждый свое. Все перепуталось. В одном конце пели «Долго в цепях нас держали», в другом — «Боже, царя храни».

Мы протиснулись к главной трибуне, туда, где стоял чугунный памятник царю.

Этот памятник купцы города установили на свои деньги. Помню, дело было весной, на площади попы служили молебен и брызгали святой водой на толпу. Я тогда вглядывался в чугунное лицо и не мог узнать, кто это. Один ус был длиннее, другой короче, правый глаз с прищуром смотрел на меня, словно чугунная голова прицеливалась. Потом я увидел надпись: «Государь император всея Руси Александр III».

С тех пор по вечерам на площади устраивались гулянья, играла духовая музыка. Чугунный царь стоял высоко на каменной подставке, и куда, бывало, ни отойдешь в сторону, он пялит свои глазищи на тебя. Никуда от этого взгляда не денешься. Только если с затылка зайдешь — он не видит. Но тут городской подвернется, шлепнет по затылку: «Чего крутишься здесь, марш отсюда!» Словом, не было никакой радости. А вот теперь народ захлестнул площадь от края до края вместе с памятником.

Митинг бушевал. На памятник царю, гремя костылями, взобрался солдат в распахнутой шинели.

— Граждане, поклон вам из окопов от сынов и братьев ваших — русских солдат!

Раненый высоко поднял над головой костыли и показал их народу:

— Видите, я навоевался и скажу: долой буржуазию! Да здравствует управление государством самими рабочими! Правильно говорят большевики: надо повернуть штыки против царской власти!

— Вер-на-а! Долой царя кровавого!

Кто-то закричал «ура» и подбросил вверх шапку.

Я тоже кинул свой картуз, но толпа пошатнулась, и картуз упал в сторону. Я нагнулся и стал шарить по земле, но не нашел его. А когда поднялся, на трибуне стоял меньшевик-коротышка Ангел Петрович. Опять был здесь этот противный толстяк. Он потрясал белым, как булочка, кулаком и кричал:

— Долой угнетающее нас самодержавие! Да здравствует демократическая республика, да здравствует свободный гражданин!..

Он закатил глаза, поднял руки и выговорил нараспев:

— Гражданин! Слышите, как гордо звучит это слово! Да будет оно трепетом для наших врагов, приверженцев старого режима!

Он обратил руки к толпе:

— Бог в помощь тебе, труженик, не будешь ты больше рабом! А будешь гражданином! Только не нужно враждовать, и нельзя допускать гражданской войны и смуты. У нас нет классов. Я, к примеру, хозяин завода, ты рабочий — все мы единый русский народ. У нас один враг — германец! У нас одна цель — победить! А для этого нужно побольше снарядов, винтовок и пушек. Разобьем поганого Вильгельма и спасем отечество!

— Сам иди воюй!

— Убивать своих братьев пролетариев не пойдем!

— Слазь с трибуны, крахмальная душа!

Но меньшевик никого не слушал и продолжал:

— Да поможет нам господь бог! Забудем распри и междоусобицы! В полном единении...

— Долой! Тащите его за ногу!

На трибуну вскарабкался колбасник Цыбуля. Он был весь красный от гнева.

— Геть вас усих! Желаем порядка, установленного богом и царем!

Кто-то схватил Цыбулю и стащил в толпу. За него вступились лавочники, держатели кабаков, извозчики. Началась свалка. В этой суматохе я потерял Ваську. Мне больно отдавили ногу, и я юркнул в парадное какого-то дома.

3

Тут было теплее. Без картуза голова у меня совсем замерзла. Я огляделся. В просторном парадном вверх поднималась лестница с бархатными красными перилами.

Оттуда, сверху, донесся приятный детский голос:

— Геня, подожди меня, я одна боюсь...

По лестнице сбежали франтоватый мальчик в военном костюме, без фуражки и девочка в белой шубке.

За ними, звеня медным бубенчиком, прыгала маленькая белая собачонка. Она сразу же набросилась

на меня с яростным лаем. Наверно, собачонке не понравилась моя засаленная телогрейка с длинными болтавшимися рукавами.

— Марго, перестань лаять! — прикрикнула на собаку девочка, но та вцепилась в мои штаны и трепала их. — Марго, ты слышишь? Я что сказала?

Мальчик в военной форме подошел ко мне. Он был похож на правдашнего офицера.

— Ты почему здесь? — спросил он строго.

От страха у меня пропали все слова.

— Я спрашиваю тебя, оборванец, почему ты здесь?

— Мне есть хочется, — пробормотал я.

— А мне какое дело? Уходи отсюда!

— Оставь его, Геня! — вступилась за меня сестра кадета.

— Почему не уходишь? — злоеце повторил он. — Может быть, ты хочешь узнать, что такое нокаут?

— Не надо, Геня. Посмотри, какой он бледный. Ты ведь рыцарь и не станешь бить слабого.

— Отойди, не мешай мне!

Кадет согнул руки в локтях и, прижав их к груди, запрыгал передо мной на одном месте.

— Защищайся, шмендрик!

— Оставь его, Геня, ведь он побирашка!

— Отвяжись! Лучше будь моим секундантом. Когда я опрокину его нокаутом, будешь считать до десяти.

Кадет продолжал прыгать, выставив кулаки, и вдруг ударил меня в лоб. Сестра кадета стала между нами.

— Перестань!..

Кадет нахмурился:

— Вечно эти бабы вмешиваются не в свои дела!

— Геннадий, как не стыдно, фи!

— Тогда пусть он убирается вон!

— погоди. Я дам ему хлеба. Эй, побирашка, иди за мной! — И она побежала вверх по лестнице.

Сам не зная почему, я последовал за девочкой, шлепая по мраморным ступеням рваными опорками.

На втором этаже я остановился перед высокой белой дверью, где вместо ручек висели два медных кольца в зубах львов. Дверь была полуоткрыта. Я вошел и остановился, пораженный.



То, что я увидел, было словно во сне. В огромном светлом зале окна поднимались от пола до потолка. На стенах в тяжелых золоченных рамах висели картины. А под ними выстроились рядком шелковые голубые кресла с гнутыми ножками. В кадushках росли какие-то деревья от пола до потолка. Из угла смотрела на меня высокая белокаменная женщина с отбитыми руками. Все это отражалось в блестящем, будто зеркальном, полу. В комнате пахло духами, откуда-то доносилась тихая музыка.

Будто во сне, глядел я на эту красоту, не в силах пошевелиться. «Неужели так живут люди?» — подумал я, и мне вспомнилась наша тесная землянка с сырым глиняным полом, где под кроватью жила мышь, а в сенцах за кадushкой прыгали серые земляные лягушки.

Девочка выпорхнула из другой комнаты и точно разбудила меня. Я неловко переступил с ноги на ногу.

— Зачем ты вошел, я тебе велела за дверью подождать! Ну вот, и наследил еще! Бери хлеб и убирайся!

Кадетка дала мне ломоть мягкого белого хлеба. От него ароматно пахло. Не зная, куда девать ломоть, я сунул его за пазуху и побрел вниз.

Когда я спустился с лестницы, кадет и его сестра уже стояли в дверях и смотрели на многолюдную площадь. Я прошел мимо них и остановился у парадного.

Митинг на площади продолжался, но драки уже не было. И не было нигде царских флагов, только красные полотнища трепетали над головами рабочих.

Я искоса наблюдал за детьми богачей. Ничего не скажешь, кадет был красив: ресницы длинные, брови стрелками, а лицо нежное, чистое, как у девочки. «И все-таки наш Васька красивее, — думал я, — жаль только, что ходит он в тряпье... А эти буржуи задаются... Подумаешь, цаца, побирашкой меня назвала!..»

Сестра кадета, глядя на рабочих, вдруг сморщила носик и сказала:

— Фи, какие они грязные! Почему они такие, Геня?

— «Рабочий» происходит от слова «раб», — объяснил кадет, — ну, а рабы все грязные.

— Скажи, Геня, а почему они бунтуют, что им надо?

— Хотят государя императора свергнуть с престола.

У девочки округлились глаза.

— Как же мы будем без царя?.. Почему их не посадят за это в тюрьму?

— Их слишком много. У нас тюрем не хватит.

В дверях показалась худая и сердитая барыня в очках. Она что-то залопотала не по-русски, на что кадет ответил:

— Мы сейчас идем, мисс Пью.

— Как будто ты уже взрослый, — сказала она по-русски. — Но это заблуждение: ты еще ребенок и за тебя отвечают старшие. Недоставало, чтобы ты... — она посмотрела на меня холодными совиными глазами, — не хватало, чтобы ты набрался здесь этих *veg-mil*¹. О, ужас!..

Я не слушал больше барыню. Откуда-то вынырнул Васька и, радостный, бросился ко мне:

— Ты где был?

— А ты?

— Рабочие громили полицейский участок. Ух, здорово!..

Я вынул из-за пазухи хлеб.

— Кто тебе дал?

Взглядом я указал на кадета и его сестру. Лицо у Васьки потемнело. Он с презрением оглядел барчуков и сердито прошептал мне:

— Брось!

— Зачем?

— Брось, тебе говорят, это буржуйский хлеб!

Ослушаться Ваську я не мог, но бросить хлеб не было сил. К счастью, в толпе я увидел Алешу Пупка и отдал ему хлеб.

— Это тебе за мясо, — сказал я. — Помнишь?

4

Когда мы с Васькой снова протиснулись к памятнику, там на трибуне стояла мать Алеши Пупка. Она работала на коксовых печах и хворала удушьем. Пла-

¹ Блох (англ.).

тье на ней было старое, заплатанное, телогрейка прожженная. Мать Алеши была видна всему народу. Она стояла на возвышении и, сгорбившись и виновато прикрыв ладонью рот, кашляла. Все смотрели на ее худое лицо и сурово молчали. Наконец она с трудом выговорила:

— Это газ... всю грудь разъел...

Она выпрямилась и громко, в отчаянии выкрикнула:

— Рабочие! Это наши руки создали все. Почему же детям есть нечего? Поднимайтесь, чего ждете! Царь свободы не даст! Богачи задавили нас своей жадностью! Бить ихние лавки!

— Правильно!

— Восставать всем разом!

Она хотела еще что-то сказать, но снова зашлась от кашля. Рабочие бережно ссадили ее наземь. На памятник поднялся мой отец:

— Товарищи, к тюрьме! Освободим братьев!

Мы с Васькой побежали вместе со всеми к тюрьме, там уже били камнями в железные ворота.

Солдаты-охранники стреляли в небо. Как видно, в тюрьме тоже поднялось волнение. Ворота трещали.

— Открывай, ломать будем!

Вдруг на тюремной стене я увидел человека в сером арестантском халате, в фуражке, похожей на блин. Ноги его были закованы в кандалы. Человек расставил руки, точно крылья, и вдруг прыгнул с двухсаженной высоты в толпу.

«Разбился!» — подумал я, услышав, как глухо звякнули о землю кандалы. Васька нырнул в толпу, я за ним следом.

У тюремной стены на земле сидел арестант, заросший, худой, как скелет. Глаза у него дико дико бегали, точно он боялся, что его снова запрут в тюрьму.

Двое рабочих камнями сбивали кандалы. С лязгом отскочил замок.

Один из рабочих надел арестанту свою шапку, другой снял с себя и отдал пиджак.

В эту минуту к арестанту протиснулась Тонька и с плачем бросилась к нему на шею. «Неужели этот каторжник ее отец, дядя Хусейн? Как же я не узнал его?»

Рабочие подняли дядю Хусейна и под крики «Свобода!» понесли на руках. Тонька бежала следом и редела, держась за ногу отца.

Двери тюрьмы взломали, и оттуда хлынули, разбегаясь по дворам, арестованные. Из переулка вымчался отряд жандармов — народ встретил их камнями. Завязалась такая битва, что близко не подойдешь!

Рядом с тюрьмой горел полицейский участок. Несколько парней кирпичами сбивали со стены царского двуглавого орла.

Неподалеку ребята взяли в плен городского, загнали его в угол между стеной дома и палисадником. Городовому некуда было деваться, а ребята, окружив его со всех сторон, свистели, улюлюкали, мычали, дразня полицейского.

«Попался, усатый!» — обрадовался я, узнав Загребая. Этого городского у нас люто ненавидели. Он был на окраине полным хозяином и всегда ходил важный, пугая людей медалями на мундире. Стоило ему, бывало, заметить в окне огонек, сейчас зайдет и спросит: «Почему не спите?» — «Рано еще». — «А может, вы прокламации читаете?» — и начнет обыск делать: копается в шкафах, откроет кухонный стол и нюхает. Если найдет соленые огурцы — обязательно заберет в карман. «Обойдешься, хозяйюшка, а я их, мерзавцев, люблю». Загребай никого никогда не называл по имени, а только по национальности. Если видел еврея, подзывал: «Эй, Хаим-сдыхаем, иди сюда», или: «Хохол-мазница, давай дразниться, что несешь?» А то приказывал встречному: «Эй, татарин кошку жарил, табак есть?»

Нас, ребяташек, он драл за уши, поднимал кверху и спрашивал: «Видал Москву?»

Васька заметил, что ребята окружили городского, и тоже бросился туда.

Загребай отмахивался ножнами пашки, жалко улыбался, точно хотел сказать этим, что не придает значения осаде. Но в его маленьких поросячьих глазках был испуг, и ребята поняли: боится.

— Бей архангела! — скомандовал Васька.

— Снимай саблю!

Ребята дергали городского, пищали и мяукали. Загребай затыкал уши и говорил мирно:

— Ладно, хлопцы, побаловались — и хватит.

Но ребята хватали его за полы шинели. Васька ткнул ему ногой в живот, кто-то сбоку плюнул на шинель. Городовой поправил съехавший картуз.

— Довольно, хлопцы. Сейчас казаки приедут с плетками. Мне вас жалко, попадет вам.

— Снимай селедку, не разговаривай!

Загребай схватился за эфес шашки, пугая ребят.

— Сейчас всех на куски порубаю!

Прибежал запыхавшийся Абдулка. Он весь кипел от желания рассчитаться с городовым за отца. Васька уступил Абдулке свою палку. Татарчонок размахнулся, и картуз с кокардой полетел на землю. Загребай выставил вперед шашку, как пику, и наклонился, чтобы поднять картуз, но Васька успел схватиться двумя руками за ножны и рванул их к себе. Ребята помогали ему.

Городовой уперся спиной в забор и не отпускал шашку. Но тут ремни лопнули, и ребята вместе с оторванной шашкой повалились наземь. Испугавшись того, что наделали, они подхватились и кинулись враспашную.

Городовой стоял без фуражки, с растрепанной бородой. Сбоку, где висела шашка, торчали обрывки ремней.

Шашку ребята закинули через забор. Постояв минуту, Загребай уныло поплелся искать ее.

5

На главной улице многолюдными толпами собирался народ. Возле забора столпилось особенно много зевак. Какой-то господин в шляпе и в очках громко читал вслух, а остальные слушали. Я просунул голову между чьими-то локтями и увидел огромную, выше моего роста, афишу:

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ

Божією милостію

Мы, Николай Второй,

Император Всероссийскій, царь польскій,

великій князь финляндскій

и прочая, и прочая, и прочая...

Объявляем всем нашим верноподданным...

Я обернулся, чтобы посмотреть, здесь ли Васька. Он был рядом. Тут же стоял, опираясь на костыль, Уча и слушал, открыв рот.

Барин в очках продолжал читать:

— «В эти... дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение... и, в согласии с Государственной думой, признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть...»

Я смотрел на открытый рот Учи и не мог понять, что происходит. А голос читавшего отчетливо и громко раздавался в тишине:

— «Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие Наше брату Нашему великому князю Михаилу Александровичу, благословляя его на вступление на престол государства Российского...

На подлинном собственной Его Императорского Величества рукою написано: «Николай». Скрепил министр Императорского двора генерал-адъютант граф Фредерикс... 2 марта 1917 г., 15 часов, г. Псков».

— Слава тебе, господи! Дали по шапке царю Миколе, — с облегчением проговорил старый рабочий.

— Баба с воза — кобыле легче.

Я не понимал: не то убили царя, не то кто-то дал ему по шапке.

Уча повернулся ко мне, выкатил глаза и, передразнивая царя, прокартавил:

«Мы, Николай Второй!..»

— Господа! — торжественно проговорил барин в шляпе. — Ведь это же Республика! — И он пошел по улице, размахивая руками и радостно объявляя всем: — Россия — Республика! Свобода!

Он столкнулся с приставом и полез было целоваться, но пристав был сердит, куда-то спешил и целоваться не стал.

Вихрем промчалась по улице пролетка, а в ней стояла барыня в меховой шубе и, держась одной рукой за сиденье, чтобы не упасть, визгливо кричала:

— Свобода! Свобода!

Прибежал кто-то из мальчишек и впопыхах объявил:

— Бегите скорее на площадь! Там царя скидывают!

То, что мы увидели на площади, невозможно было передать. Я смотрел и не верил своим глазам: у чугунного царя на голове был надет набекрень мой драный картуз. Я узнал его по половинке козырька, которая болталась, закрывая царю левый глаз.

Народ вокруг хохотал. Старушки крестились:

— Господи, да разве можно так с царем-батюшкой?

— Антихрист пришел на землю! Антихрист!..

Какой-то парень принес пожарную лестницу, взобрался на памятник, прямо на плечи царю, и стал закреплять у него на шее веревку. Свободный конец он бросил вниз, там ухватились за него и с криком: «Раз, два — взяли!» — хотели стащить царя, но сделать это было нелегко. Чугунный царь даже не пошатнулся и словно посмеивался из-под половинки козырька, дескать: «Слаба у вас гаечка скинуть меня».

На счастье, ехал мимо на бричке с волами дед-селянин. Рабочие остановили его, выпрягли волов и привели их на площадь. Смех толпы перекатывался из края в край. Веревку, привязанную к шее царя, прикрепили другим концом к упряжке, все разом закричали, зашвистели. Волы дернули, и царь покачнулся. «Давай, давай, родненькие! — кричали рабочие, подбадривая волов. — Еще разок!» Поднатужились волы, рванули еще раз, и царь стал валиться набок. Народ расступился, и памятник грохнулся оземь, подняв облако пыли.

Первым кинулся к царю Васька. В один миг вскарабкался на императора, за ним полезли ребяташки, и все стали плясать на чугунной голове царя.

Тут я вспомнил о своем картузе и хотел найти его, полез в толпу и чуть не столкнулся с отцом. Не видя меня, он влез на каменную подставку, где только что стоял царь, и, подняв руку, потряс в воздухе бумагой:

— Товарищи! Срочная депеша из Петрограда! — И он стал громко читать: — «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии. Ко всем гражданам России.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Граждане!

Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, рух-

нуло. Столица в руках восставшего народа. Части революционных войск стали на сторону восставших...

Временное революционное правительство должно взять на себя создание временных законов, защищающих все права и вольности народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных земель, и передать их народу, введение восьмичасового рабочего дня и созыв Учредительного собрания...

Вперед! Возврата нет! Беспощадная борьба! Под Красное знамя революции!»

Люди радостно шумели. Мой отец, стремясь перекричать всех, напрягал голос:

— Да здравствует вождь мирового пролетариата товарищ Ленин!

— Ура-а-а! — перекатывались по площади радостные крики, и опять вверх полетели шапки, затрепетали развернутые красные флаги...

Так скинули в нашем городе царя. Картуз свой я нашел. Он был весь затоптан и перепачкан в грязи, но, так как у меня другого не было, я отряхнул его и надел.

Не велика важность — картуз. Зато царя скинули!

Глава пятая

АПРЕЛЬ

*Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.*

1

Вот и настала свобода! Не зря мы с Васькой боролись против царя: отцарствовался император, так ему и надо!

Интересно, когда свобода: говори, что хочешь, делай, что душа пожелает, — хоть кричи, хоть танцуй, хоть становись на голову и ходи вверх ногами. Городо-

вой не схватит за шиворот, нет нигде городских, разбежались, голубчики.

Ребята на нашей улице выдумали новую игру — в свержение царя. Кто-нибудь взбирался на крышу сарая или на забор, и его стаскивали за шею веревкой. Веселая игра! Только царем никто не хотел быть, особенно после того, как чуть не задушили Тоньку. Она вызвалась быть царем и поспорила, что ее никто не скинет. Взобравшись на тачку, она вцепилась в нее так, что глаза от натуги вытаращила, — попробуй скинь ее! Ребята бросили веревку — шут с ней, с этой Тонькой, еще задушишь, и отвечай за нее.

Свобода! Даже богачи нацепили красные банты и ходили самодовольные.

Свобода! Васька сказал, что теперь никто не будет приказывать, а только голосовать. Если нужно что-нибудь решить, спроси: «Кто «за»?» Несогласный может поднять руку против. Это и есть свобода.

Ходили слухи, будто в Петрограде вместо царя стало какое-то Временное правительство. А у нас в городе — Совет рабочих и крестьянских депутатов. Моего отца выбрали главным, теперь он назывался — председатель!

Колбасник Цыбуля — отец Сеньки стал комиссаром Временного правительства в городе. Сенька хвастался, будто его отец выше моего и что он может арестовать кого угодно. Чудак. За моего отца все рабочие: шахтеры, кузнецы, литейщики, сталевары, а за его отца кто? Хромой Гучков, косой Милуков да еще Родзянко — борода лопатой. Видали мы таких правителей!

Хорошо стало, только хлеба не было, а мука на базаре так вздорожала, что за фунт плати аршин денег. Появились такие деньги — керенки. Их не считали, а мерили на аршин. Только у нас и таких не было.

Трудно стало, да не помирать же! И многие жители подались по селам менять вещи на хлеб. Собрались и мы с мамкой. Вечером перетрясли в сундуке всю одежду. Отобрали отцовский пиджак, материно венчалное платье, две катушки ниток (одна целая, а другая начатая). Пришлось захватить чугунный утюг, две тарелки, ножницы и платок. Вещи сложили в мешок, завязали тесемкой и рано утречком собрались в дорогу.

Отец строго-настрого приказал мне беречь мать, жалеть ее в дороге. Я и сам понимал — слава богу, не маленький.

Васька провожал нас до самой Богодуховской балки. Всю дорогу он нес мешок. Мать далеко отстала, и мы, поджидая ее, присели у дороги.

Под большим секретом Васька сказал мне, что на днях механик Сиротка, шахтер Петя с Пастуховки и дядя Мося повезут в подарок петроградским рабочим три вагона угля, а обратно вернуться с винтовками.

Мне не хотелось расставаться с Васькой, и я опять стал звать его с собой. Он отказывался, и тогда я пустился на хитрость.

— Давай голосовать! Кто за то, чтобы ты пошел с нами? — сказал я и высоко поднял руку.

— А кто против? — спросил Васька, усмехаясь, и тоже поднял руку.

— Так неправильно. Я голосовал «за».

— Чудак, разве бы я не пошел? — отозвался Васька. — Не могу я мамку с батей оставить. Ты сам долго не ходи, вертайся поскорей.

— Я скоро. Мы только хлеба наберем — и до дому. Я и для тебя принесу!

Васька ничего не ответил на это. Он помолчал и сказал:

— Расскажешь потом, как ходили.

— Ладно.

— Смотри не заблудись там!

— Не бойся.

— Пока будешь ходить, я тут с колбасником разделаюсь, шибко задаваться стал. Они против твоего отца задираются.

— Кто?

— Да разные меньшевики и этот колбасник Цыбуля. Не хотят рабочим подчиняться. Ничего, скоро дядя Сиротка привезет из Петрограда винтовочки, тогда мы этому Цыбуле покажем. Правда?

— Ага.

— А еще я тебе скажу знаешь что? Скоро Ленин приедет.

Ленин! Сколько раз уже слышал я о Ленине и от отца и от рабочих, говорили, что он очень добрый человек, что его все рабочие любят, но кто такой Ленин, я не знал. Спросить у Васьки было стыдно: подумает,

что я совсем ничего не знаю. А где еще узнать, как не у Васьки?

— Вась, а Вась, а кто такой Ленин?

— Ленин?.. Командир всех рабочих, самый главный революционер. Главней его никого нема. Его сам царь боялся!

— А откуда приедет Ленин?

— Из Сибири. Его туда в цепях под конвоем сослали.

— Кто сослал?

— Царь, конечно.

— Царь же его боялся!

Васька криво усмехнулся:

— Ты думаешь, царь сам его в кандалы заковал? Он близко боялся подойти. Попросил городских, а сам сховался за угол и кричал оттуда: «Заковать крепче! Глядите, чтобы не вырвался!»

Мы весело смеялись над царем: ну и трус, вроде Сеньки Цыбули.

Подошла мать. Васька подсобил ей поднять на плечо мешок.

— В добрый час, тетя Груня. Поскорее вертайтесь.

Я долго глядел, как Васька уходил по степи к городу, потом не выдержал, снял картуз и закричал:

— Вась-ка-а-а!

Он остановился и тоже помахал мне издали шапкой. Что поделаешь, приходится расставаться...

Я догнал ушедшую вперед мать, взял у нее мешок, и мы зашагали дальше. Что-то радостное было на душе, а что, я и сам не знал. Потом вспомнил: Ленин скоро приедет.

Я поправил на плече мешок и почти бегом пустился вперед: пусть мать видит, какой я сильный.

2

Апрельская степь уже подсохла и начинала зеленеть. Вдоль замшелых каменных кряжей уже зажелтели цветы мать-и-мачехи, запестрели голубые подснежники и фиалки.

Чем дальше мы уходили, тем неогладнее становилась степь. Теперь уже и позади, и далеко на все четы-

ре стороны простиралась безлюдная, незнакомая равнина.

Высоко в синем небе клином летели журавли. Приятно было слышать их далекий гортанный разговор: «Кру-кру, кру-кру». Я глядел по сторонам — хотелось поскорее увидеть село.

Я никогда не бывал в деревне. Рыжий Илюха рассказывал, что хлеб там растет прямо за хатами. Здорово! И денег не надо: ходи по полю и собирай булки да бублики...

На дороге показалась гарба, запряженная парой волов. В гарбе сидел белоусый дед в соломенной шляпе, в простой холстинной рубаше, завязанной на груди синей тесемкой. Кажется, это был тот самый дед, который скидывал царя волами.

— Добрый день, дедушка, — сказала мать, поклонившись.

Дед остановил волов и приподнял над головой соломенную шляпу:

— Здравствуй, дочка.

— Какое тут село близко?

— Та оце, як пидете прямо, — сказал он, не спеша оборачиваясь и показывая в степь длинной палкой, — як пидете прямо, то буде село Белоцерковка, а як що вон туды, за могилу, там хутор Андреевский, а ще дали наше село Шатохинское...

— Туда и пойдем... Спасибо, дедушка, — поблагодарила мать.

— В добрый час, — не оборачиваясь, ответил дед.

Пока мамка говорила с дедом, я отдохнул. Дальше она не дала мне нести мешок, наверно, видела, как я заморился. Будто и не было ничего тяжелого в мешке, кроме утюга, а вот поди же ты, плечо ныло так, что руки не поднять. Я помог матери вскинуть мешок, и мы пошли дальше.

Уже часа три мы шли, отдыхали, опять шли, а села все не было. Наконец показались за холмами какие-то крылья. Мать объяснила, что это машет крыльями ветряк, или, по-сельски, млын, где мелют муку.

Скоро мы увидели мельницу, похожую с виду на большой скворечник. Крылья у нее выше дома. Если ухватиться за крыло, поднимет над землей так высоко, что можно увидеть наш город.

Мы спустились в балку, где раскинулось село. Здесь все было не так, как у нас: ни труб заводских, ни закопченных мазанок. Хатки стояли белые, покрытые соломой, как деды шапками. Воздух был чистый, пахло вишневыми почками. Всюду пели скворцы. На окраине села поперек улицы лежала белая корова и, сонно жмуря белесые веки, что-то жевала. Галки с криком кружились над нею. Одна села на спину корове, прошлась от головы до хвоста, покосилась на нас с матерью и вдруг начала дергать клювом шерсть на спине у коровы. Та лежала спокойно и жевала. Удивительно! Я тарашил глаза по сторонам, искал, где же растут булки? Поля были черные — никакого хлеба нигде не видно.

Мы плелись вдоль белых хаток. Всюду на дороге валялась пестрая скорлупа от крашенных яиц: недавно прошла пасха.

В крайних домах нам ничего не удалось поменять. Люди указали на большую, расписанную синими узорами хату под железной крышей. Там жил мельник, по фамилии Цыбуля. Наверно, родич городскому Цыбуле.

Когда мы вошли во двор, из хаты вышел рослый дядька в нарядной белой свитке и в серой смушковой шапке. У него были тонкие усы, свисающие до подбородка, как у запорожских казаков на картинках.

Должно быть, мы оторвали дядьку от завтрака. На глазах у нас он положил в рот кусок сала и заел белым хлебом.

Мать разложила перед ним все наше богатство и принялась хвалить вещи:

— Вот платочек жинке вашей или дочке, а вот пиджачок для вас на работу. Пожалуйста, утюжок на хозяйство или тарелочки, все целые — посмотрите сами.

Хозяин стоял молча, подперев кулаком правый бок, а левой рукой шевеля длинный черный ус. Потом спросил:

— Колючей проволоки у вас нема?

— Нет, — сказала мать. — Зачем?

— Та щоб от вас, побирушек, отгородиться. Шляетесь тут, шахтерня проклятая, спокою не даете. А ну, собирай свои манатки — и геть со двора!

Мать с удивлением и обидой смотрела на хозяина.

— Я что сказав?

— Извиняйте, мы сейчас уйдем, — виновато ответила мамка.

Кулаки мои сжались сами собой. Я загородил собой мать.

— А ты чего налетаешь?.. Не нужно, так и скажи...

— Пойдем, сынок, господь с ними!

Она торопливо собирала вещи.

— Усы распустил и задирается...

— Иди, иди, — угрюмо сказал хозяин. — Проваливайте до своего Ленина, голодранцы.

За селом мы сели отдохнуть у дороги. Мать вынула из мешка ломоть житного хлеба, припасенного еще дома. Мне хотелось есть, но до слез жалко было обиженную мать, хотелось хоть как-нибудь ее пожалеть. И я сказал, что не хочу есть. Но она отломила себе маленький кусочек, а остальное отдала мне. Сама ела не спеша, подставив под хлеб ладонь горсткой, чтобы не ронять крошки. Добрые большие глаза печально смотрели в одну точку.

— Мам, ты не плачь, — сказал я.

— Нет, сынок, я не плачу, — ответила она грустно. Но я знал, она умела плакать без слез.

Мамочка, милая моя... Дороже всего было для меня ее бледное, измученное лицо, ее худенькая шея, дутые серьги-колечки. Она никого никогда не обижала, никому не сказала грубого слова, а этот усач ни за что обругал ее...

И задумался я про людей — почему так получается: все вроде бы одинаковые, у всех два уха, по одному носу, а выходит — вовсе не одинаковые. Мы с мамкой голодные, а тот дядька ел сало. Васька говорил: есть бедные, а есть богатые. Но почему дядька богатый, а мы бедные? Почему? Если бы у него было четыре руки — тогда другое дело, а то все как у нас. Чем этот дядька отличается, например, от Анисима Ивановича? Тем только, что у него целы обе ноги, да еще в хромовых сапогах, а у Анисима Ивановича — культяпки. Ничего не поймешь на этом свете...

Отдохнув, мы тронулись дальше. Погода переменилась. Белые охапки облаков сгустились, оставив лишь кое-где голубые окна неба. Небольшая черная хмара

застелила солнце. Но лучи пробились сквозь нее и упали на землю косыми снопами.

Неожиданно по небу прокатился гром. Не успели мы добежать до ближайшей балки, как хлынул дождь. Крупные капли хлестали нас по рукам, по спинам. Мать закрыла меня фартуком, а сама спрятала голову под мешок.

Дождь вымочил нас до нитки. Штаны мои прилипли к коленкам. Мы шли по размякшей дороге, скользя по грязи босыми ногами. Освеженная степь заблестела капельками, запахло полынью. От земли поднимался теплый пар. Вдали над горизонтом огромным полукругом раскинулась радуга, или, как говорили у нас на улице, райдуга. Она заняла полнеба от края до края и переливалась в лучах солнца многоцветным сиянием.

Когда я был совсем маленьким, то думал, что на небе есть бог и что радуга — райские ворота, через которые праведников пропускают в рай. Чудак я был... А может, не чудак? Может, мы с Васькой ошиблись? Что, если бог есть и повесил радугу, чтобы мы с матерью прошли в рай, где хлеба сколько хочешь и даже золотые яблоки на деревьях растут?.. Только навряд ли. Да и шагать до райских ворот долго. Илюха говорил — сто дней, а разве пройдешь сто дней с чугунным утюгом, если он за день надоед до смерти?

Мы заморились и еле волочили ноги, когда увидели в стороне от дороги небольшой хутор. Мы свернули туда, но там оказалось много злых собак. Одна чуть не загрызла меня. От обиды хотелось плакать, но я вспомнил Ваську и проглотил соленые слезы: стыдно стало.

— Пойдем, мамка, никакого тут хлеба нема...

А есть хотелось так, что живот подтянуло. Скорее бы... Ленин приезжал. Хлеба у нас стало бы вволю. Кто-то, а Ленин созвал бы всех голодных и сказал: берите хлеба кто сколько съест!..

3

Близился вечер. Красный закат горел за дальними холмами. Солнце садилось и уже коснулось земли. Вороха белоснежных облаков нагромоздились в небе,



точно горы. Когда солнце скрылось и степь погрузилась в сумерки, верхушка громадной горы из облаков еще краснела, остывая, как железо в кузнице.

Потом и гора потухла. В небе зажглась первая звезда.

На душе стало тревожно.

— Мам, пойдем скорей.

— Не бойся, сынок, я с тобой, — усталым голосом отозвалась мать.

— А где мы ночевать будем?

Мать не ответила. Наверно, сама не знала, где мы заночуем. В степи стемнело. Нигде ни огонька, ни человеческого голоса, лишь где-то квакали лягушки.

Рубашка была еще сырая, и я озяб. Мать обняла меня, согревая собой. Я держался за ее кофту и шел, со страхом вглядываясь во тьму.

Неожиданно мелькнуло вдали пламя костра. Вокруг шевелились какие-то тени.

— Вот и люди, а ты боялся! — сказала мать.

Нащупывая во тьме дорогу, чтобы не оступиться, мы свернули к огоньку. Чем ближе мы подходили, тем осторожнее ступали по траве. У костра что-то читали: монотонно звучал басовитый мужской голос.

Когда мы подошли, голос умолк. Сидящие у костра повернулись к нам.

— Здравствуйте, люди добрые, — сказала мать, — разрешите мне с сыночком погреться у вашего огня.

— Садись, тепла на всех хватит, — сказал человек в замасленной рабочей кепке, тот, что сидел к нам спиной и держал в руках газету. Я скосил глаза и увидел крупные черные буквы: «ПРАВДА». У костра сидело пятеро: рабочий с газетой и с сигаркой за ухом, женщина с грудным ребенком, какой-то солдат в рваной шинели и еще двое, с виду крестьяне.

Мать опустила на землю мешок и облегченно вздохнула:

— Уморилась я, людоньки, мочи нет.

Рабочий достал из-за уха сигарку и потянулся к огню.

— Уморилась? — спросил он, прикуривая от головешки. — А ты бы тройку наняла и разъезжала.

Мать усмехнулась:

— Откуда она, тройка, мы не баре.

— Ну и что с того, что не बारे? — возразил рабочий. — Временное правительство объявило свободу. А ты, выходит, завязала свою свободу в мешок и таскаешь ее на горбу по селам, просишь кусок хлеба за ради Христа. Эх, темный народ, свободы своей не понимает!

У костра засмеялись, но я не понял почему. Рабочий правильно говорил про свободу. Я своими глазами видел в городе красный лоскут со словами: «Свобода, братство и равенство!» Если бы я не видел этих заманчивых слов своими глазами, то, может быть, тоже засмеялся, как все у костра.

Все же я слушал, что еще скажет рабочий.

— Нехорошо, голубушка. Тебе господин Керенский свободу пожаловал, а ты в нее не веришь...

— Этот буржуй пожалуйет, держи карман шире, — сказал солдат.

— А я думаю в князя записаться, — продолжал рабочий. — Завтра прошение составлю, глядишь, генерал-губернатором сделаю, помещиком стану.

Опять у костра засмеялись, и рабочий сам почему-то рассмеялся и сказал:

— А в чем дело? Если свобода и равенство — значит, все равны.

— Кому свобода, а кому слезы, — сказала мать.

— Ага, раскусила! — обрадованно воскликнул рабочий. — То-то, голубушка. Свобода, да не для нас с тобой. Есть еще чудаки, которые думают: раз царя скинули, значит, жизнь будет слаще меда. А мед вышел горьким. Меньшевики уговаривали нас: дескать, царя скинете, и революции конец. Работать станете восемь часов, есть будете одни белые бублики. А получилось что? Безработица, жалованье снизили, жрать нечего. Вот наша «Правда» и пишет, — и рабочий стал водить пальцем по газете и читать: — «Помогите вооружению рабочих или хоть не мешайте этому делу... Иначе гучковы и милюковы восстановят монархию и не выполнят ничего, ровнехонько ничего из обещанных ими „свобод”». Чтобы вам, товарищи, было ясно, скажу: написал эти слова Ленин. Он говорит, что Февральская буржуазная революция сделала только полдела. Убрать царя нетрудно. Не царь главный враг. Он игрушка в руках богатеев. Есть у рабочих и селян враг лютей, вечный и жестокий: это буржуазия и ее при-

хлебатели — меньшевики. Они захватили власть и душат бедный люд! — Рабочий сердито свернул газету и сунул ее в карман. — Ничего, — добавил он, — вернется в Россию Ленин, скажет, что надо делать...

Не все я понял из того, о чем говорил рабочий. Но главное уловил, и это поразило меня. Почему же не царь враг? Выходит, мы с Васькой ошибку дали: не на того злились, на кого надо. Не царь враг, царь — игрушка! А ноги у Анисима Ивановича кто отнял? Кто дядю Митяя в цепи заковал? Кто Ленина в Сибирь сослал в кандалах?..

— Вот, брат, какие дела, — вдруг обратился рабочий ко мне. — Что же ты, ходил-ходил, менял-менял, а мешок пустой?

У костра кто-то вздохнул.

— Небось есть хочешь? — спросил рабочий. — Зараз угощу тебя пролетарским пирожным. — И он выкатил щепкой из костра горячую печеную картошку. — Держи, только дуй сильнее, а то обожжешься.

Мать ласково привлекла меня к себе.

— Замаялся, спать хочет. Ну, ложись, сынок. — Она положила мою голову к себе на колени. — Все меня жалеет. Сам еле на ногах стоит, а «дай понесу, дай понесу».

— Сколько же ему лет?

— Десять годочков, одиннадцатый пошел...

Картошка, которую дал мне рабочий, была очень вкусная. Сначала я перекачивал ее в руках, остужая, потом прихватил подолом рубахи и, обжигаясь, стал откусывать прямо с кожурой, перепачканной в золе. От картошки ароматно пахло дымком.

— Ну, как пирожное?

— Не наелся, — сказал я.

Люди засмеялись. Мать ахнула:

— Как тебе не совестно, босячина этакий! Дядя его угостил, а он вместо спасибо еще просит!

— Ничего, пусть ест. Если мать жалеет, значит, заработал. Получай еще пряник, брат Митька.

— Я не Митька.

— А кто?

Мать погладила меня по голове и сказала:

— Леней его зовем.

— Ага, Ленька. Ну расти, Ленька, поскорее, с бур-

жуями воевать будем, к товарищу Ленину на подмогу пойдем. Слышал, Ленин в Россию возвращается?

— Знаю, — сказал я как можно серьезнее.

Помолчали. Женщина с ребенком спросила:

— А скажите, чи правду балакают, будто Ленин из шахтеров; говорят, он на руднике «Италия» коногоном работал. Не знаю, чи правда, чи нет, а только слышала я, что на шахте есть люди, которые помнят его.

— У нас в окопах другое сказывали, — проговорил солдат, расстелив шинель и укладываясь на ней. — Ленин никакой не шахтер, а солдат. Мой земляк с ним в одном полку служил.

— Это побасенки, — сказал рабочий, — народу ведь если что полюбится, он про то и сказку сложит. Ленин не шахтер и не солдат... Ленин — отец всего трудового люда, сколько его ни есть на земле. Про Ленина я расскажу точную правду. Если не верите, могу документ предъявить. — Рабочий слегка выставил ногу в ботинке и приподнял штанину. — Во-он документ, погляди.

— В кандалах ходил? — с уважением спросил солдат.

— А ты как думал? — смеясь, ответил рабочий.

У меня захватило дыхание. Сон и усталость исчезли. Я даже привстал с коленей матери и со страхом и жалостью стал рассматривать натертые на ногах темные круги — кольца, следы от кандалов.

Я с замиранием сердца слушал рабочего.

— ...Ну, а кто в царской тюрьме побывал, тот и про Ленина знает, потому что Ленин двадцать лет жизни провел в тюрьмах, ссылках и в изгнании. Не год, учтите, и не три, а двадцать лет. Ну так вот. Настоящая фамилия его не Ленин, а Ульянов. Ленин — партийное звание, как бы сказать — для секрета, чтобы царским ищейкам труднее было его найти. Родился Ленин на Волге, семья у них была образованная. Старший брат, Александр Ульянов, известный революционер, делал покушение убить царя, да сорвалось у них дело. Александр был повешен по приказу царя...

Рабочий обернулся в темную степь, к чему-то прислушиваясь. Невдалеке шуршала трава: кто-то шел к нам. Мы ждали, но никто не появлялся. Вдруг из мрака возник мальчик в длинных холстинных штанах,

такой же рубашке навывпуск, нестриженный и худенький. Позади мальчика, положив ему руку на плечо, плелся слепой. Мы молчали. Слепой приблизился к костру, и я поразился: это был Бедняк из Васькиной сказки, тот самый, которого я видел последний раз на базаре. Он одряхлел и сделался слепым. Как и тогда, у него висела через плечо на бечевке бандура.

Стоя у костра, нищий нащупал слепыми руками струны бандуры, и, глядя поверх костра в темную ночь, тронул зазвеневшие струны и проговорил громко:

Гей, гей!
Прийшов Ленин до царя Миколы,
Прийшов до панив-богачей:
«Доколе будете землей володиты,
Доколе будете хлиб наш исты,
Доколе будете волю нашу ногами топтать?
Выходите, будемо биться не на жизнь, а на смерть!»

Все, кто сидел у костра, слушали нищего. Никто даже не шелохнулся. Только мальчик-поводырь спокойно, будто его ничто не касалось, присел у костра, сложил ноги калачиком, достал из кармана горсть крошек и, подвинувшись к огню, щепоткой выбирал их с ладони и ел.

А нищий пел, бряцая струнами старой бандуры:

...Собирае царь своих воевод:
«Гей вы, слуги мои вирни,
Паны вельможни, богачи заможни,
Сидайте на коней, мне, царю, допомагайте,
Бейте голодранцев-бедняков!
За холопа — крест,
За Ленина — медали!»
Посидали на коней паны-богачи,
Поскакали на Ленина...

У костра было так тихо, что слышался шум пламени да потрескивание угольков.

...Кличе Ленин хлиборобив-беднякив,
Кличе шахтарив голодных,
Сам сел на коня, червоне знамя развернув.
«Гей, гей, — кличе Ленин, —
Бийте ворогив-богачей,
Кровь их паньську у поли с песком мишайте!...»

Перебирая струны, Бедняк пел о том, как съехались в поле буржуйские и рабочие полки и ударились



грудь в грудь. Бились день, бились два — никто никого не мог одолеть. Позвал царь еще много богачей, привезли они с собой пушки, а у рабочих одни кирки. Тогда кликнул Ленин тех, которые в Сибирь сосланы, но у них руки были в кандалах. Кликнул он бедняков, что по тюрьмам сидели, но те ответили: «Крепки решетки, батько, нельзя их сломать». Бились рабочие с буржуями еще три дня. Уже много врагов лежало потоптанных конями, уже Ленин царю голову срубил, а буржуи все скакали и скакали отовсюду, окружали Ленина и его войско.

Слепой бандурист замолк, потом сильно ударил по струнам, зарокотали они, зазвенели грозно, и слепой запел:

Слушайте, бедняки голодни, шахтари замучени,
Вставайте и вы на помощь Ленину,
Бо тяжело ему биться за долю народную,
Сидайте на коней, берите зброю грозную,
Поспешайте туда, где бьется Ленин,
Бо уже тяжело ему биться.

Старик закончил песню, провел рукой по струнам и, мигая слепыми глазами, проговорил хрипло:

— Дай боже миру селяньскому, войску рабочему и вам всем, православным христианам, здравия на многие лета... — И слепой замолчал, ожидая подаяния.

Мать и женщина с ребенком всхлипывали, солдат в сердитой задумчивости глядел в огонь. Мать достала из-за пазухи царские три рубля, завернутые в платочек, и подала мальчику. Женщина, сморкаясь и вытирая глаза, развязала свой мешок и протянула мальчику два початка кукурузы.

— Спасибо, отец, — сказал рабочий, растроганно глядя на слепого, — хорошую думу ты поешь. Садись погрейся.

— Нет, наш путь далекий.

— Куда же ты ночью пойдешь?

— У меня всегда ночь, — ответил нищий, и они пошли потихоньку — впереди мальчик, за ним слепой. Никто ни слова не сказал, пока нищие не скрылись из виду.

— Видите, уже и народ понимает, что надо собираться на битву: думы складывает, — сказал наконец

рабочий. — Не-ет, — угрожая кому-то, добавил он, — революция не кончилась, господа! Революция только начинается!

Костер догорал. Солдат сходил куда-то и принес охапку соломы и сухих веток. Огонь опять разгорелся, да так, что все отодвинулись. Искры метались над пламенем и оседали на нас. Тьма вокруг стала непроглядной.

Хотя и уютно было лежать на коленях у матери и усталость брала свое, не мог я забыть слепого. Куда же он пошел ночью? Солдат стал рассказывать про войну, про то, как наши не хотят воевать, кидают винтовки и братаются с германцами. Я слушал про все это, а перед глазами стоял слепой и то, про что он пел. Если бы Васька слышал, он бы сказал мне: «Одевайся скорей. Идем на помощь к Ленину!»

4

Занималась розовая заря, когда мать разбудила меня. У костра уже никого не было. Мы с матерью отряхнулись от пепла и пошли, оставив позади тлеющий беспламенными угольками костер.

Остановились мы на развилке дорог и задумались: куда идти? Может, там, впереди, никаких сел нету?

— Пойдем, сынок, отец там небось голодный сидит.

Низкое солнце светило в спину. Было зябко ступать по холодной, еще не согретой солнцем дорожной пыли.

Поспешая за матерью, я стал думать об отце. Вот он председатель, а никакой пользы с этого нет. Только и радости, что можно арестовать кого-нибудь, а поесть не достанешь. Если бы я стал председателем, я бы первым делом забрал у Цыбули всю колбасу... Скорее бы идти домой, там, наверно, уже дядя Сиротка с винтовками из Петрограда приехал, Васька ждет.

Уже был полдень, когда мы достигли большого села с церковью и двухэтажным белым каменным домом, обсаженным чуть зазеленевшими тополями. Это было панское село Шатохинское.

На окраине села крестьяне пахали на волах землю. За плугами черными стаями вспархивали грачи.

Мать спросила у крестьян, нельзя ли в этом селе поменять чего-нибудь.

— Навряд, — угрюмо отозвался один из них, — мы сами на пана работаем. Попробуйте у пана, а у селян нема хлеба.

На мостике через ручей нас догнал громко рывкающий диковинный фаэтон на резиновых дутых колесах со спицами. Фаэтон катился сам, без лошадей. Я вспомнил, что такой фаэтон называется автомобилем. На высоком сиденье человек в кожаной тужурке вертел колесо, надетое на палку. Сбоку торчала резиновая груша, которую он мял, и она рывкала.

Испугавшись, я шарахнулся в сторону, автомобиль проехал, обдав нас грязью. За мостиком он густо задымил, два раза выстрелил и покатился к барскому дому. Я успел заметить, что позади в машине сидел человек в круглом черном котелке, в белых перчатках и с тростью.

Мы шли не спеша мимо длинного ряда облупленных белых хаток, крытых соломой.

И в этом селе мы ничего не поменяли, хотели уже уходить, как вдруг со стороны барского дома донеслись звуки музыки. На улице столпились крестьяне. Из их разговоров мы узнали, что к помещику Шатохину приехал из Петрограда какой-то селянский министр.

Мать подумала и решила пойти к панскому дому — может, покормят чем бог послал.

К дому с колоннами мы подходили несмело.

На широком дворе девочка в легком розовом платье и двое жирных барчуков играли в мяч. Зависть сковала мне сердце, когда я увидел большой красносиний с белыми полосками резиновый мяч величиной с кавун. Такого я и в жизни не видывал!

Мать остановилась у каменных ворот. Краснолицый карапуз-барчук, увидев нас, спросил:

— Чего надо?

— Подайте, Христа ради кусочек хлеба, — с трудом выговорила мать.

— Сейчас, — сказал барчук. Он подошел к своим товарищам, пошептался с ними и зачем-то побежал к дому.

Вернулся он скоро, несмело приблизился к нам.

— Вот вам булочка, — сказал он и положил мне на руку что-то завернутое в бумагу. Я глянул и растерялся: в бумаге лежала щепка и кусочек каменного

угля. Барчук весело поскакал на одной ноге в глубь двора.

Я взглянул на мать: у нее по щекам катились слезы.

Вот как над нами насмеялись! Что бы Васька сделал на моем месте? Да он бы этого...

Я схватил камень и погнался за барчуком. Второпях я нечаянно наступил на склянку и порезал ногу. Я сел на землю, зажав рану, кровь текла сквозь пальцы. Мама подбежала и, страдальчески сморщив лицо и укоряя меня, оторвала от мешка клочок и туго перевязала рану.

— Бидность плаче, богатство смеется, — вдруг услышали мы позади себя хриплый голос.

Возле панского дома, опершись на палку, стоял знакомый нам дед-крестьянин, которого мы встретили вчера в степи.

— Веди хлопца до брички, — сказал он сердито и, не говоря больше ни слова, пошел к волам.

Мать подвела меня к гарбе, усадила в солому, и мы поехали. К удивлению, ехать пришлось недолго. Бедная хатка деда стояла недалеко от барского дома.

Дедушка Карпо — так звали нашего знакомого — и его бабка Христя приняли нас заботливо. Бабка промыла мне ногу у колодца, перевязала чистой тряпкой и привела в хату. Там она накрошила мне в миску тюри, подвинула деревянную ложку и сказала:

— Стебай, хлопче...

Наверно, и у царя не бывало такой вкусной тюри, как у бабки Христи. Я так спешил есть, что закашлялся. За одну минуту я опорожнил миску. На душе сделалось легко, нога перестала болеть. Не мог я забыть одного — обиды на барчуков.

Пока мать разговаривала с бабушкой Христей, я вышел из хаты. Со двора был виден богатый дом помещика Шатохина.

Хорошо бы подползти к барскому дому и назло сломать в саду яблоню. А еще лучше отнять у барчуков красивый мячик.

Я решил: пока никто не видит, проберусь в панский сад. Желание хоть чем-нибудь отомстить барчукам побороло страх.

В глубине дворика деда Карпо стояла старая клу-
ня. Сразу же за ней начинался панский сад.

Возле клуни я еще раз осмотрелся, не подглядывает ли кто за мной, потом лег на землю и пополз на животе, работая локтями и коленками.

— Там яблукив нема! — раздался над моей головой чей-то голос.

От страха я прирос к земле, а потом покосился вверх. На соломенной крыше сидел грязный, нечесаный хлопец и смотрел на меня без всякой вражды.

— А тебе чего надо? — спросил я недовольным тоном.

— Яблукив у панском саду ще нема. Они летом буюют.

— Без тебя знаю... Ты кто?

— Сашко. А ты видкиля?

— Из Юзовки... Хочешь, мячик у буржуев отнимем?

Сашко мигом съехал с крыши, и мы осторожно проползли под колючей проволокой в панский сад и затаились в кустах смородины.

Из открытых окон помещичьего дома доносились звон посуды, женский смех, нетерпимо вкусно пахло жареным мясом.

— До пана Шатохина министр приихав, курей едят, — сказал Сашко.

Интересно было поглядеть, как селянский министр, приехавший из Петербурга, ест курей. Но нельзя было и мячик прозевать. Поэтому я шарил глазами по двору, ища барчуков.

Пошептавшись, мы проползли еще несколько шагов и притихли под развесистой яблоней, прячась за кадушкой.

— Залезь на дерево, — прошипел мне на ухо Сашко.

— Лежи, надо мячик отнять.

Мы ждали барчуков с мячом, но они не показывались.

До барского дома было рукой подать. Тянуло заглянуть в окно, откуда доносился веселый шум.

Я влез на кадушку, уцепился за сук и взобрался на яблону.

Отсюда хорошо было видно, что делалось внутри панского дома. В комнате под потолком поблескивала

стекляшками люстра. А на длинном столе блестели высокие бутылки с серебряными горлышками, виднелись высокие рюмки на тонких ножках, а посреди на большой тарелке красовался, будто живой, а на самом деле жареный гусь.

Стол окружали гости: барыни в белых, голубых, розовых платьях, какие-то пузатые дядьки, а главное — селянский министр из Петербурга, тот самый, которого я видел в автомобиле.

Министр что-то рассказывал, то и дело попивая из рюмки и прикладывая к губам белую тряпку. Все жадно слушали его рассказ и даже перестали есть.

— ...И вот мы отправились к государю, — донесся до нас голос министра. — Можете себе представить, господа, как я волновался: мы ведь шли к нему не с поздравлениями, а шли предложить отречение от престола... Мне было неудобно еще и оттого, что я предстану перед государем в пиджаке, небритый... Все-таки ведь царь!.. С трепетом вошли мы в салон-вагон, ярко освещенный чем-то светло-зеленым. Тут были Фредерикс, министр двора, и еще какие-то генералы... — Селянский министр опять хлебнул из рюмки и стал прикуривать длинную коричневую сигарку.

Я вспомнил, что такую точно сигарку курил Юз. Пока селянский министр, чиркая спичками, прикуривал, все, кто сидел за столом, молча глядели на него. Он подымил и еще раз отхлебнул из рюмки.

— ...Через несколько минут к нам вышел государь. Он был одет в форму одного из кавказских полков... От нашего имени князь Львов произнес небольшую речь и закончил ее словами: «Подумайте, государь, помолитесь богу и подпишите отречение». При словах «помолитесь богу» царь усмехнулся. Потом он пошел в другую комнату и принес оттуда заготовленный им самим текст отречения. Оно было написано на машинке на небольшом листке бумаги. Царь поглядел на нас и сказал: «Сначала я предполагал подписать отречение в пользу сына, но потом передумал и передаю престол моему брату Михаилу».

— Шо там, Ленька? — шептал снизу Сашко.

— Пьють, — отвечал я с дерева.

— Кого быють?

— Не быють, а пьють... из рюмок... Молчи.

Селянский министр откинулся на спинку кресла и, задумчиво глядя на недопитую рюмку, продолжал:

— ...Перед тем как подписать высочайшее имя, государь, помню, поглядел на нас и грустно спросил: «Действительно ли, господа, все кончено?» Князь пожал плечами, и царь подписал...

Сашко сильно дернул меня за штанину. Я глянул вниз, и сердце мое зашлось от радости: я увидел катящийся по земле мяч, тот самый красно-синий с белыми полосками, который я видел раньше.

Я прямо-таки упал с дерева и прижался к земле, точно кошка в ожидании добычи.

Вслед за мячом из-за дома выбежал маленький, лет пяти, барчонок в коротеньких плюшевых штанишках и такой же курточке. Он догнал мяч, схватил его и, размахнувшись, бросил туда, откуда мяч прикатился. Сам барчонок, расстегивая на ходу штанишки, побежал прямо на нас. Подскочив к яблоне, где мы лежали, он остановился и присел. Мне стало до того противно, что я отвернулся, а Сашко потянулся к палке.

Я вспомнил о щепке, которую дали мне барчуки вместо хлеба. Сейчас отомщу...

— Забирай его в плен, — прошептал я, и не успел барчонок подхватить штанишки, как мы оценили его с двух сторон.

— Руки вверх! — приказал я.

Барчонок доверчиво поднял руки, не выказывая ни малейшего страха. Наверно, он подумал, что мы играем с ним.

— Ты буржуй? — спросил я грозно.

— Я эсел, — ответил барчонок.

— Жалко бить, маленький, — сказал я.

— А вы кто? — простодушно спросил барчонок.

— Мы большевики, — ответил я как можно строже.

— А я эсел, и мой папа эсел.

Клопоча от злости, я передразнил:

— «Эсел, эсел», на колу висел! Тикай отсюда, пока по шее не надавали!

Не успел я проговорить это, как Сашко стукнул барчука по затылку, барчонок не ожидал этого и так испугался, что не закричал, а молча, то и дело оглядываясь, побежал к своему дому.

Не солоно хлебавши, сердитые, мы с Сашко вернулись на дворик деда Карпо. А тут еще, когда проле-

зали под проволокой, я зацепился и порвал штаны.

А в барском доме гремело веселье. Я глядел туда с обидой и вспоминал слова рабочего в степи у костра: «Не царь враг, а буржуи». И правда: ишь задаются, хуже, чем при царе.

Ничего, припомню я вам щепку...

5

Ночевали мы у деда Карпо. Я спал на голых полатях, но мне было тепло и уютно, как дома.

Утром бабка Христя дала матери целый фартук пшеницы и ничего за это не взяла. А еще они с матерью пошли по соседям и там поменяли почти все вещи, кроме утюга. Мать наменяла пять стаканов проса, десять фунтов ячменя, связку цибули, ведро картошки и много семечек. Мешок наш приятно отяжелел.

Какое счастье привалило! И еду мы добыли, и домой не пешком пошли: дед Карпо запряг волов и повез нас в город.

Всю дорогу я лежал в гарбе и смотрел в небо, где, мерцая крылышками, пели жаворонки, плыли веселые облака.

Дед Карпо не спеша погонял волов и разговаривал с матерью:

— Був я вчера на базаре. Ходят слухи, шо главный большевик Ленин в Россию вертается. Кажуть, теперь селянам землю дадут... Хотел я спытать у городского, чи як вони теперь называются — новая полиция, чи шо? Стоит австрияка с саблей. Я кажу: «Гражданин!» — «Какой я тебе гражданин?» — «А як же! — говорю. — Теперь свобода». — «Вот я тебе дам в морду, и узнаешь свободу». Бачь, голубонька, опять паны, опять неволя. Ось послали мене селяне в город, есть тамочки один человек, он только и знает правду про Ленина.

— Дедушка, я могу рассказать про Ленина, — сказал я.

Дед Карпо усмехнулся:

— Кто тобі сказав?

— Рабочий...

— Лежи, сынок, не мешай нам разговаривать, — сказала мать.

Покачивалась гарба, проплывали курганы, сплошь

запестревшие яркими весенними цветами, а я лежал в гарбе, как в люльке, и любовался степью. Скоро показалась вдаль Богодуховская балка, а за нею открылся наш задымленный городок с заводскими трубами, с терриконами шахт. Сердце радостно зашлось: скоро увижу Ваську.

Мы въехали в город со стороны базара. Мать решила заглянуть туда, чтобы поменять зерно на муку, а семечки — на подсолнечное масло.

На базаре я столкнулся с колбасником Сенькой. Он был одет нарядно, как на пасху. За ним плелась целая орава гимназистов и кадетов.

Сенька долго глядел на меня в упор и вдруг рассмеялся.

— Председатель, — сказал он, — господа, поглядите, председатель приехал на своих рысаках!

Кадеты захохотали, глядя на понурых волов деда Карпо.

Сенька дернул меня за подол рубахи:

— Ну, как живем, председатель? Помнишь, спорил, что твой отец главный? Брехун, ваше благородие! В городе мой папаня главный! И я главный над тобой! Я могу весь город купить. Хочешь, тебя куплю? — спросил вдруг он, перемигиваясь с кадетами. — Говори, сколько ты стоишь вместе вот с этой рубахой и со штанами?

— Я не лошадь, не продаюсь, — сказал я хмуро.

— А я все равно куплю, — настаивал Сенька, не отпуская подола моей рубахи. — Говори, сколько за тебя дать, плачу все до копейки!

— Я тебя сам могу купить.

Опять кадеты засмеялись, а Сенька воскликнул:

— Купи, плати двадцать тыщ! Ну, плати! А-а, голопузик, денег нема. А у меня есть. Вот, смотри. — И Сенька достал сначала из одного кармана, потом из другого, потом из-за пазухи три пачки настоящих царских денег — трехрублевки, десятки, пятерки, даже несколько сотенных бумажек с портретом царя. Он взял одну сотенную и сказал: — Хочешь, порву?

— Хочу.

Сенька разорвал сотенную, сложил половинки и еще разорвал их, потом сложил четвертушки и тоже разорвал. Ключки от денег он швырнул в небо, развеяв их по ветру.



- Видал?
- Видал.
- Хочешь, еще порву?
- Порви.

— Ишь ты, я лучше духов куплю! Эй, тетка!

К нему подошла женщина, крепко державшая обеими руками флакон духов, завернутый в платочек.

— Почему? — важно осведомился колбасник.

— Сто рублей.

— Получай! — Сенька плюнул на пальцы и стал отсчитывать деньги. Взяв духи, он открыл их и побрызгал себе на грудь.

Поплыл приятный аромат.

— Хочешь понюхать? — спросил он.

Шут меня дернул потянуться носом к флакону. Сенька сунул мне под нос дулю.

— Чем пахнет? — спросил он под громкий хохот кадетов.

Даже рыжий Илюха, оказавшийся неподалеку, засмеялся.

Сенька стал мне противен. Я отошел и наблюдал за ним издали.

Колбасник облил духами свою братию, побрызгал на курицу, потом сорвал у забора желтый цветок мать-и-мачехи, смочил его духами и, крикая от удовольствия, стал нюхать:

— Ух, как пахнет!

Пустой пузырек Сенька забросил через забор, и вся орава направилась к лотку покупать папиросы «Шуры-муры». Ко мне подошел Илюха:

— Ленька, ты разве ничего не знаешь?

— А что?

— Думаешь, почему они тебя председателем дразнят?

— Не знаю.

— Твой отец уже не председатель. Его вчера скинули. Сенькин отец стал председателем.

На душе стало тяжело и тревожно. Я решил, не скажу матери и не буду верить Илюхе, пока у Васьки не спрошу.

Мать выменяла на зерно и подсолнухи полпуда муки и бутылку подсолнечного масла.

Деду Карпо нужно было ехать туда же, куда и нам. Мы сели в гарбу и поехали.

Вот и окраина, а дед Карпо все ехал с нами.

— Значит, вам куда? — спросил он у матери.

— Нам вон на ту улицу, где лавка.

— Та и мени вроде туда, я точно не знаю.

— А кого вам нужно? — спросила мать.

— Та оце ж люди казали, председатель Устинов
десь, тут живе, а в якой хате, не знаю.

Мать рассмеялась:

— Что ж вы раньше не сказали, дедушка!

— А шо?

— Устинов — мой муж.

Дед остановил волов и с недоверием уставился на
мать, поглядел на меня.

— Ты жинка Устинова?

— Правду говорю, — повторила мать с улыбкой.

Дед покачал головой.

— Чого же ты раньше не обозналась? От вы, бабы,
секретный народ! Гей, ледачи! — весело прикрикнул
дед Карпо на волов и стукнул палкой одного из них.
Ленивый вол только взмахнул хвостом. Гарба закача-
лась на ухабах.

Дед и моя мать смеялись. Они не знали, что отец
наш уже не председатель...

Мы повернули за угол. Возле Абдулкиной землян-
ки сидела на лавке Тонька. Увидев меня, Тонька сор-
валась с места и помчалась сзывать ребят. Они высы-
пали тучей и закричали:

— Ленька приехал!

— Ленька, где ты был?

Дед Карпо остановил волов возле нашего домика.
Мы слезли. Мать открыла ворота, и волы въехали во
двор. «Где же Васька?» — подумал я и в эту минуту
увидел, как он вышел из-за угла с двумя ведрами на
длинном коромысле. Я побежал навстречу. Смеясь от
радости, мы обнялись.

— Приехал?

— Ага.

— А кто это с вами?

— Дед Карпо, он добрый, пойдем к нам.

Как ни старался Васька казаться веселым, а по
глазам я понял: Илюха правду говорил об отце.

— Расскажи, Вась...

— Чего рассказывать, — сердито ответил Васька, —
бить их надо, а не рассказывать. — И Васька пнул

ногой торчавший из земли обломок кирпича. — Ты иди домой, а я воду мамке отнесу и приду к тебе.

6

Мы с матерью застали отца лежащим на кровати. Подложив руки под голову, он о чем-то глубоко задумался.

«Горюет», — мелькнуло у меня, но отец, как только увидел нас, вскочил, веселый, обнял мать и меня, а когда вошел в хату дед Карпо и мать рассказала о нем, отец протянул деду руку со словами:

— Это хорошо, гость из села кстати приехал, раз-девайся.

Отец усадил деда Карпо на табуретку, сам сел напротив, близко, лицом к лицу.

— Ну, зачем пожаловал, как там беднота живет в селе? Допекают вас помещики? Рассказывай, дедушка!

— Дила, товарищ Устинов, як сажа бела. Революцию зробили, царя скинули, а получилось, як в той сказке про мужика и медведя: панам вершки, а селянам корешки. Скажи, коли нам землю дадут?

— А от кого ты ее ждешь, дедусь?

— Та не знаю. Временное ж правительство есть, хай ему сто чертив у печонки.

— Временное правительство, дед, те же самые паны. Они тебе ничего не дадут. Сами берите землю, делите между собой и засевайте.

— Мы рады взять, так не дают же!

— А вы силой.

— Та де там силой? Понагнали охраны. Там таки австрияки стоять з винтовками и саблями, шо близко не подойдешь.

— А вы сабли о колено, винтовки об забор. А нет — жгите имения! — сказал отец. — Пускайте им красного петуха, пусть горят, гады! Земля должна быть у тех, кто ее своими руками, как дите родное, нянчит.

— Палить, кажешь? Гм... це дило! — проговорил дед Карпо, задумчиво трогая белый ус...

Мать суетилась у плиты. Она уже замесила тесто на вареники. Я скоренько притащил из сарая ведро уг-

ля и начал растапливать плиту, прислушиваясь к разговору отца с дедом Карпо.

— А еще селяне просили спытать, — говорил дед, — правду кажут, шо Ленин приедет до нас?

— Слух такой прошел, — сказал отец, — твердо мы не знаем. Но нам известны письма Ленина, и в этих письмах товарищ Ленин учит нас, что на той революции, которая была в феврале, мы не остановимся. Это только начало революции. Начало!

Мать поставила на стол вареники. Пришел Васька. Мы весело уселись за стол. Только дед Карпо не стал есть и скоро уехал.

Я так наелся, что у меня раздуло живот, как барабан. И все-таки я съел еще три вареника и два незаметно положил в карман.

Едва мы закончили обед, как в сенях послышался веселый топот ног. Дверь распахнулась, и в хату вошли сначала однорукий механик Сиротка с дорожным сундуком, потом, вытирая ноги о порог, Мося, а за ними — грязный, всклокоченный и радостный шахтер Петя с Пастуховки. Они только что вернулись из Петрограда и прямо с поезда — к отцу.

Что тут поднялось! Отец кинулся обнимать друзей, а те его. Они хохотали, хлопали друг друга по плечам. Запыхавшись, отец сел на табуретку и сказал:

— Говорите сразу: правда, что Ленин в Россию приехал?

— Правда! — ответил Сиротка.

— Видели его?

— Не только видели, но и встречали! — горячась, вставил Петя. — Я его даже на руках вместе с питерцами нес.

— Ну, рассказывайте!

Сиротка, хмурый, подсел к отцу:

— Нет, сначала ты расскажи, что тут у нас произошло?

Отец развел руками:

— Что произошло? В Советах засели буржуи. Большевики их поддерживают. Удалось им пока захватить большинство в Совете. Теперь благодетель Цыбуля — комиссар Временного правительства и председатель меньшевистского Совета. Об этом разговор у нас будет долгий, и борьба будет долгая. Поэтому рассказывайте вы, хлопцы,

Мать вывела Петю в сенцы и заставила его снять для стирки рубаху. Сама она стала поливать ему из кувшина. Пока Петя, брызгаясь и фыркая, умывался, я спросил его:

— Петь, а ты царя в Петрограде видал?

— Какого царя? А-а, ты про Николашку! Нема его, увезли в Сибирь.

— А саблю его золотую видал?

— Саблю? Чего не видал, того не видал. Наверное, с собой увез, гадюка, — отвечал мне Петя, входя в хату и вытираясь свежим рушником.

— Та-ак, — протянул в раздумье Сиротка. — Ну, а с нами, что ж... Мы ведь не знали ничего о Ленине. Приехали в Питер третьего, в воскресенье. Спрашиваем у людей, где помещается редакция рабочей газеты «Правда». Буржуи косятся злобно: «Какая такая «Правда», не знаем»...

— Сиротка, дай я расскажу, — перебил Петя, у которого опять заблестели глаза, и радость его передавалась всем.

— погоди, не мешай, — хмуро остановил его Сиротка.

— Да говорите кто-нибудь, шут вас задери, — смеясь, сказал отец. — Скажите, какой из себя Ленин?

— Простой! Ну как будто твой товарищ или родственник, — скороговоркой выпалил шахтер Петя.

Мы с Васькой притиснулись плечами друг к другу и напряженно слушали.

— Какой из себя Ленин, спрашиваешь? — степенно проговорил Сиротка, глядя в пол, словно обдумывая, как лучше сказать. — С первого взгляда будто строгий, а взглядишься — нет. По глазам видно — ласковый.

— Ходит быстро, не поспеешь за ним, — опять вставил Петя, — а кепка вот как у нашего Моси, даже проще...

Васька взглянул на меня. На лице у него светилось радостное удивление.

— Ну и вот, — продолжал Сиротка, — показали нам питерские рабочие редакцию «Правды». Помещалась она на Мойке, у самого Невского проспекта. Входим. Две комнатки: одна маленькая, другая побольше. Обе полны народу: собрались рабочие, солдаты из

окопов, матросня-балтийцы. Протиснулись мы к столу секретаря, кое-как поясняем, что мы делегаты от Донбасса. А кругом люди суетятся, звонят телефоны, не поймем, что случилось. А потом слышим: Ленин сегодня приезжает. А было, как мы уже сказали, воскресенье, заводы не работали. Как известить рабочих о Ленине? Да где тут, уже пошел гулять слух, толпами бегут рабочие.

Наняли мы извозчика и помчались на Финляндский вокзал. Народу на улицах — тьма-тьмушая. Со всех районов идут рабочие со знаменами, с музыкой, с песнями. На Литейном — есть такой мост в Петрограде — пришлось бросить извозчика. Народ хлынул тучей, ломаются вперед, а меньшевики и эсеры загородили дорогу и уговаривают не идти: мол, ничего хорошего не ждите от Ленина. Меньшевики смели. Там бы железную стену правительство поставило, и ее сломали бы. Досталось и нашим бокам, но мы все-таки пробрались на площадь вокзала. А там — боже ты мой! Народищу — глазом не окинуть. Что делать? Я тогда и спрашиваю у своих ребят: «Вы шахтеры или нет?» Поняли они меня, и пошли мы на приступ. Пролезли на вокзал, оттуда протиснулись на перрон. Присели на рельсы, закурили с питерскими рабочими. Ждем. Уже ночь, а поезда все нет. Говорят, на какой-то станции рабочие делегации задержали. Но вот наконец звонки — поезд прибывает. Все замерли. В этой тишине и подошел поезд.

Васька подался вперед, жадно вслушиваясь в слова Сиротки.

— ...Вышел он на ступеньки вагона, решительный, смелый, в простом пальто.

— Заштопанное! — выкрикнул шахтер Петя. — И пуговицы одной нема вот здесь, слева.

— Погоди, Петька, — сказал Сиротка. — Одним словом, Егор, не будем мы тебе рассказывать про то, как его несли на руках рабочие, как народ кричал: «Да здравствует Ленин!» Скажу только вот что: на площади стояли броневики. Взошел он на один из них, поднял руку вверх и ждет, когда затихнут. На всю жизнь я его так и запомню теперь — в распахнутом простеньком пальто, кепка из кармана торчит. Сказал он речь с броневика и закончил словами... Знаешь, какими словами он закончил? — спросил Сиротка и

твердо, с расстановкой произнес: — «Да здравствует социалистическая революция!»

— Социалистическая революция, — повторил отец задумчиво. — Так оно и должно быть. К этому идем. Ну, а теперь говорите, что привезли. — Отец строго взглянул на нас с Васькой и сказал: — Хлопцы, ступайте-ка на улицу.

7

Мы с Васькой отправились на речку. Сколько я поберег для него новостей, сколько собирался рассказать, и вот все как-то потерялось. Ни о чем не хотелось говорить. Когда мы уселись молча на берегу речки, я разжег из камыша небольшой костерчик, собираюсь рассказать Ваське хотя бы про ночной костер и про Бедняка-бандуриста, но и это не вышло. Васька сидел у огня задумавшись и глядел на пламя, невидимое при свете солнца. А я думал: «Вот есть где-то на свете большой город Питер, Петроград. Там на броневике стоит Ленин. Может быть, и дядя Митяй вернулся из Сибири и теперь стоит на броневике рядом с Лениным».

— Вась, а где Петроград?

Васька поглядел на меня безучастно, думая о чем-то своем, потом ответил:

— Далеко. Во-он там, — и он неопределенно махнул рукой в степь.

— За Пастуховкой?

— Дальше.

— За Богодуховкой?

— Что ты!.. В сто раз дальше.

Васька подбросил в огонь охапку сухого камыша. Голубоватое пламя потянулось кверху, постепенно накаляясь до ярко-желтого, потом закачалось, потрескивая и рассыпая искры.

— Лень!

— Чего!

— Ты богатых любишь?

— Нет.

— А я их так ненавижу, что и сказать не могу..

Мне вспомнились ночной костер в степи и слова рабочего о буржуях.

— Знаешь, Вась, мы с тобой ошибку дали, — сказал я.

— Какую?

— Не на того злились, на кого надо... зря время теряли.

— Ты про что?

— Мы с тобой злились на царя, а получается, что не царь враг.

— Как не царь, а кто?

— Рабочий говорил — буржуи.

— Буржуи это сейчас, а раньше царь-паук сидел, — объяснил Васька, — теперь мы царя по шапке, а богачи захватили все и смеются.

— Смеются, Вась, это верно. Сенька хвастался на базаре, хвастался деньгами, курицу духами облил. — И я, волнуясь, рассказал Ваське, как Цыбуля пореал у меня на глазах сторублевку. — Лучше бы он Алеше Пупку дал, правда?

Васька слушал, и лицо его менялось. Я знал: если Васька вспоминает про богатых, глаза у него делаются холодными. Когда я рассказывал, Васька даже на месте не мог усидеть и встал — так задело его Сенькино хвастовство.

— Богачи проклятые, денег нахапали...

Васька долго молчал, глядя в степную даль, потом вздохнул и сказал мечтательно:

— Если бы у меня было много-премного денег, целый сарай, например, и еще полный погреб, я бы эти деньги бедным роздал. Одному тыщу, другому тыщу, третьему — всем, сколько есть на свете бедных, каждому бы дал: подходи, бери, если ты человек бедный. Алеше Пупку я бы целую шапку денег дал. Нехай купил бы себе рубаху, поел досыта...

— А себе оставил бы, Вась?

— Чего?

— Деньжат.

— Зачем? Лучше бедным раздать — твоему отцу, дяде Ван Ли, Алешкиной матери. Уче бы дал тыщу.

— А Илюхе?

— Рубля два дал бы...

— Не надо, он жадный.

— Это правда, жадный. Ну рубля два можно, нехай бы порадовался.

— Только больше не давай.

— Больше не дам...

Мы так хорошо говорили с Васькой, что я не удержался и рассказал ему про кулака в селе — как тот прогнал нас с матерью, и про щепку, которую дали мне барчуки вместо хлеба.

Выслушав меня, Васька помрачнел. Наверно, ему не понравилось, что я позволял барчукам издеваться над собой. Да и как не обидеться: конечно же я держал себя как трус и в селе Шатохинском, и на базаре, чего уж скрывать. Если бы на Ваську такое, колбаснику пришлось бы скверно. Вот бы попросить Ваську научить меня смелости! А он будто сам догадался и начал говорить:

— Ты никогда ничего не бойся. Вот, к примеру, подошел к тебе бандюга с кинжалом или буржуй с наганом, подошел и говорит: «Стой, ни с места, стрелять буду!» Что ты должен делать? Бежать? Или, может, стать перед ним на колени и просить — не убивай, пожалей! Запомни: никогда нельзя становиться на колени! Ты должен размахнуться и дать в зубы! Тогда этот бандюга бросит кинжал, а буржуй забудет про свой наган и убежит. Почему? Да потому, что он испугается тебя больше, чем ты его. Надо пересилить врага своей смелостью. И тогда выйдет, что никакого страха не было. Ты понял или нет?

— Понял.

Васька помолчал, потом снова горячо заговорил:

— Знаешь что? Давай с тобой дружить так, чтобы никогда и ничего на свете не бояться, чтобы драться за рабочих, как... Ленин!

— Давай, — согласился я.

— ...Чтобы драться до смерти! Знаешь, как? Вот!..

Неожиданно Васька сунул руку в костер и стал держать ее на огне. Он крепко, до скрипа, стиснул зубы, но руки из пламени не убирал.

— Зачем ты, Вася? Не надо! — вскрикнул я. Но Васька продолжал держать руку в огне. Лицо у него сделалось багровым от напряжения.

Я не знал, что делать. И тогда Васька не спеша, словно нехотя, вынул из костра руку и сказал хрипло:

— Вот так, чтобы драться...

— Что ты наделал, Вась? Покажи руку.

— Незачем на нее глядеть.

— Болеть же будет.

— Ну и нехай болит. — Васька спрятал руку за спину.

— Хочешь, я свою сожгу, — сказал я, пугаясь своей горячности. — Нехай совсем сгорит, хочешь?

— Не надо.

— А я сожгу. — Не в силах остановиться, я тоже сунул руку в огонь.

— Брось! — Васька схватил меня за руку. — Незачем это. Ты просто так будь смелым и никогда не позволяй смеяться над собой. На свете никакого страха нема. Вот ты и не бойся. Если, например, тебе хочется испугаться, а ты назло не бойся! Тогда Сенька-колбасник и все буржуи будут дрожать перед тобой, как царь Николашка дрожал перед Лениным.

Помолчав, Васька добавил:

— Я это говорю к тому, что скоро мы пойдем войной на кадетов. Они опять захватили ставок, а твоего отца с председателей скинули. Скоро соберем войско. Ты будешь моим главным подполковником. Вот и подумай сам: как ты будешь подполковником, если хоть на каплю испугаешься? Значит, должен быть смелым, как... Ленин!

На этом разговор оборвался, и мы оба умолкли. Вспомнился Ленин, рассказы о нем.

Ни о чем больше не хотелось говорить. Всю дорогу, пока шли домой, мы не проронили ни слова.

Глава шестая

БИТВА НА РЕКЕ КАЛЬМИУС

*Час битвы близок. Сегодня грозно
Враги сойдутся померить силы.
Пусть трус уходит, пока не поздно,
Сегодня многих снесут в могилы.*

1

Город стоял по правую сторону речки. По другую шла степь — море полыни, кашки и молочая.

От речки поднималась крутая каменистая гора, на ней расположились нестройными рядами землянки, ко-

соглазые, с длинными печными трубами, с крышами набекрень. Извилистые улицы ручьями сбегали с горы к речке.

Между этими улицами тянулись кривыми линиями тесные переулки. Они служили для свалки нечистот и назывались Грязными. По этим улочкам никто не ходил, и летом они густо зарастали лебедой, лопухом и колючками. Кое-где среди бурьяна желтели подсолнухи, выросшие сами собой на мусоре.

Грязные улицы были излюбленным местом наших собраний. Здесь решались все неотложные дела. Так было и в то памятное июльское воскресенье семнадцатого года.

Мы собрались на Грязной с утра. Причина была важная: предстояла битва с кадетами, битва не на жизнь, а на смерть.

Наш главнокомандующий Васька держал перед нами речь. Он стоял на опрокинутой тачке голый по пояс (рубашку стирала мать) и, потрясая кулаками, выкрикивал:

— Товарищи пацаны! До каких пор будем терпеть?! Царя скинули? Скинули. Значит, должна быть свобода. А чего кадеты всю власть себе заграбастали и задаются?

Концы веревки, которой были подвязаны Васькины штаны, болтались и подпрыгивали.

— Почему богачи учатся читать и писать, а нас в школы не принимают?

Золотистые, как пшеничная солома, волосы на Васькиной голове росли буйно и неудержимо. Они сползали клиньями на виски, на высокий лоб, а на затылке даже закручивались в ксичку. Брови у Васьки были грозно сомкнуты, а голубые глаза метали молнии.

— Кадеты на ставок нас не пускают, купаться не дают, — продолжал он. — Вчера колбасник Сенька нашему Алеше Пупку голову проломил. Поглядите, вон у Алеши голова перевязана. За что сироту мучить? Мы с вами кто?..

Ребята не знали, как отвечать, и помалкивали.

— Я спрашиваю, кто мы?

Мне захотелось поддержать Ваську, и я выкрикнул:

— Пролетарии всех стран!

— Правильно! — одобрил Уча.

А Васька, ободренный нашими возгласами, продолжал:

— ...И если мы пролетарии всех стран, что мы, ставок у кадетов не отвоюем?

— Отвоюем! — поддержали ребята.

— Что мы, кадетам по шеям не дадим?

— Дадим! — загудели голоса.

— Царя кто скинул?

— Я! — выкрикнул Уча.

— Правильно! — подтвердил Васька. — Я сам видел, как Уча и Абдулка за веревку тянули. Значит, ставок теперь наш. Верно я говорю?

— Верно, верно! — одобрительно кричали отовсюду.

— Тут кадеты письмо прислали, — сказал Васька, — сейчас Ленька прочитает.

Я взобрался на тачку. Абдулка Цыган, у которого под глазом красовался лиловый синяк — «подарок» кадетов, порылся за пазухой и вместе с обрывками веревок, гвоздями и цветными стекляшками извлек черный конверт. Посредине конверта зловеще белели череп и две скрещенные кости.

При виде страшного письма все подались вперед.

— Смерть! — прошептал кто-то.

— Тише, может, там бомба, — сказал Илюха.

Я вскрыл конверт. К моим ногам упала желтая двадцатирублевая керенка.

Стукаясь лбами, ребята бросились поднимать.

— Глянь, деньги! Зачем это?

Васька взял из рук Илюхи керенку, повертел и кивнул мне:

— Читай, Лёнь, потом узнаем.

Я вынул из конверта тетрадный листок в три косых. На нем синими чернилами крупным красивым почерком было написано:

— *«Я вчера приехал из Петербурга, и мне пожаловались, что вы, оборванцы, не хотите повиноваться нам и даже деретесь...»*

Прочитав это, я запнулся.

— Читай, чего остановился? — загалдели ребята.

— Тут руганье, — сказал я.

— Читай, — зашумели вокруг, — читай все подряд!

— *«Кухаркины сыны, рабы презренные! Как вы смеете поднимать руки на своих господ? Свободы захотели? Я вам покажу свободу!..»*

Я взглянул на ребят. Задрав головы, они в недоумении глядели на меня. Я продолжал читать:

— *«А в общем, а ла гер, ком а ла гер¹, как говорят французы, сегодня я приду к вам с моим войском, и скажите там вашему сапожнику Ваське, чтобы он поклонился мне в ноги, когда приеду, а то я не люблю слушания!..»*

На этот раз поняли все и обиделись.

— А вот этого он не пробовал? — вскричал Уча, грозя костылем.

— Тише, не мешайте слушать.

Напрягая голос, я читал дальше:

— *«Приказываю собрать к моему приезду и сдать оружие. Кадет 4-го Санкт-Петербургского кадетского корпуса, 5-го класса Геннадий Шатохин»:*

Дальше шла приписка карандашом большими кривыми буквами:

— *«Выходите сегодня на пустырь, мы вам набем морды. А на 20 рублей нехай Васька закаже себе гроб. Гроза и молния — силач Семен Муромец (у которого кулаки смертью пахнут)».*

Когда я кончил читать, поднялся невообразимый свист, крики, топот ног.

Васька вскочил на тачку и поднял письмо:

— Что будем делать?

— Ответ писать!

— Не надо ответа!

— Бить кадетов!

— Голосуй!

— Кто за то, чтобы кадетов бить, подымай руки кверху. Вот так...

Мы дружно исполнили команду. Васька сурово оглядел нас и сказал:

— Против нема никого? Значит, объявляем кадетам бой... — Васька помедлил и добавил: — Не на живот, а на смерть!

На тачку взобрался Абдулка, которому кадеты передали письмо, и рассказал, как его поймали враги, как били, а потом приказали передать письмо. Абдул-

¹ На войне как на войне.

ка сказал, что сочинил письмо настоящий кадет, приехавший из Петербурга на побывку, а приписку сделал сын колбасника Цыбули Сенька. Кроме того, мы узнали, что вражеским войском будет командовать сам кадет, верхом на лошади и с настоящей шашкой.

— Кадета Генькой зовут, а отец у него генерал, — рассказывал Абдулка. — Этого Геньку слуги укачивают, когда он спать ложится.

— Не ври.

— Ей-богу, правда: кладут в люльку и качают.

— Выдумываешь...

— Да нет же. И это еще не все. Слуги ему штаны по утрам надевают.

— А сам?

— Не умеет.

— Вот гад...

— Ничего удивительного нет, — заключил Уча, — богачи что хотят, то и делают, с жиру бесятся. У них только птичьего молока нету.

— Есть, — выкрикнул Илюха, глядя на нас бесстыжими глазами, — я сам видел, как Генька птичье молоко пил!

Ребята рассмеялись, а Васька вскочил на тачку и яростно взмахнул кулаком:

— Долой десять министров-капиталистов!

— Долой! — поддержали мы, хотя никто из нас не понял, о каких министрах шла речь. Но если Васька сказал — значит, долой!

— Я ихнему Геньке пропишу письмо вот этим карандашом! — И Уча воинственно потряс костылем.

— Вась, а правда, что кадеты хотят обратно царя поставить? — спросил я.

— Уже поставили, — хмуро отозвался Васька, — только называется он не Николай, а... как-то... забыл.

— Керенский, — подсказал Абдулка.

— Верно. Этот кадетский царь Керенский только называется царем, а сам с виду мокрица: глянешь, и плюнуть не захочется.

— Какой же он?

— Поганый: волосы, как сапожная щетка, нос толстый, а правая рука за пазухой.

— Почему?

— Камень там держит... камень за пазухой, понятно?

— Правитель нашелся, — передразнил Уча. — Деньги свои выпустил.

Ребята стали разглядывать керенку, присланную колбасником. Она была похожа на обертку от дешевой конфеты. На ней, как и на царских деньгах, значился двуглавый орел, но какой-то ошипанный и без короны.

Васька продолжал:

— Я вам про войско Керенского рассказал бы, да боюсь, кишки со смеху порвете.

— Не порвем, Вась, расскажи.

— У него армия — одни тетки в юбках.

— Как тетки? — удивились ребята.

— А так. Набрал теток и разных женщин, одел их солдатами, дал винтовки и приказал: «Стреляйте!»

Ребята рассмеялись — кто недоверчиво, кто весело.

— Не может быть, чтобы тетки стреляли.

— Ей-богу, не вру.

— А командир тоже в юбке?

— И командир в юбке. Зовут Мадам, шапка солдатская, на ногах сапоги, а ружье кривое, вроде кочерги: целишь прямо, а пуля летит вбок.

Ребята покатывались со смеху.

— Это войско называется «Батальон смерти», — продолжал Васька под хохот ребят.

Уча спросил:

— Почему называется «Батальон смерти»?

— Потому, что с этого батальона можно обсмеяться до смерти.

Васька взял керенскую двадцатирублевку и наколот ее на пику.

— Не признаем кадетов! Мы большевики!

— Вась, расскажи про Ленина, — попросил Абдулка.

— После боя, сейчас некогда.

Васька сложил два кулака трубками и приставил к глазам. Как в бинокль, он долго оглядывал окрестности, откуда должен был появиться неприятель. Кадетский фронт проходил по бугру, а наш — понизу, вдоль речки Кальмиус.

— Еще рано воевать, расскажи про Ленина, — просили ребята.

Наконец Васька сел в густую лебеду. Мы расположились вокруг и затихли.

— Ленин добрый, потому что сам бедный, — начал Васька. — Если к примеру, ты, Уча, придешь к нему и скажешь: «Здравствуйте», — он перво-наперво спросит: «Ел сегодня?» Ты, конечно, застесняешься, скажешь: «Благодарствую, сыт». Так он, думаешь, поверит? Нет. «Садись, — скажет, — ешь, а после разговаривать будем». Он тебе последнее отдаст. Вот какой Ленин...

Ребята молчали, пораженные и очарованные рассказом.

— А верно, что его царь в цепи заковал?

— Верно. И в Сибирь угнал. А Сибирь знаете где? На самом краю света! За тыщу дней оттуда не дойдешь, не доедешь. А Ленин дошел. Тяжело было идти в цепях. Снег вот до сих пор, по самую грудь, а еще вьюги, мороз. Но Ленин не сдался: где пешком шел, где на паровозе. Приехал в Петроград (царь тогда в Питере жил). Пришел Ленин к рабочим на завод и говорит им: «Смотрите, братья, в какие цепи заковал нас царь», — и как-как рванет кандалы, они и рассыпались. Взяли рабочие красный флаг и пошли ко дворцу. А царь сидел на троне и водку пил. Ленин подошел и говорит: «Отдавай власть народу!» Царь отставил бутылку и отвечает: «Не отдам, а тебя еще дальше в Сибирь загоню». Тогда Ленин сказал: «Эх ты!» — и свергнул царя.

— Зачем же опять буржуям власть отдали? — спросил Уча.

— Они сами хитростью взяли, — объяснил Васька. — Переоделись в рабочую одежду, взяли в руки кто молоток, кто гаечный ключ, кто пилу, пришли в Совет и говорят: «Примите нас, мы тоже рабочие». Их приняли, а они ночью власть захватили и своего Керенского поставили.

— А Ленин сейчас где?

— Ленина рабочие спрятали. Буржуи ищут, никак не найдут. Двести тысяч рублей за голову обещали, убить хотят.

— Как ты сказал? — багровея, спросил Уча. — Нашего Ленина убить? Пошли на войну! — скомандовал он. — Я больше знать ничего не хочу. Пошли бить кадетов!

Наш главнокомандующий Васька еще раз оглядел в «бинокль» боевые позиции. В кадетском стане заметно было оживление. Там беспорядочно, как муравьи, двигались черные фигурки людей, по бугру разъезжал какой-то всадник.

Васька влез на тачку и вытер о штаны пальцы. Ребята оставили свои занятия и притихли в ожидании: сейчас Васька засвистит. Никто не умел свистеть так красиво, как Васька! Он ловко подражал птицам, умел свистеть с помощью мизинца, согнутого крючком, умел двумя пальцами, тремя, а то и вовсе без пальцев — одними губами, тогда свист выходил переливчатый, как песня жаворонка. У Васьки был свист-приказ, свист-окрик, свист-насмешка. Но если подаст сигнал к бою — вся кровь заволнуется!

Вот и сейчас не спеша и торжественно Васька заложил в рот четыре пальца, чуть-чуть откинулся назад, немного привстал на носки, и прозвучал воинственный, призывающий к бою свист.

— Подполковник Ленька, подавай команду! — приказал он мне.

Я вдохнул полную грудь воздуха и крикнул:

— Во-о-ру-жайтесь!..

2

Началась подготовка к сражению. Я надел валявшуюся у нас в сарае немецкую каску, привязал к пуговице рубашки кривую саблю, сделанную из обруча, и для красоты обвил ее красной ленточкой. За ремешок на каске я вдел два желтых одуванчика, чтобы всем было видно, что я главный подполковник. Высоко подняв голову, я покрикивал на ребят, а сам думал о том, что к одуванчикам на каске хорошо бы прибавить красный полевой мак. Я так и сделал, покосился в стеклышко: красиво! «Теперь бы Тоньке показаться», — подумал я. А она, глупая, как увидела, так и привязалась: «Возьми да возьми воевать». Я знал: Васька заругает меня, скажет: «Кого привел? Не хватало еще, чтобы и у нас, как у Керенского, солдаты в юбках были». Но Тонька со всех ног помчалась на Грязную, и уже нельзя было ее остановить.

Между тем в степь на тачках подвозили оружие: гайки, камни, обломки черепицы. Ими стреляли с по-

мощью металок. Чтобы «выстрелить», нужно вращать металку вокруг головы вместе с камнем, а потом бросить свободный конец веревки, и камень с визгом полетит во врага.

Таковыми металками были вооружены многие. Кроме того, имелись палицы — тяжелые дубинки с гвоздями. Были у многих железные прутья, загнутые на концах наподобие кочерги. Такими крючками хорошо хватать неприятеля за шею или за ногу.

Прикатали пушку, которую смастерили из самоварной трубы и резиновых подтяжек. Колеса у пушки были разные: одно от старой тачки, другое от разбитого фаэтона, да и стреляла пушка недалеко, зато смотреть на нее было страшно.

Армия у Васьки была небольшая, но надежная, Васька имел пять подполковников. Главный — я. Второй — Уча.

Если разобраться по совести, то главным подполковником должен быть Уча, а не я. Уча был на улице первым бойцом — ловким, горячим, смелым, хотя и без одной ноги. На зависть ребятам, он ловко лазил по деревьям, дальше всех скакал, хорошо плавал. Взберется на вышку над ставком, бросит в воду костыль, а сам ныряет за ним вслед, смешно дрыгая ногой. В бою Уча был незаменим. Он орудовал своим костылем, как пашкой, пикой, а когда нужно, и дубинкой. В редком бою кто-нибудь сбивал его на землю.

Третьим подполковником был Абдулка Цыган, по характеру добрый, но вспыльчивый: если рассердится — убегай, чем попало стукнет. Отец и мать у него были татары, и почему сына звали Цыганом, никто не знал. Абдулка умел танцевать по-татарски. Часто, собравшись где-нибудь у двора, мы просили его поплясать. Он ходил по кругу, пошлепывая ладонями себя по бедрам и напевая:

Алдым балта,
Салдым тамга,
Имянга тугель талга.

Четвертым подполковником Васька назначил Алешу Пупка. Алеша был очень бедный. Штаны, сшитые из мешка, продырявились на коленках, а сбоку, наискось, виднелось клеймо, которое можно было прочитывать издалека: «Пшено».

Алеша редко бывал с нами, потому что ему приходилось добывать пропитание для больной матери. У Алеши был красивый голос, и он знал много песен. Он бродил по улицам, мимо землянок, посадив к себе на плечи верхом маленького братишку и придерживая его рукой за пятку. Другую руку он протягивал за милостыней и пел такие грустные песни, что сердце сжималось:

А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами звенит...

Пел он и шахтерские песни — про коногона, про то, как Маруся отравилась, но особенно трогала меня арестантская песня:

Далеко в стране иркутской,
Между двух огромных скал,
Обнесен большим забором
Александровский централ.
На переднем на фасаде
Больша вывеска висит,
А на ней орел двуглавый
Позолоченный блестит...

Алеша так трогательно пел эту песню, что хозяйки выходили за калитку и подолгу слушали, вытирая слезы фартуками. Женщины выносили ему из землянок что у кого было.

Сегодня Алеша пришел только затем, чтобы отплатить своему заклятому врагу — Сеньке Цыбуле.

Появился у Васьки и пятый подполковник — Пашка Огонь с Пастуховского рудника. Тот узнал на базаре, что мы будем драться с кадетами, и пришел со своими ребятами на подмогу.

— Молодец, шахтер, — сказал Васька и похлопал Пашку по плечу, — займешь со своими ребятами правое крыло.

— Есть, слушаюсь! — ответил Пашка и взял под козырек.

3

Подготовка к наступлению была закончена. Тоньку отстранили было, но она так заныла, что Васька не выдержал и назначил ее сестрой милосердия.

Грозная наша армия высыпала на пустырь. С горы доносился воинственный гул.

Мы знали: пощады в этом бою никому не будет.

Наша вражда с кадетами тянулась с давних времен, хотя причиной предстоящего боя была ссора в церкви.

Произошло это в прошлое воскресенье.

В церкви, как всегда, было торжественно и празднично. Тысячи огоньков от лампадок и свечей отражались в люстрах, в серебряных крестах, в позолоте икон, все вокруг сверкало, как в солнечный день. В церкви плавал аромат ладана. На клиросе церковный хор пел: «Победы Временному правительству на сопротивные даруя...»

Гнусавил поп, заглядывавший в огромную медную книгу, а мы с нетерпением переминались с ноги на ногу, ожидая причастия сладким вином, из-за которого мы и пришли в церковь.

От скуки я то затыкал, то открывал уши, отчего получалось сплошное «ува-ува...».

Когда мне это надоело, я занялся другим: зажмуришь левый глаз — видно алтарь и попа, правый — виден хор. Потом я начал разглядывать людей.

Спереди стоял отставной генерал помещик Шатохин с женой, толстой и румяной старухой. В церкви было тесно, но позади генеральши на целую сажень никто не стоял, потому что на каменном полу лежал длинный хвост ее платья. Молящиеся боялись наступить на него. Рядом с генералом выпятил грудь плюгавый юнкер, державший на полусогнутой руке военную фуражку с кокардой. За его спиной молился жирный колбасник Цыбуля.

У входной двери понуро стояли рабочие в чистых рубашках, с новыми картузами в руках, бедные женщины, солдаты-калеки.

Генерал Шатохин в торжественной тишине оглуительно сморкался в большой белый платок. Рядом с его ногами, обутыми в зеркальные штиблеты, чернели наши грязные, покрытые цыпками, босые ноги. Невдалеке, возле высокого, закапанного воском медного подсвечника, молились наши исконные враги — кадеты. Они с презрением поглядывали в нашу сторону и незаметно подвигались к алтарю, не желая уступать нам очередь во время причастия.

Васька следил за ними исподлобья и подталкивал нас вперед.

Вдруг от кадетов отделился маленький шкетик в кадетской форме и на цыпочках прошел мимо, больно наступив мне на ногу.

— Уходи отсюда! — угрожающе шепнул он и стал позади.

Другой, с широким носом, толкнул меня в бок, а третий, огромный верзила, подошел и стал впереди, заслонив собой алтарь и попа.

В это время хор грянул: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Поп вынес из алтаря золоченую чашу и блестящую ложечку.

Мы ринулись вперед. Васька схватил за полу кадета, оттянул его назад, а сам шагнул к попу.

Кадет разозлился и, когда Васька наклонился для благословения, чем-то уколол Ваську сзади.

Васька вздрогнул и поддал головой чашу, которую поп держал в руке. Вино плеснулось и облило золоченую ризу.

— Кровь Христову разлили!

Молящиеся шарахнулись в сторону.

— Богохульники!..

— Тикай! — крикнул мне Васька и бросился к выходу.

Я побежал за ним, ныряя в щели между молящимися.

Позже мы узнали, что кадетов, виновных в пролитии «крови Христовой», высекли розгами.

С того дня нам была объявлена война. Если кто-нибудь из наших попадался в центре города, кадеты ловили его и, прежде чем предать пленного лютой казни, спрашивали: «Кадет или нет?» Скажешь «нет» — побьют, скажешь «кадет» — тоже отлупят: «Не ври, у нас нищих нет». Враги, насмехаясь, заставляли нас есть землю, грызть камни, спускали на нас цепных собак.

Мы тоже не оставались в долгу и, если на окраине попадался кадюк, давали волю кулакам. Но кадетам незачем было ходить на окраину, а мы каждый день бегали в город, потому что там были киноиллюзион и цирковой балаган, поэтому нам попадало чаще. Кадеты просто-напросто не давали нам жить. Если к этому прибавить, что они стояли за войну, а потом и царя

откуда-то выкопали, мы не могли стерпеть такое. Тогда и решил Васька свергнуть кадетов, отнять у них власть.

4

И вот пробил час расплаты.

Кадеты кинулись в наступление первыми. Их было человек сто. Враги шли с горы стройными рядами, уверенные в себе. Чувствовалось, что они на кого-то надеялись и этот «кто-то» был временно припрятан.

Впереди с топориком в руках шагал колбасник Сенька. Справа от него — коренастый гимназист с царским флагом.

У каждого кадета сбоку висела сумка с камнями. Враги надвигались сплошной стеной, и от этого становилось не по себе. Васька воинственно взмахнул железным крюком.

— Флаг вперед! — скомандовал он. — Не бойсь!

Кадеты приблизились настолько, что можно было разглядеть выражение лиц. Обе армии остановились. Началось, как всегда, с обидных песенок-припевок. Кадеты начали первыми. Сенька запел хриплым голосом:

Пароход идет
Мимо пристани.
Будем рыбу кормить...

Сенька подал команду, и кадеты дружно выкрикнули:

Коммунистами!

Васька отдал приказ Алеше Пупку:

— А ну, отвечай буржуям!

Алеша вышел вперед и запел:

Николай любил малину,
А Керенский виноград.
Николай пропил Россию,
А Керенский Петроград.

Частушка задела кадетов, и они перешли на оскорбления. Начал колбасник:

— Эй, голоштанники! Заплатки с доскутами разговаривают!

— Продай колбасы вонючей! — отвечал ему гречонек Уча.

— А ты грек — соленые пятки!

Сенька взмахнул топориком:

— Запасайтесь гробами, сапожники! — и скомандовал: — По большевикам, ро-о-та, пли!

Сенька первым кинул в нас чугунную плитку, за ним последовали остальные.

— Бей рабочих и крестьян!

— Лупи шаромыжников! Ура!

Лавина камней обрушилась на наши ряды.

Камни со свистом пролетали у нас над головами, ricoшетом отлетали от земли и ранили ребят.

Наши выкатили пушку, но старые подтяжки подвели, и «снаряды» падали, не долетая до врага.

Я оглянулся и увидел, как некоторые из нашего войска попятились, как трусливо присел в канаву Илюха.

— Вася, наши тикают!

Он оглянулся и взмахнул железным прутом:

— Не отступать! — И бросился вперед, пряча голову от летящих камней, отскакивая или подпрыгивая, если камень пролетал понижу.

Пашка Огонь бесстрашно следовал за ним. Уча надел на голову старое ведро и запрыгал навстречу каменному ливню. О ведро ударялись камни, разбрызгивая ржавчину, но это не задерживало Учу. Васька раздавал удары направо и налево.

Я смотрел, как храбро дерется Васька, и мне сделалось стыдно, что я опять робею, вспомнил нашу клятву на костре и почувствовал, как во мне что-то зажглось.

— Не отступать! За мной! — крикнул я, и мне стало совсем не страшно. Нагнув голову и зажмурившись, я бросился в самую гущу врагов.

Началась рукопашная.

В это время появился всадник на белом коне. Он вертел над головой сверкающей шашкой и что-то кричал. Ко мне донеслись слова:

— Господа, война до победного конца! С богом, вперед!

Я узнал того самого кадета, с которым столкнулся

в его доме в день свержения царя. Теперь, с шашкой, он казался еще страшнее. Голос у него был властный — не хочешь, испугаешься.

Кадет с ходу въехал в самую свалку, высоко подняв шашку.

— Да здравствует Александр Федорович Керенский! Ура! — выкрикнул он и чуть не упал с лошади, которая, испугавшись чьей-то палки, отпрянула в сторону.

Кадет сильно натянул повод и успокоил коня. С важным видом он подъехал к Ваське. Мы замерли. Остановились и враги.

Перед армиями лицом к лицу встретились двое командующих.

Кадет привстал на стременах, оглядел нас и спросил:

— Ну-с, кто тут свободы хотел?

Мы молчали.

Кадет вскинул шашку и повторил:

— Подходите, буду свободу выдавать!

Сенька, стоявший позади, хмыкнул в кулак.

Кадет все время делал вид, что не замечает Ваську. И вдруг, будто нечаянно увидел, посмотрел на него свысока, скривил губы в усмешке. Острым концом шашки он поддел и сбросил с Васькиной головы картуз.

— Это ты, что ли, сапожник Васька? А ну, повторяй за мной: «Да здравствует Александр Федорович Керенский!»

Васька сжался, готовясь к прыжку.

Кадет занес шашку, холодно блеснувшую в лучах солнца.

— Я тебе что приказываю, мерзавец? Кланяйся мне в ноги, ну?

Нет, что ни говори, а Васька был красивее кадета. Тот был какой-то плюгавый, а Васька — богатырь! Он смотрел на кадета исподлобья и молчал, держа прут обеими руками. Его загорелые плечи отливали медью.

Я боялся за Ваську: вдруг кадет рубанет сдуру по голове.

— Последний раз предупреждаю! — повелительно произнес Генька Шатохин. — Повторяй за мной: «Да здравствует...»

— На что мне сдался твой вшивый Керенский! — сказал Васька, поднял прут и воскликнул: — Да здравствует Ленин!

— Ур-ра!.. — подхватили мы.

Кадет ударил Ваську шашкой плашмя. Васька присел, но не от удара, а чтобы самому ловчее размахнуться. Он так стеганул прутом по морде лошади, что кобыла взвилась на дыбы. Кадет съехал набок, судорожно охватив руками и ногами туловище лошади. Шашку он выронил.

Васька схватил кадета за ногу и сдернул на землю.

Лошадь ускакала. Кадет потянулся было за шашкой, но Васька наступил на нее ногой.

Заложив два пальца в рот, наш командир пронзительно засвистел.

Мы бросились на врагов. Уча подскочил к знаменосцу, сбил его на землю и вырвал флаг. Кадеты побежали. Сенька-«силач», отступая, махал вокруг себя топориком и почему-то громко кричал:

— Ур-ра-а!!!

Кадетский барабанщик испуганно поднял руки:

— Сдаюсь, сдаюсь...

Ребята налетели, сбили Сеньку и взяли его в плен.

Доблестная наша армия под командой разгоряченного Учи с криком и свистом преследовала противника, а мы, телохранители Васьки, стояли около него.

Генька со связанными за спиной руками валялся на земле у Васькиных ног. Лицо у него было бледное от ненависти.

— Развязать хвастуна, — приказал Васька, не глядя на кадета.

Я подошел к пленному и развязал крепкий узел. Кадет медленно поднялся, стоял угрюмый, лишь глаза бешено сверкали.

Полагалось арестовать кадета по всем правилам: отнять все вещи, и я стянул с него португеею вместе с пустыми ножнами, подобрал саблю, вложил ее в ножны и надел на себя.

Генька метнулся ко мне:

— Отдай шашку, мерзавец!

Но я показал кадету свою кривую обручевую саблю и сказал:

— Замри, буржуй!

Васька посмотрел на ребят:

— Что будем делать с пленным?

— Бить, — коротко предложил Цыган.

— Налить ему воды в ухо, чтоб он с ума сошел, — подсказал Илюха.

— Как вы смеете! — закричал кадет. — Я скажу папе, он всех вас повесит.

Васька с презрением глядел на врага.

— Кланяйся мне в ноги, — спокойно приказал он.

— Как ты смеешь!.. — вскричал кадет и заплакал.

— Не хочешь? — грозно проговорил Васька. — Или, может, не знаешь, как нужно кланяться? А ну-ка, Абдул, помоги ему.

Цыган подошел сзади и принялся гнуть голову кадета к земле.

В это время на горе показалась девочка. Ее короткое голубое платье трепетало на ветру, как пламя.

— Геннадий! Геня! — кричала девочка. — Они убьют тебя, Геня!

Она подбежала к нам, плача, хватала с земли комья и бросала в нас.

— Дикари! Вот вам, вот вам! — выкрикивала она.

Я узнал кадетку. Это она дала мне в день свержения царя кусок белого хлеба и не позволила брату бить меня. Глаза у нее были голубые, как платье. Вся она была чистая и казалась хрупкой, словно бабочка.

Васька взглянул на свой грязный, оцарапанный живот и смутился. А я застеснялся своей обручевой сабли, небрежно отбросил ее в сторону и выпятил грудь.

Тонька при виде кадетки так и оцетинилась вся, точно кошка. Она воинственно утерла рукавом нос и двинулась на кадетку:

— Ты шо, а? Ты шо?

— Не тронь! — строго приказал Васька и тяжело, вперевалку зашагал с горы.

Мы молча двинулись за ним.

Кадет поднялся и, как бы не веря тому, что легко отделался, пошел к себе, прихрамывая на правую ногу.

Кадетка бежала за ним впритруску и говорила в спину:

— Вот я скажу папе, все скажу.
Я догнал ребят, и мы, окрыленные победой, дружно запели:

Раз, два, три,
Мы — большевики.
Мы кадетов не боимся,
Пойдем на штыки!

5

Мы уже подходили к месту, откуда начали наступление, как вдруг с Грязной под свист и хохот выскочил колбасник Сенька. Он бежал в коротеньких штанишках. Высокая лебеда хлестала его по голым коленкам. За Сенькой, подпрыгивая и громыхая, волочилося привязанное к ноге ведро.

Васька бросился наперерез, повалил Сеньку на землю и придавил грудь коленом:

- Ты зачем на Ленке верхом ездил?
- Я больше не буду-у, Вась...
- А гроб ты кому заказывал в письме?
- Это я... не я-а... — заплакал Сенька.
- А ставок теперь чей?
- Ваш. Пусти! Я тебе колбасы вынесу.

Васька даже сморщился от брезгливости к Сенькиной колбасе.

— Тикай отсюда вместе со своей вонючей краковской.

Сенька во весь дух пустился бежать, но я успел огреть его по спине палкой.

Из-за угла навстречу к нам вышли трое. Среди них был Алеша Пупок.

Один из ребят, смеясь, протянул Ваське плюшевые Сенькины штаны и объяснил:

- У колбасника сняли.
- Васька передал штаны Алеше:
- Возьми. Он, гадюка, мучил тебя.

Алеша взял штаны лавочника, но не надел их, а, отойдя в сторону, зачем-то начал собирать обрывки бумаги, палочки и сухую траву. Сложив все это в кучу, он поднес спичку и (непонятный мальчик был этот Алеша) бросил в огонь новые штаны и убежал. Ребята едва спасли их.

Мы с Васькой взяли кадетский трехцветный флаг



и, спрятав под рубашкой Генькину саблю, залезли на чердак. Там мы осмотрели саблю. Она была тяжелая. Длинное холодное жало зловеще поблескивало в полутьме и вызывало чувство страха.

Васька заметил на шашке какую-то надпись. Мы подошли к слуховому окну. На окованной серебром ручке было выгравировано: «Его превосходительству генералу от инфантерии С. П. Шатохину за боевые заслуги».

Мы испугались: оказывается, сабля принадлежала самому генералу. За нее могло влететь.

Что делать? Отнести в Богодуховскую балку или закопать в землю? Потом мы придумали: бросим ее ночью в ствол старой шахты «Италия».

Но и это было опасно, по дороге кто-нибудь мог увидеть саблю. Пошептавшись, мы наконец решили спрятать ее у нас на чердаке под черепицей. Васька сказал, что она может пригодиться рабочим.

Спрятав саблю, мы потихоньку спустились с чердака. Васька созвал ребят и объявил:

— Пошли купаться на ставок. Теперь в городе наша власть и ставок наш... А еще контрибуцию будем с кадетов получать.

6

В Скоморощинской балке за вторым ставком плавал аромат цветущего воронца. Возле криницы, где из-под камня бил светлый ключ, росли незабудки, а выше, по склонам, — болиголов, иван-чай, барвинок, ладан, чабрец, а больше всего шалфея. От него вся степь казалась лиловой.

Мы нарвали по целому пучку шалфея, очищали длинные сочные стебли от жесткой кожуры и жевали. Было вкусно. От цветов пахло медом.

Мы торжествовали победу.

Кадеты, где бы ни появлялись в этот день, прятались от нас. Одного гимназиста мы взяли в плен и заставили стеречь наши вещи.

Мы разделись, соорудили себе шляпы из лопухов, вымазались грязью и бегали друг за другом.

Приятно было разбежаться с берега и ринуться в прохладные волны ставка: брызги, пена, крик, солнечные блики на воде — как весело!

Накупавшись вволю, отпустили пленного гимназиста, приказав ему передать своим, чтобы они не появлялись на ставке без нашего разрешения.

Как победители, мы надели пестрые венки на нестриженные головы.

Синеющие степные просторы рождали чувство свободы. Теперь все принадлежало нам: и ставок, и степь, и даже шахты, потому что там, под землей, работали наши отцы.

Мы возвращались домой через степь. Уча нашел в траве помятый медный самовар, привязал к нему веревку и потащил за собой, крича: «Керенского волоку!»

Тогда я поднял валявшийся под ногами опорок и надел его на палку. А Васька неожиданно скомандовал:

— Стойте! Объявляю расстрел керенского правительства!

Он взял старый самовар, отобрал у меня опорок, сам нашел в канаве бутылку из-под керосина, огрызок веника. Все это он выставил на бугорке рядышком и объявил:

— Это будет Керенский! — И указал на самовар. — А это Милюков. — Васька кивнул на опорок. Под смех ребят он определил, что веник будет Гучковым, а бутылка — Родзянкой. Никого не забыл Васька из керенского правительства, всех присудил к смерти.

Полкан словно почувствовал, что затевается что-то необыкновенное, стрелой носился вокруг выставленных вещей, лаял на них, скреб лапами землю.

Мы набрали полные руки камней.

— Усы Керенскому подрисуй! — кричал Абдулка.

— Бороду из мочалки прицепи!

Васька взял пучок грязной мочалки и повесил ее на кран самовара.

Ребята покатывались со смеху.

Васька поднял увесистый камень, отошел в сторонку и подал команду:

— По Временному правительству залпом — пли!

С первого же раза у самовара-Керенского отбили нос (кран). Бутылка-Родзянко разлетелась вдребезги. Опорок-Милюкова сбил я.

Полкан вцепился зубами в опорок и начал трепать

его, потом помчался по степи и снова рвал, прижав его лапой к земле.

До чего было весело!

Разделавшись с «Временным правительством», мы пошли по степи.

Вдали показался старый террикон заброшенной шахты «Италия».

Илюха рассказывал, будто бы с тех пор, как здесь случился взрыв, из-под земли доносится церковное пение.

С чувством страха мы вошли внутрь. Здание шахты над стволом почти обвалилось. Узкие ржавые рельсы у ствола обрывались в пропасть.

Мы склонили головы над стволом. Оттуда несло затхлой сыростью. Уча крикнул в ствол: «Эй!» — и в глубине послышалось эхо, точно кто-то отзывался в черной утробе ствола. Илюха бросил туда кусок породы, послышался шум ветра, короткие удары камня о стены колодца, и наконец долетел еле слышный всплеск.

С чувством облегчения покинули мы это мрачное здание. И когда вышли, увидели, как небо потемнело. Надвигалась черная-пречерная туча с косматыми белыми клочьями по краям. Вдали рокотал гром.

7

Мы ускорили шаги и уже подходили к окраине города, когда навстречу высыпала толпа ребят. Испуганным шепотом они сообщили, что в городе паника: милицейские Временного правительства ищут какую-то генеральскую саблю из чистого золота.

Мы с Васькой переглянулись и, ни слова не говоря, полезли на чердак. Там мы достали генеральскую шашку и решили сейчас же бросить ее в ствол шахты «Италия».

Слезая с чердака, мы слышали конский топот и вернулись. В слуховое окно была видна часть улицы. И на ней множество всадников. Один был юнкер, остальные милицейские Временного правительства с белыми повязками на рукавах и двумя буквами «Г. М.». Среди них прохаживался переодетый в гражданскую одежду бывший городской Загребай.

Гром в небе рокотал непрерывно, подул сильный ветер.

Верховые спешили около Васькиной землянки. Двое прошли в наш двор, остальные — к Ваське. Видно было, как во дворе перекапывали землю, что-то ломали в сарае. Потом двое милицейских вынесли из Васькиного двора охапку железных пик, самодельных шашек. Васька схватил меня за руку.

— Пики с шашками нашли, — сказал он.

— Какие пики?

— У нас спрятаны были. Отец твой ночью привез.

— Зачем?

— Тебе, ей-богу, как маленькому, все Расскажи да в рот положи, сам не догадаешься... Не помнишь, что ли, зачем рабочие в Петроград ездили?..

Мы сидели на чердаке, прислушиваясь к говору во дворе, но не могли разобрать ни слова из-за шума дождя. Вдруг так ударил гром, как будто треснула земля. В слуховом окне сверкнула молния, осветив темный чердак. Было страшно выглядывать в окошко, но я все-таки подошел и увидел, как моего отца вывели из дому и, ударяя по спине прикладами, погнали по улице. Не сразу понял я, что отец арестован, что его повели в тюрьму. Громкий плач матери больно отозвался в моем сердце.

— Что же это делается, Анисим? — сквозь слезы спросила она у Анисима Ивановича, который выкатился на своей тележке. — У генерала саблю украли, а они весь город на ноги подняли, невинных людей в тюрьму забирают.

— Не в сабле дело, Груня, — сказал Анисим Иванович. — Это хитрость. Им повод нужен для обыска. Оружие ищут, народа боятся. — Помолчав, Анисим Иванович сказал: — Травят нас буржуи. Куда ни глянь — меньшевики, эсеры. В комитете они, в Совете тоже. В милицию валом повалили бывшие городовые, только мундиры сменили на пиджаки.

— Доколе же так будет, Анисим? — спросила мать. — Ведь сколько говорили про свободу!

— Свобода! — сказал Анисим Иванович. — Какая может быть свобода, если власть у колбасника Цыбули? Подумай, какая это свобода? Свобода угнетать и грабить трудового человека, свобода жиреть и купаться в золоте. А мы с тобой как имели одну свободу —

умирать с голоду, так и остались с ней... Но я скажу: рано буржуи вздумали хоронить революцию. Революция живет и скоро покажет себя. Погоди, Груня, соберемся с силами. Недолго осталось ждать. Не сегодня-завтра грянет над Россией буря, великая грянет буря!..

Мы все еще боялись слезать с чердака и сидели там, забившись в угол. Вдали рычал гром. Иссиня-черная туча прошла над городом и удалялась в степь, ворча и огрызаясь молнией.

Часть вторая

БУРЯ

Глава седьмая

ОКТАБРЬ

*Вставай, проклятем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.*

1

Хуже нет — быть бедным!

Сиди в тесной землянке, как птица в клетке, и тоскуй, и дыши на заиндевевшее окно, чтобы хоть в глазок увидеть улицу, а в городе с самого утра идет пальба, да такая, что усидеть невозможно.

Началась война с буржуями. Говорят, у Юза отобрали завод. Прибегал Абдулка и кричал в окно, что Цыбулю — комиссара Временного правительства — арестовали. Сейчас самое время поймать Сеньку и отплатить за то, что катался на мне верхом. Хорошо бы... Но я не могу даже из дому выйти — не во что мне обуться, башмаки изорвались.

Хотя бы мамка ушла, надел бы ее туфли, но она сидит дома и тревожно взглядывает на дверь — отца ждет.

Вчера она не спала всю ночь, шила красный флаг. Теперь этот флаг развевается где-то, а я даже не знаю где. В доме все опостылело: глаза бы не глядели на хромоногий, скрипящий на все лады кухонный стол. Наверно, ни у кого не найдешь такого, как у нас, чайника-урода с отбитым носом — так бы и треснул им о стену...

В который раз я уныло выглянул в окно: улица была пустынна. Ветер кружил на дороге каруселью клочки бумаги пополам с пылью и со свистом мчался по улице, шатая заборы и хлопая калитками.

Где же Васька, друг мой? Никто не приходил.

Вдруг под окном раздался цокот копыт. Я прильнул к стеклу, и сердце мое замерло: я увидел отца верхом на лошади.

С тех пор как рабочие освободили его из тюрьмы, он почти не бывал дома. Мать носила ему куда-то обед.

Я метнулся к двери.

Отец вошел, высокий и худой, в скрипящей кожаной одежде. Даже брюки были кожаные. На ремне через плечо висел настоящий револьвер.

Вместе с отцом вошли двое рабочих. Один безусый паренек с озорными глазами, второй постарше. Потом вошел еще один в черном пальто и в сапогах, с железным ломом в руке.

— Живей, хлопцы! — сказал на ходу отец. — Здравствуй, мать, собери поесть.

Отец снял кожаный картуз и повесил его на гвоздь.

Он прошел вместе с рабочими за перегородку.

— Федя, давай лом!

Отец отодвинул от стены кровать, принял от Феди лом и ударил острием в стену.

Я не понимал, зачем отец ломает дом. А он бил в стену, ковырял ее и скоро выломал саманный кирпич. Рабочие опустились на колени и начали молча и торопливо разбирать стену.

— Довольно, хватит, — сказал отец и запустил в пролом руку по самое плечо, пошарил там и вытащил винтовку.

— Бери, — сказал он, обращаясь к тому, кто стоял рядом с ним, а сам снова полез рукой в пролом.

«Вот так новость! Как же это я не знал, что у нас в доме хранились винтовки?»

Отец достал еще две винтовки, потом вынул узкий цинковый ящик, за ним другой, третий. Федя приоткрыл крышку одного из ящиков, и я увидел патроны, настоящие золотисто-медные патроны в обоймах.

— Все, хлопцы, тащите поскорее! Я через полчаса приеду.

Когда рабочие ушли, отец подсел к столу. Я смотрел на него со страхом и гордостью. Отец был тот и не тот. От него пахло как-то особенно — порохом и кожей.

Отец взглянул на меня, и усы его разошлись от улыбки. Я почувствовал на своей голове теплую отцовскую ладонь.

— Как живем, сынок?

— Башмаки изорвались...

— Это не беда. Ты вот почему пуговицу не пришьешь?

— Мамке некогда.

— А ты сам. Все должен сам делать. На мамку не надейся — вдруг придется без мамки жить?.. Постой, постой, за наган не хватайся. Лучше скажи, ты про Ленина слышал? Он тебе письмо прислал. — Отец пошарил в карманах кожаной куртки, вынул зеленый бумажный сверток и протянул мне: — Держи!

Сам он взял деревянную ложку и начал обедать. Я развернул бумагу и прочел:

Радио Совета Народных Комиссаров

30 октября (12 ноября) 1917 г.

Всем. Всем.

Всероссийский съезд Советов выделил новое Советское правительство. Правительство Керенского низвергнуто и арестовано. Керенский бежал. Все учреждения в руках Советского правительства.

Председатель Советского правительства
ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

На другом листе, размером побольше, был изображен рабочий, весь красный, даже кепка красная. В левой руке рабочий держал винтовку, а правой указывал прямо на меня:

СТОЙ! ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В КРАСНУЮ ГВАРДИЮ?

Записался аж два раза! Ребята подумают, что я из-за трусости не записался, никто не поверит, что у меня башмаки изорвались.

Наскоро поев, отец отодвинул тарелку и поднялся из-за стола.

— Груня, собери харчей, уйду надолго.

Мать заплакала, стала просить, чтобы он не уходил, говорила о том, что всю жизнь он скитается: то сидит в полицейских участках, то прячется в погребах у соседей, а у нее сердце изболелось. Когда же будет конец мукам? Мать глядела на отца, и слезы скатывались по ее щекам, точно живые.

— Вот это нехорошо,— сказал отец смущенно.— О себе сейчас не время думать. Решается судьба: будут рабочие люди рабами или победят и начнут новую жизнь, где самыми почетными словами станут слова «шахтер», «литейщик», «кузнец»... Эх, Груня, такая жизнь настанет! А ты плачешь. Ну? Ты ведь умница, правда? Ты ведь не плачешь?— спрашивал отец, вытирая слезы на глазах матери.

Она улыбнулась грустно:

— Уже не плачу. Поезжай... Храни вас всех господь...

2

Больше терпеть не было сил. Едва отец уехал, а мать ткнулась лицом в подушку, я украдкой надел ее туфли и побежал к Ваське.

На улице дул пронизывающий ветер. Тусклое, запыленное солнце по-осеннему низко висело над степью. Казалось, будто холод исходит от него.

Васьки дома не было. Я стоял посреди двора, соображая, куда мог деться Васька.

Неожиданно со стороны угольного сарая ко мне донеслись приглушенные голоса. Я прислушался. За деревянной стеной говорил рыжий Илюха:

— Ленька не пойдет. Он сдрейфит.

— Кто? Ленька?— слышался Васькин голос.— Чтобы мой помощник да сдрейфил?

— Конечно, побоится, известный трус,— упрямо твердил Илюха.

Еще не зная, что происходит в сарае, но полный обиды, я рванул дверь. Дребезжа и волочась по земле подгнившими досками, дверь приоткрылась. Запахло старой обувью. В полумраке я с трудом разглядел лица ребят. На куче угля сидел Илюха и ковырял заржавленным штыком землю. Рядом, вытянув единственную ногу, стругал деревянную саблю Уча. Васька, заложив руки за спину, деловито ходил по сараю из угла в угол. Абдулка Цыган сидел у самой двери и зачем-то разрывал на полосы свою красную рубашку. Старый пиджак был накинут у него на голое тело. Я сжал кулаки и двинулся на Илюху:

— Ты что тут наговариваешь на меня? Кто побоится?

Илюха вздрогнул от неожиданности, но спохватился и ласково проговорил:

— А вот и Леня пришел, садись сюда, здесь мягче.

— Ты зубы не заговаривай: кто трус?

Илюха, защищаясь, поднял руки к лицу:

— Я понарошку, а ты думаешь, правда.

— Смотри, а то так стукну, что из глаз звезды посыплутся.

— Ну, будет вам! — строго сказал Васька и, кивнув мне, добавил: — Садись на заседание.

Я присел на голубиную клетку и начал заседать.

— Слушайте, что я буду говорить...

Васька не спеша прошелся по сараю и стал рассказывать о том, как в Петрограде сбежал от рабочих Керенский. Пришли арестовать его, а он выпрыгнул в окно, переоделся в огороде в женскую кофту, только юбку не успел надеть, так и остался в галифе. Что делать? Тогда он покрылся длинной шалью, взял в руки корзинку и пошел. Красногвардейцы пропустили его, думали, идет какая-то тетка на базар. А он выбрался за город, корзинку бросил — и тикать. Рабочие спохватились, да поздно. Так и убежал Керенский далеко, аж в какую-то Америку.

— В царском дворце в Петрограде живут теперь рабочие, — с гордостью рассказывал Васька, — едят из золотых царских тарелок, смотрятся в царские зеркала...

— Ух ты!.. Наверное, и спят на царевой постели, — сказал Уча.

— Выдумаешь, — возразил Илюха, — на царскую постель разве заберешься? Там одних перин сто штук до самого потолка.

— Ну и что? Лестницу подставь и полезай, зато мягко спать.

— Вась, а Ленин тоже там? — спросил Абдулка.

— Нет, Ленин не захотел в царском дворце жить.

— Почему?

— «Почему, почему»!.. Противно, вот почему. Ленин живет в домике. Небольшой такой, с палисадником.

— Откуда ты знаешь?

— Опять двадцать пять — откуда, зачем, почему. Тебе говорят, значит, слушай.

Радостно было от того, что рассказывал Васька. Но оказалось, не все у нас так хорошо, как хотелось бы. Какой-то генерал Каледин, помощник Керенского, не признает рабочую власть и послал на наш город казаков. Ими командует фон Графф. Не тот фон Графф, которого рабочие чуть не бросили в ствол шахты, а его сын Колька фон Графф. Калединцы подошли уже близко и хотят захватить город. Надо спасти положение.

Вопрос решили быстро: в красногвардейцы записываемся все. Оружие пока у каждого свое.

Работа закипела. Абдулкины красные лоскуты мы прикрепили кто на рукава, кто на шапку.

— Значит, так, — закончил Васька. — Ленька будет моим главным помощником, а ты, Уча... Эх!.. — Васька сокрушенно почесал за ухом. — Не годишься ты с одной ногой на лошадь. Ну ладно, пешком воевать будешь. Пошли! Только смотрите, кто боится, лучше сразу признавайтесь. — Внезапно он ткнул в меня пальцем: — Божись, что не сдрейфишь!

— Ей-богу, — скороговоркой выпалил я.

— Не так. Что ты божишься, как в церкви? Со злостью божись!

Я шагнул на середину сарая и поднял кулак:

— Чтоб я... нет, не так, погодите... чтоб меня на том свете черти на сковородке жарили, чтоб...

— Довольно, — сказал Васька. — Уча, божись.

Ребята божились не менее яростно. Абдулка даже ругнулся от усердия. Только Илюха оробел, еле слышно выговорил «ей-богу» и торопливо перекрестился.

— Теперь пошли! — сказал Васька. — Только не забудьте: когда начнут стрелять из орудия трехдюймовки, открывайте рот, иначе оглохнуть можно.

Я сбегал на чердак и взял генеральскую шашку, которую когда-то отняли у кадета. Я обернул ее тряпками и спрятал под рубахой. Ребята тоже вооружились. У Абдулки висела на поясе бомба — пивная бутылка с негашеной известью. Если такую бомбу кинуть, она хлопнет и зашипит, как настоящая. Один Илюха остался безоружным — должно быть, боялся.

Дул сильный ветер, когда мы вышли из сарая. Вблизи Пожарной площади на каланче сорвало лист железа, и он, перевертываясь в воздухе, грохнулся на землю возле Васьки. Мы шагали по двое в ряд. Васька

шел впереди и так быстро, что мы едва поспевали за ним. Илюха у каждого встречного спрашивал: «Дядь, где винтовки дают?» — «Зачем тебе?» — «Воевать идем!»

Около почты проходить было опасно, там стреляли: в здании засели бывшие городовые и не хотели сдаваться.

На улицах горели костры, возле них грелись красногвардейцы и проверяли у подозрительных прохожих документы.

В домах буржуев окна были закрыты ставнями, калитки заперты на замки. За высокими заборами точно вымерло все, притаились богатеи — душа в пятки ушла.

На Седьмой линии мы встретили рабочих, которые несли стулья с золочеными ножками. Илюха пощупал мягкое, обтянутое голубым шелком сиденье и спросил: «Что это?» Рабочий ответил: «Реквизиция». Илюха стал спорить, что так называются стулья по-американски. Но Васька объяснил, что это все равно что контрибуция, а потом мы узнали, что мягкие стулья отобрали у пристава, который сбежал к генералу Каледину. Стулья сносили в ревком: теперь на них будут сидеть рабочие и крестьяне. Нам тоже разрешат посидеть! Хватит Сеньке-колбаснику своим толстым задом в мягких креслах сидеть. Разбаловались! Хватит, посидели, и довольно!..

Ревком разместился в доме генерала Шатохина на Пожарной площади.

Невиданное оживление царило там. Красногвардейские отряды стекались со всех концов к ревкому, шли с охотничьими ружьями, самодельными пиками, старыми винтовками. Многие были перепоясаны крест-накрест пулеметными лентами. Тут же, возле церкви, рабочие учились стрелять: щелкали затворами винтовок, прицеливались с колена, перебегали в сквере от дерева к дереву, прячась за них, как будто ловили кого.

На высоких ступеньках ревкома мы увидели механика Сиротку. Он отдавал рабочим распоряжения. Одних посылал караулить отнятый у Цыбули магазин, другим приказывал взять под охрану заводскую шахту, третьим велел раздавать бедным продукты и хлеб. Тут же на коленке он подписывал карандашом приказы.

Двое красногвардейцев с револьверами в руках провели на допрос арестованного комиссара Временного правительства — лавочника Цыбулю. Говорили, что он на своих складах облил всю пшеницу керосином, чтобы народу не досталась. А золото свое в ставке утопил.

«Лучше, — сказал, — нехай погибнут мои деньги и все богатство, чем отдавать задрипанным рабочим и крестьянам». Точь-в-точь собака на сене — сам не гам и тебе не дам.

Радостно было видеть возле ревкома отряд селян под командой дедушки Карпо. Сиротка посылал селян охранять дом и все имущество капиталиста Юза.

— Помните, товарищи, — говорил им Сиротка, — законы революции суровы. Революцию могут совершать только честные люди. Солдат революции не должен поддаваться соблазну. Я уверен, что ни один из вас не запятнает себя несмываемым позором и не польстится на подлые буржуйские безделушки.

Васька смело поднялся по мраморным ступенькам широкой лестницы с красными бархатными перилами. Мы двинулись за ним. Я узнал парадное шатохинского дома: здесь когда-то сестра кадета дала мне хлеб...

— Где ревком? — спросил Васька у рабочего, стоящего при входе с винтовкой в руках.

— А тебе зачем?

— Нужно.

— А все-таки?

Васька спокойно развернул плакат с красным рабочим и показал часовому:

— В красногвардейцы хотим записаться.

Часовой рассмеялся и, оглянувшись на своих, командовал:

— Эй, хлопцы, смирно-о! Красная гвардия пришла!

Все повернули головы к нам, окружили со всех сторон.

— Глянь, да они с саблями!

Рабочий взял меня за штанину, приподнял ее, и всем стали видны материны туфли.

— А этот, поглядите, в женских туфлях!

Васька нахмурился:

— Ладно, зубы не оскаляй.

Кто-то из красногвардейцев потянул за рубашку Илюху и спросил:

— А тебе, пацан, сколько лет?

— Двадцать пять, — выпалил Илюха. — Не веришь? Могу на церковь перекреститься.

Красногвардейцы еще пуще развеселились.

— По шеям их отсюда!

— Пускай идут...

Молодой красногвардеец остановил Учугу:

— А ты, хроменький, куда?

— Эге, — бойко ответил Уча, — я такой хроменький, что лучше тебя воевать буду.

В суматохе я проскочил мимо часового и остановился у двери с табличкой: «Председатель Военно-революционного комитета».

Я решил: пока ребята спорят, запишусь первым.

Освободив саблю от тряпок, в которые она была обернута, я подумал, что было бы неплохо выпустить из-под картуза чуб, как у казака, да чуба не было: только вчера мать ножницами остригла. Толкнув дверь, я шагнул через порог, и ноги мои подкосились: за столом сидел отец.

Рабочие толпились вокруг и слушали, как он радостно кричал в черную трубку:

— Мося, когда приехал? Что привез? Двести винтовок? Молодец! — Увидев меня, отец удивленно поднял брови, но продолжал говорить с невидимым человеком: — Что, что? Два пулемета? Маловато, просил бы больше. Выезжай скорее, чего застрял там? Как не пропускают? Действуй по всей строгости революционных законов. Требуй, чтобы пропустили поезд. Отправляй оружие прямо к заводу, да торопись: калединцы подходят!

Отец повесил трубку на крючок желтого ящика, похожего на скворечник, взглянул на меня, хотел спросить что-то, но вошел Петя с Пастуховки и, вытянув руки по швам, отрапортовал:

— Отряд углекопов с шахты «Италия» прибыл в распоряжение революции. Имеем на вооружении десять винтовок и три нагана.

Отец выслушал рапорт, повернулся к стене, где висела карта:

— Выступай, Петя, на Смолянку, вот сюда. — Отец ткнул пальцем в карту. — Там калединцы захватили рудник, громят Советы... Действуй, Петрусь!

Не успела закрыться дверь, как вошел человек в матросской форме.

— Товарищ предревкома, разрешите?

— Откуда? — спросил отец.

— Рудник «Ветка», пятьдесят семь красногвардейцев. Вооружение — двадцать три винтовки, семнадцать сабель, две гранаты. Ждем приказа.

— Ты матрос? — спросил отец.

— Черноморец, бывший шахтер, товарищ предревкома, фамилия Черновол.

— Хорошо, товарищ Черновол, присоединяйся к рабочим завода.

— Слушаюсь, товарищ предревкома! — Матрос повернулся так лихо, что в дверях столкнулся с толстым человеком, тем самым меньшевиком, который говорил речь на маевке.

Потрясая пухлыми кулачками, он закричал:

— Гражданин Устинов, мы протестуем, нельзя допускать кровопролития!

— Кто это «мы»? — нахмурившись, спросил отец.

— Совет рабочих депутатов.

— Неправда. Совет не протестует, одни меньшевики против.

— Что значит меньшевики, разве мы не вместе делаем революцию?

— Нет, вы мешаете. Почему задержали вагон с оружием?

— Много на себя берете, гражданин Устинов. История не простит вам невинную кровь.

Отец громыхнул кулаком по столу:

— Хватит болтовни! Пропустите оружие, иначе отведаете рабочего штыка!

— Мы будем саботировать ваши распоряжения! — Ругаясь, меньшевик выбежал.

Отец вытер платком лоб и, поглядев на меня, спросил:

— Ты что здесь делаешь?

— Ничего, так, — запнулся я, не зная, что ответить. Потом вспомнил о сабле и протянул ее отцу: — Я... т-тебе саблю принес.

Отец грозно поднялся из-за стола:

— Где взял?

— У кадета отняли.

Не спуская с меня сердитого взгляда, он взял саб-

лю, внимательно осмотрел ее и положил на стол. Снова зазвенел желтый ящик.

— Марш домой! — успел сказать отец и снял с крючка трубку. — Устинов у телефона.

С пылающим лицом я вышел в коридор. Ребята стояли в очереди перед дверью с табличкой: «Запись в красногвардейцы здесь». Первым стоял Уча, за ним Цыган, сзади Илюха. Он держался за Абдулку и дрыгал ногой от нетерпения. Васьки в коридоре не было. Наверное, он уже записывался.

Увидев меня, ребята бросились навстречу.

— Записали? — с завистью спросил Уча.

— Записали, — уныло ответил я.

Толкая друг друга, они ринулись в кабинет отца, но тут же выскочили обратно.

— Дать бы тебе по сопатке, — угрюмо сказал Абдулка и пошел к выходу. За ним — огорченные Илюха и Уча.

Где же Васька? Я бродил по коридорам и нигде не находил его.

В коридоре, у стенки, была навалена гора оружия, отобранного у бывших офицеров, у штатских на улицах, в домах буржуазии. Тут были штыки и кинжалы разной формы, берданки, шахтерские обушки, пулеметные ленты без патронов и с патронами. Тут же, на борохе оружия, лежали буханка хлеба, граната и консервы.

В одной из комнат я увидел красный флаг, который сшила моя мать. Старик плотник прибавал красное полотнище к древку. Молодой парень с банкой краски в руке отталкивал старика и говорил:

— Подожди, надо лозунг написать.

— А где раньше был? Знамя в бой требуют, пиши, да поскорее.

Парень помешал кистью в банке и спросил:

— Что напишем на знамени?

— Известно что: «Да здравствует революция!»

— Революция была в феврале, — сказал парень.

— В феврале была буржуйская, а сейчас наша, пролетарская.

Они заспорили. Вошел Абдулкин отец, дядя Хусейн.

С тех пор как ему удалось бежать из тюрьмы, он

долго болел и все время кашлял. Говорили, что ему в тюрьме отбили легкие.

Старик плотник и парень спросили у дяди Хусейна, что написать на знамени.

— Пишите так, чтобы душу волновало, — сказал дядя Хусейн. — Пиши: «Это будет последний и решительный бой!»

В коридоре я увидел Ваську. С обиженным видом, ни на кого не глядя, он шел к выходу. Я догнал его:

— Ну что, Вась?

— Мал, — ответил он, криво усмехаясь. — А мне уже тринадцать. Ладно, все равно будет по-моему.

Васька оглянулся и таинственно зашептал:

— Идем на завод, самопалы сделаем. Найдем железную трубку, один конец загнем, просверлим сбоку дырочку для пороха, а трубку проволокой прикроем — и готово ружье. Можно гайками стрелять, а еще у меня две пули есть.

— Идем!

Обнявшись, мы быстро зашагали к заводу.

3

На площади, где жили буржуи, мы встретили колбасника Сеньку. Заметив нас, он поспешно скрылся во дворе, а потом высунул из калитки голову и запел:

Большевик, большевик,
Четыре винтовки,
К нам казаки придут,
Тебе штаны снимут.

Васька запустил в него камнем, но Сенька успел захлопнуть калитку. Камень ударился о забор, в ответ громко залаяли собаки. Мы пошли дальше, а Сенька вышел из калитки и снова запел:

Васька-Васенок,
Худой поросенок,
Ножки трясутся,
Кишки волокутся.
Почем кишки?
По три денежки.

Мы свернули в переулок, за которым начинался завод.

На терриконе заводской шахты, на самой его вершине, видна была фигура человека с винтовкой.

Мы стали карабкаться вверх по крутому сыпучему склону, сталкивая ногами куски тяжелого глея. Они катились книзу, увлекая за собой целую лавину камней.

Местами террикон дымился. Зная, что здесь горит уголь и в таких местах можно провалиться и обжечь ноги, мы обходили очаги дыма.

С трудом достигли мы вершины.

Здесь свистел ветер. Красное полотнище флага клотало на древке тревожно и призывно. Оно рвалось с древка, хлестало по нему и раздувалось парусом.

Возле флага стоял молотобоец Федя.

— Ты кого здесь караулишь? — спросил Васька, здороваясь с Федей за руку.

— Врагов революции высматриваю! — Федя зябко поежился, подняв воротник пиджака.

С террикона открывались неоглядные дали. Каждый дом был виден как на ладони. Церковь с потемневшими от заводской копоти куполами величественно возвышалась над хилыми землянками. Вдали синели рудники. Желтоватая степь с глубокими балками, нити серых дорог окружали задымленный городок.

Любуясь видом родных мест, мы держались друг за друга, чтобы ветер не сдул нас.

— Давайте искать наши хаты, — предложил я.

— А чего их искать? — ответил Васька и указал пальцем вдаль: — Во-о-он наши хаты.

— Где?

— Да вон же. Церкву видишь?

— Вижу.

— Рядом хата под железной крышей Витьки Доктора, видишь?

— Ага.

— Ну, а теперь гляди чуть вбок. Дом Мурата под топодем видишь?

— Где?

— Да ну тебя!

— Вижу, вижу... — сказал я, хотя ничего, кроме церкви и Витькиного дома, не видел.

— Ну и все, — успокоился Васька. — Вон моя хата, а напротив, с высокой акацией, твоя.

Пока мы разговаривали, Федя тревожно всматривался в даль, приложив ко лбу ладонь козырьком.

— Калединцы... кажись, они... — проговорил он неуверенно.

Далеко в степи показалось облако пыли. Оно медленно двигалось к городу. Возле мостика через Кальмиус, на крутом повороте дороги, из клубов пыли выехали всадники. Позади катилась пушка.

Вглядываясь в степь, Васька воскликнул:

— Они! И фон Графф спереди! Ленька, за мной! — И он прыгнул вниз, съезжая на катившейся под ногами шахтной породе.

Федя, торопясь, загнал патрон в ствол винтовки, и оглушительный выстрел грянул у меня над головой. Я так и присел от испуга и закрыл ладонями уши: первый раз в жизни вблизи меня стреляли из винтовки. А Федя перезарядил и снова выстрелил, потом еще раз. В церкви ударил колокол. В заводе заревел гудок. Стало жутко.

Я бросился вслед за Васькой. Куски глея били меня по ногам, с шумом пролетали мимо.

Я догнал Ваську у проходных ворот. Он поманил меня к известной нам двоим щели в заборе, и мы тайком проникли в завод. Там мы забрались в паровозный котел со сквозной дырой внутри и стали наблюдать за тем, что делали рабочие перед сражением.

Возле проходных ворот рабочие спешно рыли окопы, подгоняли вагонетки и сваливали их набок, нагромождая баррикаду. Туда же охапками сносили винтовки, выгружая их из товарного вагона, стоявшего не вдалеке. Подавал винтовки Мося.

— Ох, сейчас начнется! — радостно проговорил Васька.

Неожиданно на баррикаде вырос отец. Сбоку на поясе у него висела моя генеральская шашка. Прав был Васька, пригодилась она!..

Механик Сиротка тянул за собой пулемет на двух колесах.

— Пулемет сюда! — Отец указал на неглубокую канавку на холме. — Первой роте оборонять котельно-мостовой цех. Черновол, отойдешь назад, к седьмой наклонной!

Появился знаменосец. В руках у него трепетал машин красный флаг, я его сразу узнал. Издали трудно

было разобрать надпись: «Это будет последний и решительный бой!» — но я знал, что она там была, и я видел ее. Дядя Хусейн установил флаг на вершине баррикады, чтобы он всем был виден. Сам дядя Хусейн улегся рядом с флагом и стал целиться из винтовки в сторону террикона.

Мне подумалось, что идет игра в войну, что отец шутит; казалось, он сейчас рассмеется, постучит по котлу шашкой и крикнет: «Что, испугались, зайчата? А ну, вылезайте, никакой войны не будет!»

Но отец ходил вдоль баррикады строгий и напряженный. А гудки ревели и ревели, нагоняя страх.

— Смотри! — Васька дернул меня за рукав.

Из-за террикона вымчались казаки. Возле поселка «Шанхай» они спешили, и трое подъехали близко к проходным воротам.

Краснорожий вахмистр с черным чубом, торчащим из-под картуза с красным околышем, достал из-за пазухи лист бумаги, развернул и, стараясь перекричать гудок, стал читать:

— «Братья рабочие, свяжите руки и доставьте законному русскому правительству преступника и смутьяна, председателя вашего...»

У меня похолодела спина: казак назвал моего отца. В ответ отец крикнул:

— Казаки, уйдите без крови! Рабочие не сдадут власть!

Вахмистр продолжал читать:

— «...или уничтожьте его на месте и труп доставьте нам. Не бойтесь наказания. Наша армия не трогает рабочих, которые мирно трудятся. Она лишь безжалостна к врагам и разбойникам-большевикам, попирающим божеские законы...»

— Рабочие будут биться до последнего! — крикнул им Сиротка.

— «...Изымите же из вашей среды смутьяна-христопродавца и передайте его нам». Подписал: есаул фон Графф, — торопливо закончил казак, повернул лошадь, и все трое поскакали к поселку, откуда немного погодя стали выбегать и растягиваться в цепь пешие казаки.

Прогревели первые выстрелы. Над нашим котлом тонко пропела пуля.

Мой отец скомандовал:

— По врагам революции — ого-онь!

Грянул залп. Сиротка взялся рукой за одну ручку пулемета, другую прижал плечом, и пулемет задрожал, изрыгая ливень пуль.

Поднялся такой грохот, как будто с неба на наш котел посыпались камни.

Враги приближались. Васька глубоко надвинул шапку.

— Пошли!

Я попятился назад.

— Пошли воевать, не бойся. Нам винтовки дадут. Голубые глаза его сверкали.

— Боишься, да? Эх ты...

Он с укором взглянул на меня, выскочил из котла и побежал к баррикаде.

Как раз в это время замолчал пулемет, и Сиротка потребовал:

— Патронов! Живей!

Федя, пригнувшись, побежал к литейному цеху. Васька метнулся за ним.

В страхе я прижался к холодному железу котла, прислушиваясь к треску выстрела.

Вскоре Федя и Васька вернулись. Они отдали Сиротке четыре плоские коробки с пулеметными лентами и поползли обратно.

Сиротка вытащил из коробки длинную брезентовую ленту, набитую патронами, сунул конец ее в бок пулемета и снова припал к рукоятке. Но вдруг он ткнулся головой в пулемет. Я видел, как струйка крови потекла по его виску. К нему подбежала женщина с винтовкой, оттащила в сторону и стала бинтовать Сиротке голову.

За пулемет лег мой отец.

Васька притащил ему еще две коробки с патронами и на обратном пути заскочил ко мне:

— Ленька, у нас уже двоих убили. Идем, не бойся. Отцу патроны будем носить, — и снова убежал.

Со стороны казаков ударила пушка. Столб земли вскинулся над баррикадой. Часть заводского забора взлетела вместе с камнями и обломками досок. Вдали показались верховые казаки с пиками наперевес и бросились к заводу.

Я выскочил из котла. Над ухом пискнула пуля, другая звякнула по котлу. И тут я увидел, что рукав моей рубашки в крови. Я не чувствовал боли. Кровь текла

по руке, капала с кончиков пальцев. Я кинулся в глубь завода, спотыкаясь о железные угольники, поднимался и снова бежал. Сзади хлопали выстрелы.

Баррикада была уже позади, а я не мог остановиться.

Мне чудилось, что за мной летит казак с пикой и вот-вот настигнет и пронзит насквозь.

Протяжно ревели гудки.

Навстречу мне из ворот литейного цеха выбежала толпа рабочих с винтовками. Они спешили к баррикадам.

Я упал в яму, заросшую полынью. Меня подняло и плавно закружило над землей.

4

Очнулся я от приглушенного говора. Было тихо. Болела голова. Я хотел открыть глаза и не мог, как будто веки были склеены.

— Когда казаки заскочили к нам, — услышал я приглушенную речь Васьки, — мы стали отступать к холодильнику, а его и еще двоих — парня и старика — казаки захватили в плен.

— Ну а дальше? — спросил густой бас.

— А потом старика расстреляли, а его потащили к коксовым печам и начали сталкивать в дыру, куда уголь засыпают. Оттуда — пламя столбом, а они толкают. Он отбивался ногами, а казаки его — прикладами, потом схватили и как-ак бросят в огонь. Я видал кровь, да картуз в стороне валяется.

Наконец мне удалось открыть один глаз. Другой был забинтован. Я осмотрелся и узнал землянку Анисима Ивановича. Васька стоял в казацкой фуражке, надетой задом наперед, и разговаривал с незнакомым мне человеком в серой каракулевой шапке. У него были голубые глаза и черная кудлатая борода. Я не мог вспомнить, где видел этого человека.

— Какого человека загубили! — с горечью проговорил он.

Анисим Иванович сидел на табуретке пригорюнившись.

Надо мной склонился Васька и тревожно сказал кому-то:

— Выжил, одним глазом глядит!

— Вась, почему у тебя такой картуз? — спросил я.

— Это казацкий. Твой отец зарубил казака, а я картуз взял.

Голос у Васи был жалостливый, и он отводил глаза, будто не знал, как и о чем со мной говорить.

— А знаешь, Ленъ, наша улица больше не Нахаловка, теперь она будет улицей Революции.

— Революция...

Мне вспомнился бой на заводе и все, что было со мной.

— Вась, а где папка? — спросил я.

— Он за фон Граффом погнался, — сказал Васька, но замаялся и отошел.

Я увидел над собой заплаканное лицо тети Матрены.

— Спи, сынок, спи. Мама твоя придет, — сказала она и тоже ушла.

Целый день я пролежал в постели, а мать все не приходила. Когда я спрашивал о ней и об отце, то получал один и тот же ответ: отец погнался за фон Граффом, а мать скоро придет.

Среди ночи я проснулся, как будто меня окликнули, но вокруг было тихо. Наверно, я проснулся от этой тишины. Первая мысль была об отце. Непонятная тревога закралась в сердце.

Я встал и, стараясь не загреметь чем-нибудь, вышел из землянки.

На востоке небо чуть серело. Я побежал через улицу к своему дому и, ошеломленный, остановился. Поломанная, с выбитыми досками дверь была заколочена крест-накрест двумя корявыми облопками.

— Ма-ма! — крикнул я в щель.

«А-а-а...» — гулко отдалось внутри.

Я застучал в дверь, но мне никто не ответил.

Тогда я вспомнил разговор Васи с человеком в серой шапке, вспомнил заплаканные глаза тети Матрены, ее заботу обо мне и понял: это моего отца сожгли казаки в коксовой печи.

Я долго бродил по двору, захлебываясь от рыданий, и тихо звал:

— Папочка... Мама...

Угрюмым молчанием отвечал мне опустевший двор.

Внезапно кто-то вошел в калитку и приблизился ко мне. Я узнал Васю.

— Не плачь, Лень, будешь у нас жить, — с дрожью в голосе проговорил он.

Мы возвратились в землянку. Тетя Матрена прижала меня к груди:

— Сиротиночка моя... Маму твою казаки увели... Не плачь. У нас будешь жить, с Васей.

Тетя Матрена постелила нам на полу под иконой, укрыла нас пиджаком. Мне стало тепло, и я, всхлипывая, уснул.

С этого дня мы с Полканом навсегда перешли жить к Анисиму Ивановичу.

Мы с трудом привыкали к новой жизни. Первое время Полкан уходил к себе и подолгу лежал во дворе, будто ожидал, когда придут хозяева.

Вскоре рана моя зажила. Анисим Иванович справил мне новые сапоги, и я мог выходить на улицу. Забинтованная рука висела на перевязи, но боли уже не было.

Ребята сочувствовали моему горю и уважали меня за то, что я был ранен настоящей пулей в бою. Уча подарил мне свою лучшую красно-рябую голубку. Абдулка Цыган дал кусок хлеба, политого подсолнечным маслом. Только Илюха подсмеивался надо мной.

Однажды мы сидели на лавочке возле землянки. По улице мимо нас пронесли гроб с покойником. Илюха, строгавший палку, глянул на гроб и хихикнул.

— Ты чего? — спросил Уча.

— Чудно. У Леньки отец помер, а хоронить было некого.

Васька, грозный, поднялся с лавочки.

— Ты над кем смеешься? — спросил он, и ноздри у него побелели. — Над кем смеешься, гад? — и ударил Илюху по лицу. Тот присел и заскулил. Ребята с презрением отошли от Илюхи.

Васька повел меня в город. Хотелось плакать, но я терпел.

Возле церкви шел митинг — похороны жертв революции. Дядя Митяй (это он приходил в землянку) говорил об отце, что смерть его прекрасна, потому что он отдал жизнь за народ. Рабочие запели похоронный марш и положили на братскую могилу камень. На камне значилось имя моего отца.

Вечером, когда мы легли спать, Васька придвинулся ко мне и зашептал:

— Теперь мы настоящие красногвардейцы, правда? Завтра пойдем в ревком, и нас запишут в кавалерию. Ты себе какую лошадь возьмешь, красную?

— Да.

— И я красную.

Вася ласково гладил мое плечо, а я прислушивался к стуку дождевых капель по стеклу и думал: «Как же мне жить без матери и отца? Кому я нужен? Разве только Ваське я нужен. Да, да. Я по глазам видел, что нужен». От этой мысли мне стало легче, и я взял Ваську за руку: это было все, что у меня осталось, — теплая Васькина рука.

— Теперь хорошая жизнь начнется, — шептал Васька. — Юза больше не будет, и царя тоже. А мы в школу пойдем, научимся читать и писать. А когда подрастем, поедем к товарищу Ленину... Ты поедешь?

— Ага, — отозвался я со вздохом.

— Ну и хорошо, — тоже вздохнул Васька, и мы прижались теплыми телами, крепко обняв друг друга.

Глава восьмая

ФЛАГИ НАД ГОРОДОМ

*Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это.*

1

После революции началась совсем другая жизнь. Как будто все, что было раньше, — бой рабочих с казаками у завода, гибель отца, Сенька-колбасник, катавшийся на мне верхом, — все это снилось.

Не было у нас больше царя, отменили бога. Нигде не слышно ненавистных слов «господин», «барин», «ваше благородие». Небо над поселком стало выше, солнце заблестело веселее, и всюду, куда ни погляди, полыхали на ветру красные флаги революции.

По улицам ходили вооруженные рабочие и называли друг друга по-новому: «Товарищ».



Товарищ! Какое красивое слово! Сколько теплоты и счастья в этом слове!

Совсем недавно его произносили шепотом, чтобы не дай бог не услышал городской или сыщик, а то живо закуют в кандалы: «Против царя идешь».

Теперь слово «товарищ» стало свободным, как птица, выпущенная на волю. Я полюбил его и повторял двести раз на день. Даже ночью, укрывшись с головой старым пиджаком и чувствуя спиной теплую спину Васьки, я твердил про себя тихонько: «Товарищ, товарищи...»

Днем я бродил по городу и заговаривал с прохожими, чтобы лишний раз произнести это слово. Рабочий с винтовкой на плече обернется и спросит: «Тебе чего, мальчик?» Ответишь что-нибудь: рукав измазан в глине или смотри, мол, винтовку не потеряй. Он улыбнется, скажет спасибо, а ты идешь дальше, отыскивая, к кому бы еще обратиться.

На углу нашей улицы торговала семечками бедная бабушка Ивановна. Я подошел к ней и, стараясь быть строгим, спросил:

— Товарищ бабушка, почем семечки?

Должно быть, старушке тоже нравилось это слово. Усмехаясь, она протянула мне горсть семечек:

— Возьми, сыночек, лузгай, сиротка.

Однажды я встретил Алешу Пупка. Было уже начало зимы, а он шел без шапки, втянув голову в воротник рваного женского сака. Я остановил Алешу и спросил:

— Почему ты без шапки, товарищ?

— Нема, — тихо ответил Алеша, — порвалась шапка.

— Бери мою, — предложил я, снимая драный картуз без козырька.

Алеша ответил:

— Обойдусь, спасибо... товарищ. — И мы улыбнулись друг другу, согретые этим словом.

Вся жизнь переменялась в городе. Бедняки переезжали в дома богачей. Мы тоже могли переехать, но Анисим Иванович сказал, что пусть сначала переедут те, кто больше нуждается. А потом и мы бросим свои лачуги. Васька сказал, что теперь кто был ничем, тот станет всем!..

Не хватало дня, чтобы успеть увидеть все интерес-

ное. Давно нужно было поглядеть, как дядя Митяй — наш председатель Совета рабочих и солдатских депутатов — заседает в Совете. Хотелось заглянуть в банк. Анисим Иванович теперь стал комиссаром финансов. Он уже не ползал на своей тележке, а ездил на линейке, запряженной буланой лошадкой. Через плечо на тонком ремешке он носил наган, чтобы охранять народные деньги. И я представлял себе, как Анисим Иванович сидит возле дверей банка, набитого деньгами до потолка, держит в одной руке наган, а в другой — саблю: попробуй-ка сунься за денежками. Теперь они народные: хотим тратим, хотим нет. Довольно богатеям набивать карманы деньгами.

Каждый день появлялось что-нибудь новое. То в бывшем Благородном собрании открывали рабочий клуб. То на Пожарную площадь заводские парни и девушки сносили иконы, сваливали их в кучу и под пение «Интернационала» сжигали. (Мы с Васькой тоже сняли и забросили в костер свои медные крестики. Бога нет, чего дурака валять!) То в бывшей судебной палате именем революции судили колбасника Цыбулю.

Все было по-новому и все радостно!

Только один раз мне стало горько, когда я увидел, как на главной улице рабочие срывали старые эмалированные таблички «Николаевский проспект» и прибавляли новые: «Улица имени рабочего Егора Устинова». Вывески были деревянные, плохо оструганы. И пусть мне было грустно, а все-таки не забыли рабочие моего отца...

Полно было новостей и на заводе. Управляющим рабочие выбрали Абдулкиного отца — дядю Хусейна. Сбежать бы да поглядеть хоть в щелочку, как он управляет заводом...

Говорят, отобрали имение у генерала Шатохина и землю роздали крестьянам. Я порадовался за деда Карпо. Ему, наверно, столько земли теперь дали, что за день не обойдешь.

2

По дороге в центр города мне встретилась колонна рабочих. Вместо винтовок они несли лопаты, пилы, кирки и, шагая в ногу, дружно пели:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
«Братский союз и свобода» —
Вот наш девиз боевой.

Впереди плыл, надуваясь ветром, красный флаг. Он весело похлопывал о древко, будто хотел взлететь в голубое небо. Я видел, как рабочие свернули в боковую улицу, ведущую к заводу. Вот скрылась за домами последняя шеренга, и только доносились слова песни:

И водрузим над землею
Красное знамя труда!

Из разговоров на улице я узнал, что это был первый коммунистический трудовой отряд. Оказывается, вышел новый закон: «Кто не работает, тот не ест!» Мне, когда я услышал об этом, стало совестно: я вчера и сегодня ел хлеб и даже тюрю и узвар пил, а работать не работал. Я не знал, что так стыдно, если обедать бежишь скорее, а сам не работаешь. «Назло теперь не стану есть, а буду только работать!» — решил я.

В городе, в бывшей лавке Цыбули, открыли потребительскую кооперацию. Возле нее стояла длинная очередь за хлебом. Где-то здесь должен быть Васька.

Женщины, закутавшись в платки, сидели на скамеечках, принесенных из дому, лузгали подсолнухи и рассказывали о том, как сегодня ночью у богатея Цыбули в яме под сараем нашли сто мешков муки и сколько-то много пудов конфет. Совет рабочих депутатов приказал раздать конфеты детям, а кроме того, по фунту муки.

Узнал я из разговоров в очереди и о том, что за станцией Караванной идет бой красногвардейцев с калединцами и что туда поскакал на лошади председатель Совета, наш дядя Митяй, товарищ Арсентьев...

Ваську я нашел в середине очереди. Здесь уже были Уча, Илюха и сын конторщика Витька Доктор.

Хлеб еще не привозили. Стоять в очереди долго, и мы решили пойти в Совет, узнать, верно ли, ходят слухи, что скоро откроется школа для детей рабочих.

В очереди мы оставили Илюху, передали ему свои хлебные карточки, а сами пошли в Совет.

По главной улице разъезжали конные красногвардейцы. Они были одеты кто как: в пиджаках, в пальто, в шинелях. Сбоку на поясах висели разные шашки:

у одних — загнутые на конце, точно колесо, у других — прямые, у третьих — самодельные, без ножен. За спинами покачивались винтовки, кони весело гарцевали — приятно было смотреть на красногвардейцев.

На длинном заборе поповского дома мы увидели лозунг, написанный красной краской:

«Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем раскрепощения...»

Мы шли вдоль забора и читали пятисаженную надпись. Прочитав одну строчку, мы вернулись и принялись за другую.

«Раскрепощаются крестьяне... солдаты и матросы... Раскрепощаются рабочие... Все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков».

Уча стукнул костылем в то место, где стояло слово «оков», и спросил:

— А что такое «оковы»?

— Кандалы, — объяснил Васька, — помнишь, как Абдулкин отец из тюрьмы в цепях вышел?

Уча нахмурил угольные брови, поднял камень и запустил им в дом колбасника Цыбули. Камень, не долетев, упал в снег около забора.

В Совете рабочих и солдатских депутатов в просторном зале толпилось много народу: женщины с грудными детьми, рабочие, девушки в красных косынках. Всюду стоял гомон, треск каких-то машинок.

На столах, поставленных в беспорядке, виднелись таблички: «Продкомиссар», «Отдел по борьбе с контрреволюцией», «Народное просвещение».

За самым дальним столом в углу, где стояло пробитое пулями знакомое мне красное знамя со словами: «Это будет последний и решительный бой!» — мы увидели Анисима Ивановича. Перед ним красовалась табличка: «Уполномоченный финансов».

Положив тяжелые руки на стол, Анисим Иванович спорил с Абдулкиным отцом — управляющим заводом.

— Давай три миллиона, ничего я знать не хочу! — требовал дядя Хусейн.

— Нема же денег, — отвечал Анисим Иванович, — не веришь, вот тебе ключ от кассы — проверь.

— Не хочу я проверять! Я должен пустить завод, а жалованье рабочим нечем платить.

— Ну а я что могу поделывать? Все мы сейчас работаем бесплатно: и я, и ты.

— О себе не говори, а рабочим нужно платить, понимаешь?

— Понимаю, а ты пойми, что денег в банке нема: буржуи увезли с собой все деньги.

Анисим Иванович повернулся к соседнему столу с табличкой: «Реквизиционный отдел», за которым сидел матрос с шахты «Ветка».

— Слушай, товарищ Черновол, нельзя ли потрясти богатеев насчет денег?

Матрос, тихо разговаривавший о чем-то с группой вооруженных рабочих, ответил:

— Трясем, товарищ Руднев. Клянутся всеми святыми, а деньги прячут. Но ты, товарищ комиссар, не горюй, для рабочих мы денег найдем.

Когда дядя Хусейн ушел, мы протиснулись к Анисиму Ивановичу.

— А вам чего, шпингалеты? — спросил он с доброй улыбкой.

— Дядя Анисим, верно, что у нас школа будет? — спросил Уча.

— Это не по моей части, хлопцы. Во-он туда идите, третий стол от двери.

Уча поскакал на костыле туда, где виднелась табличка: «Народное просвещение», и тотчас вернулся, громко крича:

— Будет! Сказали, будет!

Шумной ватагой мы высыпали на улицу и у входа столкнулись с Абдулкой.

— Хлопцы, айда на завод! — сказал он, с трудом переводя дыхание. — Там народу тьма собралась, духовая музыка играет.

Мы прислушались. В самом деле, где-то далеко лязгали звонкие литавры, доносился рык басовой трубы.

3

Чтобы не обходить далеко, мы перелезли через забор. Завод теперь наш — кого бояться!

Абдулка сказал, что люди собрались около доменных печей. Туда мы и устремились.

Первым на нашем пути стоял прокатный цех — огромное безлюдное здание. Сквозь прорехи в крыше

на железный пол падали холодные косые снопы солнечного света. Так просторно вокруг, так весело на душе! Захочу вот и стану работать в каком угодно цехе — теперь наш завод, пролетарский!

За прокаткой стояли на путях потухшие заводские паровозики-«кукушки», сплошь занесенные снегом. Мы обогнули высокую, пробитую снарядом кирпичную трубу кузнечного цеха и вдали, у подножия доменных печей, увидели большое скопление народа. Пестрели красные косынки женщин, одетых в телогрейки.

Обгоняя друг друга, мы подбежали и протиснулись в самую гущу толпы, поближе к железной бочке — трибуне.

Выступал молотобоец Федя. После гибели отца Федя жалел меня: часто заходил к Анисиму Ивановичу и совал мне то ломоть кукурузного хлеба, то кулечек с сахарином. При этом он гладил меня по голове и говорил: «Живи, Леня, на свете, на страхе врагам живи!..»

Сейчас Федя стоял над толпой и выкрикивал:

— Товарищи! Республика Советов находится в смертельной опасности. У нас нет денег, нет хлеба, нет угля. По всей России заводы и фабрики стоят, шахты затоплены. Нам нужно скорее пустить доменную печь, нужно делать оружие для защиты добытой кровью свободы. Нам не на кого надеяться, товарищи. Мы должны начать работу и, пока нет денег, работать бесплатно, на пользу революции!

Взметнулось громгласное «ура», тучи галок, сидевших на вершинах домен, взлетели и загорланили, кружась над печами. Заиграла музыка. Федя что-то еще говорил, но уже ничего не было слышно.

На трибуну поднялся управляющий заводом дядя Хусейн. Он говорил про какого-то американского буржуя Вильсона, который приказал морить нас голодом. Когда дядя Хусейн закончил свою речь, заколыхались знамена, полетели вверх шапки, грянула музыка. Рабочие пели:

Весь мир насилья мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,—
Кто был ничем, тот станет всем!

... я на Ваську, я тоже стал подтягивать, и мне казалось, что тысячеголосое могучее пение вырывается из одной моей груди.

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

После митинга рабочие разделились на отряды и с весельем, шутками разошлись по цехам.

В пустынном, заброшенном заводе зазвенели голоса, здесь и там застучали молотки, раздавался лязг железа. Одни очищали от снега заводские пути, другие растаскивали баррикады, сложенные из опрокинутых, пробитых пулями шахтных вагонеток, третьи грузили в вагоны рассыпанный уголь.

Потом, радуя слух, донесся откуда-то свисток паровоза, и по шатким рельсам из-за доменных печей выскочил чумазый маленький паровоз-«кукушка». На трубе развевался красный лоскут, а спереди и по бокам, на буферах и подножках, стояли рабочие и радостно размахивали руками, шапками.

Их встретили дружным «ура».

— Первая ласточка, товарищи! — закричал один из рабочих, прыгивая на ходу с паровозика. — Ласточка революции! — И он мелом написал на боку паровозика эти слова.

«Кукушку» обступили, ласково ощупывали, грелись о ее теплые бока. Я тоже погрел руки, а Уча даже взобрался на буфер.

Управляющий заводом дядя Хусейн пожал машинисту руку и сказал:

— Придет время, товарищи, когда будут у нас настоящие паровозы. А эту «ласточку» мы сбережем как память о нашем свободном коммунистическом труде.

«Кукушка», казалось, тоже слушала дядю Хусейна, тихонько посапывая и распуская по сторонам белые усы пара. Потом она подцепила вагон с углем и, отдуваясь, повезла его в кузнечный цех. Скоро она снова вернулась, притащив паровозный кран с длинным изогнутым носом. Кран стал грузить на платформу железный лом.

Вдруг неподалеку раздался взрыв, за ним другой. Земля вздрогнула.

— Козлы рвут! — услышал я чей-то радостный возглас. — В доменной козлы подрывают!

Напрасно я испугался. «Рвать козлы» — это значит очищать внутренность доменной печи от застывшего

чугуна. Теперь ожидай, что скоро пустят доменную печь, а потом — мартеновскую, а за нею — прокатные станы!

Невозможно было удержаться, чтобы не работать. Вместе со взрослыми мы принялись за дело: собирали разбросанный инструмент, очищали от снега дороги. Я даже снял старую телогрейку, чтобы легче было. Никакая игра не казалась мне такой увлекательной, как эта работа. Особенно радостно было оттого, что я работаю бесплатно, на пользу революции. Если бы мне давали тысячу рублей, я и то не взял бы. Бесплатно работаю, на революцию. Сам товарищ Ленин похвалил бы меня.

— Молодцы, ребята, — одобряли нас взрослые, — старайтесь, это все для вас делается: вам доведется в коммунизме жить!

— Мы и так не отстаем, — ответил за всех Васька. — А ну, шибче, ребята, лучше старайтесь!

— Стараемся, товарищ! — закричал я.

— Правильно, Василий, подгоняй хлопцев!

Один из рабочих увидел вдали, над трубой кузнечно-костыльного цеха, черный дым, и зазвучали отовсюду оживленные возгласы:

— Дым, дым!..

Галки, горланя, закружились над трубой: погреться слетелись. До чего хорошая жизнь началась: даже птицы повеселели!

В самый разгар работы Уча, рывшийся в снегу, закричал нам:

— Сюда, скорее сюда!

Из-под железногохлама он вытащил ржавые, покрытые инеем кандалы — страшную, похожую на живую змею цепь с двумя «браслетами» на концах.

— Оковы, — мрачно проговорил Васька, шевеля звенья цепи.

Ребята, притихшие, молча разглядывали находку. Я тоже робко притронулся к холодной стальной змее. Васька выпустил кандалы, и они скользнули из рук, звякнули и свернулись клубком.

— Это Юз рабочих заковывал, — объяснил Васька.

— Хорошо бы его самого заковать или какого-нибудь буржуйчика! — сказал Абдулка.

— Давайте Сеньку-колбасника закуем! — предложил я.

— А что? Верно! — согласился Уча. — Поймаем и закуем!

Васька молчал, не то обдумывая, как лучше заковать колбасника, не то колеблясь — стоит ли пачкать руки.

— Сеньку неинтересно, — сказал он. — Юза бы заковать...

Заковать Юза, конечно, было бы хорошо, но он сбегал, а Сенька под рукой. Выманить бы его сейчас из дому, затащить в сарай и заковать, пусть бы орал: «Мамочка, что я теперь буду делать, закованный!» А я бы ему сказал: «Походи, походи в кандалах, как Абдулкин отец ходил и как товарищ Ленин мучился в Сибири!» Вот почему, когда Васька размахнулся и закинул кандалы в снег, я пошел туда, где они упали, поднял и опустил за подкладку телогрейки через дыру в кармане. Неловко было ходить — кандалы перевешивали на один бок и противно звякали, но я не захотел их выбрасывать, затаив злость против ненавистного колбасника.

Весело было на заводе, хорошо работать под музыку, но кто-то из ребят вспомнил об очереди за хлебом. Нужно было спешить, а то Илюха, чего доброго, получит и съест наш хлеб. Ведь нам выдавали по четверти фунта на душу. Положи в рот — и нет пайка.

В кооперации уже выдавали хлеб, когда мы вернулись, и очередь наша приближалась. Скоро мы получили по полфунта хлеба, а сверх того по фунту муки в шапку.

Теперь закон «кто не работает» был не про меня: я сегодня работал, а значит, могу есть!

4

Прошло два дня, и нам объявили, чтобы мы собирались в школу. Это была самая радостная новость.

Школа. Сколько мы мечтали о ней, сколько раз с тоской проходили мимо одноэтажной юзовской гимназии и с завистью заглядывали в окна, за которыми учились буржуйские сынки! Сколько раз бородатый сторож гонялся за нами с метлой. Если сторож не замечал, то мы целый урок стояли под окнами.

Однажды мы видели, как отвечал урок Сенька-колбасник. В классе, развалясь, сидел красноносый поп

отец Иоанн, перед ним, понуро опустив голову, стоял Сенька. Поп злился и ворчал: «Тебе говорят, болван, бог един в трех лицах: бог-отец, бог-сын, бог — дух святой». Колбасник глупо моргал глазами и молчал. Поп Иоанн под конец сказал ему: «Тупа главы твоей вершина, нужна дубина в три аршина» — и велел Сеньке идти на место.

Мы с Васькой рассмеялись, а Сенька показывал нам кулак.

Когда раздался звонок на перемену, орава гимназистов под командой колбасника выбежала со двора и осыпала нас грудой камней. «Бей сапожников!» — кричал Сенька. Мы защищались как могли, но нас было двое, а гимназистов человек сто.

Огорченные, мы ушли домой. Не то было обидно, что нас избили, а то, что нельзя нам учиться. Меня отец кое-как научил читать и писать, но Васька не знал ни одной буквы. А как ему хотелось учиться!..

И вот пришло счастье. Собираясь в школу, я надел свою драную телогрейку, хотел выбросить кандалы, но раздумал: вдруг Сенька встретится.

Тетя Матрена дала нам по куску хлеба с солью, по луковице, и мы отправились.

Над бывшей гимназией празднично развевалось красное полотнище. Учеников собралось человек сорок. У многих висели через плечо холщовые сумки, но в них не было ни книг, ни тетрадей, ни карандашей.

В длинных светлых коридорах было холодно. Окна почти все выбиты, парты изрезаны ножами. «Наверно, Сенька сделал со зла», — подумал я.

Веселый шум, беготня наполнили гулкие классы.

Всех нас собрали в большой комнате. Там в ряд стояли поломанные парты. Расселись кто где. Мы с Васькой облюбовали самую высокую парту в дальнем углу.

Взволнованные необычным событием в нашей жизни, мы бегали, возились, и некогда было подумать, кто же у нас будет учителем. Поэтому мы удивились и не сразу поняли, что происходит, когда в класс вошел механик Сиротка. Через плечо у него висел наган. (Сиротка работал в отделе по борьбе с контрреволюцией.)

— Товарищи ребятишки! — обратился к нам Сиротка, когда шум улегся и наступила тишина. — Именно революции объявляю первую рабочую школу открытой. Вы, дети горькой нужды, получили право

учиться, чтобы стать грамотными и прийти на смену отцам, которые, может быть, сложат головы за рабочее дело. Тогда вы возьмете наше знамя и пойдете с ним дальше, к светлому коммунистическому будущему.

Ветер свистел в разбитых окнах, дребезжали торчащие в рамах осколки стекол. Мы сидели тихо и внимательно слушали Сиротку.

— Буржуи говорят, что мы, рабочие, не сумеем управлять государством. Докажите этим вампирам, на что вы способны, оправдайте великое звание рабочего класса! Все теперь принадлежит вам: школы, заводы и ваша судьба. Учитесь больше и лучше. Надо победить борющиеся с нами классы и пойти дальше. Таково веление жизни, товарищи ребяташки, потому что началась эпоха мировой революции...

Помолчав, Сиротка закончил свою речь словами, удивившими нас.

— Жалко, что учителей для вас мы пока не нашли. Некоторые учителя находятся в Красной гвардии, другие расстреляны царским правительством, а еще есть такие, что убежали с кадетами. Совет рабочих и солдатских депутатов приказал мне временно быть вашим учителем, пока не найдем настоящих.

Хотя из речи нашего учителя я не понял половины слов, зато слова эти были полны тайной красоты: «веление жизни», «эпоха мировой революции».

После речи Сиротки в класс, позвякивая шпорами, вошел дядя Митяй — товарищ Арсентьев. На нем была длинная кавалерийская шинель и серая смушковая шапка со звездой из красного сукна. Он окинул нас всех внимательным взглядом, что-то сказал Сиротке, и они пошли по рядам, оглядывая каждого, ощупывая одежду. Около Алеши Пупка дядя Митяй задержался особенно долго, даже присел на корточки и потрогал его рваные галоши, подвязанные проволокой.

После осмотра дядя Митяй вышел в коридор, а затем вернулся в сопровождении двух красногвардейцев, нагруженных ворохами разнообразной одежды и обуви.

Все стало ясно. Мы заволновались.

Сиротка начал вызывать нас по очереди к доске, где дядя Митяй разбирал кучу вещей и выдавал кому новый пиджак, кому теплую шапку, кому тяжелые солдатские ботинки с обмотками.

Когда вышел к доске Алеша Пупок, все притихли. На мальчишке была такая рвань, что нельзя было понять, во что он одет.

Комиссар дядя Митяй, хотя и знал Алешу, удивленно развел руками, оглядывая его женский сак.

— Ну и фасон у тебя, брат, — сказал он с горькой шутливостью, — и у какого ты портного заказывал?

Под смех ребят Алешу Пупка одели с ног до головы. Сначала Сиротка снял с него и выбросил в коридор рванный сак без пуговиц. Вместо него на Алешу надел новое пальто, теплую шапку-ушанку, дал новые солдатские ботинки и громадные — от пяток до подбородка — голубые галифе, обшитые на заднем месте кожей.

Ваське досталась зеленая военная гимнастерка, а мне — новые ватные штаны и черная жилетка. Вернувшись на место, я осторожно, чтобы не звенели кандалы, снял свою телогрейку и напялил на себя жилетку. Она была без рукавов, грела плохо, но зато в ней имелось четыре карманчика.

В классе раздался смех, когда Уче дали сапоги. Дядя Митяй и Сиротка растерялись: сапог — пара, а у гречонка одна нога. Обрадованный Уча сам нашел выход и сказал, что он сперва износит левый сапог, а потом на той же ноге будет носить правый.

Никого не обделили — каждому что-нибудь досталось. Когда дядя Митяй ушел, Сиротка сказал, что подарки прислал нам Совет рабочих и солдатских депутатов.

— Я знаю, — тихонько шепнул мне Васька, — это Ленин прислал нам одежду.

Растроганные, мы долго не могли уgomониться.

Потом начался урок. Тетрадей не было. Откуда-то принесли кипу старых газет «Русское слово» и роздали каждому по газете. Карандаш был один на весь класс — у Витьки Доктора. Нам вместо карандашей дали по кусочку древесного угля. Если им провести по газете, получалась ясная линия.

Снова поднялся шум: шуршанье газет, шепот. После этих приготовлений учитель опросил всех по очереди, кто грамотный, а кто совсем не знает букв.

Васе пришлось пересест в левую часть класса, где собрались неграмотные. Вместо него ко мне посадили Витьку Доктора.

Сердце зашло от счастья: мы в школе и сейчас

начнем учиться! Но вдруг опять открылась дверь, и в класс вошли какие-то люди с винтовками. Они вызвали Сиротку. По громкому разговору за дверью я понял: поймали какого-то юнкера, и красногвардейцы пришли спросить, что с ним делать.

— Не отрывайте меня по пустякам, — говорил Сиротка. — Не знаете, что делать? Посадить в кутузку до моего прихода.

Не успели уйти эти, как появились новые, опять вызвали Сиротку и сказали, что его срочно требуют к телефону. Наш учитель в сердцах хлопнул дверью и не пошел.

Урок начался с того, что Сиротка вывел мелом на доске букву А и приказал:

— Кто неграмотный, пишите букву А — две палочки головами вместе, одна поперек.

Каждый должен был десять раз написать эту букву у себя на газете. Умеющим писать: мне, Витьке Доктору и еще двоим ребятам он стал громко диктовать с какой-то бумажки.

Разгладив свою газету на парте, я старательно выводил:

«Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне, все трудящиеся!

Рабочая и крестьянская революция окончательно победила в Петрограде...»

Руки мои дрожали. Напрягаясь изо всех сил так, что на лбу выступил пот, я аккуратно выводил каждую букву. Сначала писал на полях газеты, а когда не хватило места, начал чертить буквы прямо на газете, где было напечатано отречение царя: «Божією милостію Мы, Николай Второй...»

«Дождался, царюга-зверюга», — невольно подумалось мне, и я с удовольствием подчеркнул написанную мною строчку: «Революция окончательно победила». Я хотел еще яснее обвести эти хорошие слова, но у меня сломался уголек. Писать было нечем. Я оглянулся: Васька тоже сидел сложа руки, нос у него был испачкан в угле. Оказалось, что у многих ребят кончились угольки, и они сидели, не зная, что делать.

Васька сообразил. Он поднялся с места и сказал:

— Товарищ учитель, я знаю, чем писать.

— Говори, Руднев.

— Палочки обжечь, получатся угольки.

— Ну попробуй сделать.

Васька сбегал на улицу и скоро вернулся с пригоршней щепок. Тут же, в классе, их обожгли с одного конца. Неважные получились угольки, но все-таки...

Занятия возобновились. Сиротка ходил по классу и диктовал:

— «Революция окончательно победила в Петрограде, рассеявши и арестовавши последние остатки небольшого числа казаков, обманутых Керенским...»

Чтобы Витька Доктор не толкнул меня под локоть, я отодвинулся. Витька огрызком карандаша уже давно написал и теперь вертелся, заглядывая ко мне в газету. Ему было хорошо: он еще при царе учился в приходской школе, но мне не хотелось уступать Витьке, я старался написать не хуже его. Повернувшись к нему спиной, чтобы он не заглядывал, я трудился. Но Витька вдруг засмеялся и крикнул учителю:

— А Ленька неправильно пишет!

— Как так неправильно? — возмутился я.

— Слово «Керенский» он пишет с маленькой буквы, а нужно с большой.

— Вот так сказал: Керенский рабочих расстреливал, Ленина хотел арестовать, а мы его будем писать с большой буквы?

— Рабочие здесь ни при чем, — сказал Витька. — Если фамилия, значит, нужно с большой.

— Может, скажешь, что и царя Николая нужно писать с большой буквы?

— Конечно.

Это было слишком. В классе поднялся шум. Как Сиротка ни успокаивал, ребята кричали.

— С маленькой писать буржуя Керенского! — кричали даже те, кто вовсе не умел писать. — И царя Николая с маленькой!

Потом все замолкли и ждали, что скажет наш вожак. Васька поднялся с места и громко сказал:

— Хватит, попили нашей крови! Нехай буржуи пишут с большой, а мы будем с маленькой!

— Писать будем так... — сказал Сиротка, нахмурив брови. Мы насторожились. Воцарилась тишина, ученики впились взглядами в Сиротку. — Писать будем так, как требует грамматика, то есть с большой буквы. Керенский от этого больше не станет, он для нас теперь маленький, вроде блохи. А кричать в клас-

се не разрешаю, — продолжал Сиротка строго, — вы не в буржуйской школе, а в пролетарской. Должна быть дисциплина и сознательность. Если нужно спросить, подними руку и скажи: «Прошу слова».

— Съел? — прошипел Витька, поворачиваясь ко мне.

— Только выйди, я тебе дам! — пригрозил я.

Сиротка продолжал диктовать, а мы старательно шуршали угольками по газетам.

— «За нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире. За нами дело справедливости. Наша победа обеспечена...»

Подождав, пока отставшие закончат писать, Сиротка стал диктовать дальше:

— «Товарищи трудящиеся! Помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете все дела государства в свои руки.

...Берегите, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт — все это отныне будет всецело вашим общенародным достоянием...

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)».

Слово «Ленин» мне захотелось написать красным, но чем? Потом я вспомнил: у меня под поллой телогрейки вместе с кандалами должен быть кусочек бурой шахтной породы. Я пошарил и нашел. Слово «Ленин» получилось таким красивым, что ребята запросили: дай. Не хотелось мне, чтобы у других было так же, как у меня, но я подумал: «Нельзя быть жадным, ведь мы все теперь товарищи». Я роздал ребятам по кусочку породы, только Витьке Доктору не дал.

Когда закончился диктант, Сиротка прошел по рядам, и у кого было чисто написано — хвалил, а кто размазал уголь по газете — ругал. Меня он даже погладил по голове и сказал:

— Молодец!

На переменке никто не кувыркался, не скакал. Все ходили степенно: боялись помять подаренную одежду.

Абдулка даже не захотел подворачивать рукава новой телогрейки, и они висели до колен. Я решил помочь ему, но он зашипел на меня:

— Отойди, не цапай!



После урока чистописания рассказывали стихи. Витька Доктор, задаваясь, рассказал «Дети, в школу собирайтесь». Я прочитал «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет». Васька удивил всех, он вышел к доске и громким голосом рассказал тот самый стих, который напевал старик гусяр: «Поховайте та вставайте, кайданы порвите. И вражею злою кровью волю окропите!...»

Горящее от волнения лицо Васьки было красивым, а глаза — точь-в-точь два огонька.

На этом уроки закончились. Две работницы внесли в класс большую тарелку, накрытую газетой, и роздали каждому ученику по кусочку селедки без хлеба и по две сладкие ландринки.

5

Счастливый день! Все было радостным: и слова Ленина, которые диктовал нам Сиротка, и светлая классная комната, и подарки Совета, и наш однорукий учитель, вооруженный наганом.

Уплетая на ходу ржавую селедку, мы высыпали на улицу.

Около дверей школы стоял мрачный Илюха, теперь он жалел, что не пошел учиться. Глаза у него загорелись завистью, когда он увидел надетые на всех нас обновки: сапоги, валенки, новые пальто.

— Илюха, ты чего не захотел учиться? — спросил Витька Доктор, подбегая к рыжему.

— Я ученый, — важно ответил тот, — а сапоги я себе на базаре куплю. Подумаешь, задаются...

По дороге домой Илюха все время косился на мои ватные штаны, потом спросил равнодушно:

— Почему платил?

— Рубля три, нос подотри.

— Я всерьез спрашиваю, — тоном купца повторил Илюха.

— Бесплатно дали.

— Гм... А пинжак почему не дали?

— Дадут.

— Лёнь, а Лёнь, — сдался наконец Илюха и спросил жалобно: — А мне можно учиться?

— Ты же ученый.

Илюха не ответил. Он остановился и начал всматриваться в дальний конец улицы.

— Глядите! — воскликнул он. — Глядите, буржуи работают. Ой, умора!..

Посреди мостовой под охраной четырех красногвардейцев выковыривали ломами вмерзшие в землю камни, носили песок буржуи. Здесь были толстые барыни в шляпах с перьями, купцы в меховых шубах. Даже городской Загребай в фуражке без кокарды стучал по камням молотком. Потом я рассмотрел в толпе богатеев колбасника Цыбулю. С недовольным видом он тыкал в землю лопатой и то и дело вытирал платком лоб.

Толстые барыни в туфлях на высоких каблуках носили малюсенькие камни и хныкали, будто им было тяжело.

Прохожие обступили буржуев и посмеивались:

— Копайте, копайте! Поработайте хоть немножко в своей жизни!

Цыбуля косился злыми бычьими глазами и бурчал себе под нос:

— Не шибко радуйтесь, недолго продержится ваша власть кошачьих, свинячьих депутатов...

— Чего они здесь копают? — с удивлением спросил Уча.

— Осужденная буржуазия, — объяснил Васька.

Кто-то из ребят увидел Сеньку Цыбулю. Он стоял недалеко и, глядя на своего арестованного отца, ревел, размазывая по лицу слезы.

Я толкнул Ваську локтем и тихо, чтобы не спугнуть колбасника, зашептал:

— Вась, давай закуем Сеньку?

— Брось, охота тебе пачкаться!

Охота? Нет, не охотой нужно было назвать мое желание расправиться с колбасником, у меня даже ноги затряслись — так я хотел поймать Сеньку. Кто посадил в тюрьму Абдулкиного отца — дядю Хусейна и заковал его в цепи? Кто на суде надел кандалы на руки дяде Митяю, нашему председателю Совета? Нет, я Сеньку закую! Кандалы были при мне.

— Уча, закуем? — шепотом, чтобы не слышал Васька, предложил я гречонку.

— Давай! — И Уча погнался за колбасником.

Я бросился наперерез Сеньке. Но все дело испортил

Илюха. Он побежал прямо на Цыбулю и закричал: «Лови его, держи!» Колбасник увидел меня и пустился во весь дух вдоль улицы. Уча снял с плеча сапоги и швырнул их вдогонку Сеньке. Сапоги угодили тому в ноги, он запутался в них и, не добежав до калитки, брякнулся наземь.

Два прыжка — и я очутился верхом на своем исконном враге. Абдулка, Илюха и Уча держали Сеньку, а я, торопясь, тянул из кармана кандалы.

— Руки ему заковать, — хрипел Абдулка.

— Лучше ноги, держи ноги.

Как назло, кандалы зацепились за подкладку, и я никак не мог их вытащить.

— Ка-ра-ул! — дрыгая ногами, завопил колбасник.

Уча заткнул ему рот шапкой.

Наконец я достал кандалы, но тут понял, что не знаю, как нужно заковывать. Почему-то мне сделалось стыдно, вспомнились слова Васьки: «Охота тебе пачкаться!» Я поднялся и сказал ребятам:

— Пустите его к свиньям.

Сенька, всхлипывая, поднялся и, ни слова не говоря, поплелся по улице. Отойдя, он вдруг закричал:

— Подождите, оборванцы! Скоро до нас немцы придут, тогда всех вас на сук!

Я размахнулся, чтобы запустить в колбасника цепями, но кто-то сильный сжал мою руку. Я повернулся и увидел коренастую фигуру управляющего заводом дяди Хусейна.

— Ты что делаешь? — строго спросил он.

— Это буржуй, — пытался оправдаться я.

Подошел Абдулка и добавил:

— Он угнетал Леньку.

— Верхом на Леньке катался, — поддержал Васька.

Дядя Хусейн отобрал у меня кандалы, молча оглядел их.

— Довольно, откатались, — сказал он негромко и задумчиво; вспомнил, наверно, как сам был закован в цепи. — Теперь, Вася, никто не посмеет надевать на человека цепи. Не допустим! А эти кандалы сдадим в революционный музей, пусть лежат под стеклом, чтобы люди никогда не забывали, что значит буржуйская власть. А сейчас айда по домам, хлопцы!

До поздней ночи я ворочался в постели — никак не мог уснуть. Сколько интересного было в этот день! А сколько еще будет впереди! Теперь у нас свобода. Хотя нет у меня ни отца, ни матери — все люди для меня родные, все товарищи.

Товарищ! Стоит только прошептать это слово, и возникает перед глазами яркое утро. В зелени акаций поют птицы, а небо над городом высокое и просторное; кажется, оттолкнись, взмахни руками, как крыльями, и взлетишь высоко-высоко! А там, в небе, только разводи руками в стороны и плыви. Вот движется навстречу белое облако, ты облетаешь его стороной или становишься на облако ногами и громко кричишь: «Товарищи, я товарищ!» Далеко земля, никто не слышит, только птицы летают вокруг. А ты плывешь, сидя на облаке. Куда хочешь плыви, хоть в самый Петроград. Вэтом городе тоже развеваются красные флаги, и подходит сам Ленин, подходит и говорит: «Ну, товарищ, слезай!» Обняв за плечи, как когда-то делал отец, Ленин поднимает меня и смеется: «Ах ты товарищ!..»

Глава девятая

НЕМЦЫ И ГЕРМАНЦЫ

*Слушай, рабочий,
Война началась!
Бросай свое дело,
В поход собирайся,*

1

Я проснулся и сразу же вспомнил о духах. В землянке было тихо. В щели сквозь закрытые ставни просеивались солнечные лучи. Где-то во дворе громко и беспокойно кудахтала курица. За окном тарахтела бричка и тонкий голос кричал:

— Бабы, глины, глины!

Я лежал и думал о том, что тетя Матрена, Васька и Анисим Иванович, наверное, ушли на базар, что у меня под подушкой лежит недоеденный сухарь и что с утра я собирался делать духи.

Я поднялся, достал сухарь и, обмакнув его в ведро с водой, начал грызть. Дверь землянки оказалась запертой снаружи. Я вылез в окно, наполнил колодезной водой три пузырька и взобрался по стволу акации на крышу, чтобы делать из цветов духи.

Бескрайняя степь открылась передо мной. Темно-зеленым ковром стелилась она по балкам и курганам до самого горизонта, а там, за синееющим рудником, сходилась с небом. Совсем близко, на горе, виднелся Пастуховский рудник с черной насыпью шахтного террикона. Видна была вся наша горбатая улица.

Около дворов грелись на солнце лохматые собаки, а в пыли купались воробьи.

Над терриконом заводской шахты уже не вился желтый дым, не пели гудки по утрам. Все ушли на войну, и завод опять остановился. В городе стало жутко. Ползли слухи: «Немцы подходят».

В раздумье я сидел на краю крыши, напротив цветущей акации. Тяжелые ветви ее начинались от кривого ствола и поднимали на крышу белые пахучие гроздьи. Акация стояла как в снегу.

Я сорвал одну гроздь и начал проталкивать цветы в горлышко пузырька. Если ими набить полный пузырек, хорошие, говорят, получаются духи.

Напротив через улицу стоял мой старенький дом с заколоченными крест-накрест окнами. Еще не прошло года с тех пор, как погиб мой отец и пропала мать. Я смотрел на знакомые ставни, и слезы подступали к глазам. Вспоминались ласковые руки матери, жалостливые взгляды соседей, и на душе становилось еще горше. И только мысль о Васе, о нашей дружбе немного утоляла боль...

Сидя на крыше, я неожиданно услышал невдалеке чей-то пронзительный свист.

Через три двора от меня на крыше своего дома стоял Илюха. Задрав голову в небо, где, кувыркаясь, летали голуби, Илюха свистел, приседая от натуги. Изредка он поднимал длинный шест, на котором развевались рваные отцовские штаны с вывернутыми карманами, и размахивал шестом над головой. Увидев меня, он воткнул шест в трубу и, сложив ладони у рта, что есть силы крикнул:

— Ленька-а-а-а!

Расстояние, отделявшее нас, позволяло разговари-

вать свободно, не напрягая голоса, но я понимал Илюху: так приятно было набрать полную грудь свежего степного ветра и крикнуть, прислушиваясь к отклику эха. Я напрягся и ответил так громко, что куры, гулявшие на улице, бросились врассыпную.

— До нас германцы-ы пришли-и-и!.. — кричал Илюха. — Пойдем смотреть!

Пришли германцы... Я тотчас вспомнил слова Анисима Ивановича. Он вчера приехал домой поздно и, молча оглядев нас, сказал:

— Хлопцы, а ну ко мне!

Анисим Иванович обнял нас с Васькой и шепотом сказал:

— Когда немцы придут, смотрите не проболтайтесь за погреб. Вы теперь не маленькие, должны понимать.

Потом я слышал, как он говорил тете Матрене:

— Тут может явиться секретный человек. Если меня не будет дома, сховаешь его в погребе, накормишь и постелю сделаешь. Только смотри...

Ночью Васька объяснил мне, что секретный человек будет поднимать рабочих против германцев, которые наступают, чтобы свергнуть Советскую власть и поставить гетмана Скоропадского.

— А кто этот гетман? — спросил я.

— Шут его знает! Царь на Украине. Одним словом, буржуй, — заключил Васька с чувством невыразимой досады и злости...

Посмотреть, какие из себя германцы, было интересно и страшно. Я спрыгнул с крыши и побежал к Илюхе.

Через минуту мы уже мчались в центр города, откуда доносился неясный гул.

— А я по-германски умею, — похвастался Илюха и с важным видом достал из-за пазухи горсть пициков от желтой акации, но тут же снова спрятал их в карман, наверно боялся, что я попрошу посвистеть. — А знаешь, германцы ох и злые, глаз во лбу один, вот здесь, посередке, и говорят не по-нашему.

— Не выдумывай!

— Не веришь, сам услышишь.

— А ну скажи что-нибудь по-германски.

— Я бы сказал, да не поймешь ты. Ну, например: «Драйчик-двайчик, хурды-мурды, тирим-бирим, чох». Что я сказал?

— Не знаю.

— Я сказал: «Пойдем домой, я тебе пирогов дам».

Раньше я видел людей, которые разговаривали не по-нашему, это были военнопленные немцы. А какие же германцы?

— Меня вчера один приглашал, — продолжал Илюха. — «Приходи, — говорит, — в гости, саблю дам». Что, не веришь?

— Верю, — ответил я, хотя знал, что Илюха врет: вчера германцев в городе не было.

Шагая по улице, я в нетерпении оглядывался по сторонам. Вдруг я увидел на заборе большое объявление. Половина его была написана не по-русски, а на другой половине я прочитал:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каждый, кто передаст германскому командованию большевистских агитаторов, получит за каждого премию:

1. Сто рублей за сведения.
2. Двести рублей, если доставит агитатора в наше распоряжение.
3. Тысячу рублей и корову за поимку главаря по кличке Дядя Митя.

Комендант города майор Гейн-Гауптман

Наконец около хлебной лавки мы увидели первого германца. Боясь приблизиться, мы остановились в отдалении и стали рассматривать его. Германец был в синем жупане и шароварах, заправленных в сапоги. На голове шапка из серых смушек с длинным «оселедцем», на конце которого болталась кисточка. Из-за спины у германца торчала винтовка, на поясе висела граната, а сбоку волочилась по земле кривая, точно колесо, шашка.

Германец прохаживался возле лавки, видимо охраняя ее.

— Сейчас я спрошу у него по-германски, что он здесь делает, — сказал Илюха и направился к германцу.

Я подошел поближе, чтобы послушать их разговор.

Заложив руки в карманы, Илюха остановился перед германцем. Минуту они молча разглядывали друг друга.

— Драйчик, — неожиданно выпалил Илюха и замаялся, хмуро оглянувшись на меня: — Чего смотришь? Думаешь, не умею?

Он снова повернулся к германцу. Но тот вдруг выговорил чисто по-украински:

— Чего вылупився, як баран на аптеку? Чи я тоби цирк? — И он стукнул Илюху так, что у того слетел и покатился по дороге картуз.

Илюха икнул, догнал картуз и пустился прочь.

— Он сумасшедший, — с трудом переводя дыхание, проговорил Илюха. — Ты видал, какие у него глаза? Такие всегда бывают у сумасшедших.

— А почему он по-украински заговорил?

— Тебе же говорят — сумасшедший.

Илюха дернул меня за рукав:

— Гля, что это?

Из города бежал народ, мимо нас рысцой протрусила испуганная старушка. Она крестилась и повторяла вполголоса:

— Господи Иисусе Христе, что ж это делается! Господи милосердный!

Люди останавливали ее, о чем-то спрашивали, но она покачивала головой и повторяла одно и то же.

2

На главной улице невозможно было протиснуться. Гул от встревоженных голосов стоял в воздухе. Против белого здания с высокими полуколоннами на телеграфном столбе висел человек. Поверх мешка, накинутого на голову, туго затянулась вокруг шеи петля. На одной ноге у повешенного был надет ботинок, другая разута. На груди висела дощечка с надписью: «Большевик».

В стороне, громко причитая, плакала женщина. Четыре солдата в круглых стальных шлемах не подпускали к столбу людей.

На этих солдатах были короткие серо-голубые шинели, подпоясанные ремнями с медными пряжками. На пряжках — орлы с перьями, торчащими в стороны, как острые кинжалы. За спинами у солдат висели ранцы. По тому, как солдаты молча смотрели на людей, я понял, что они ни слова не понимают по-русски. Я сразу догадался, что это были немцы. Стало жутко. Главный немец, у которого на голове поблескивала черная каска с острой медной шишкой, гарцевал на коне и кричал:

— Коспода! Немецкая армия пришел на помощь вас. Она защищает вам от большевик и просиль разойтись по дома. Немецкий армия считает Совет непорядка. Так люди не дольжен жить. Люди дольжен жить не Совет, не коммуна. Кайзер Вильгельм помогайт русскому наводит порядок в России. Я просиль вас разойтись, коспода.

— У нас господа в семнадцатом году кончились! — слышался из толпы возглас.

— Вас никто сюда не звал, убирайтесь! — крикнул человек, стоявший позади меня.

Я обернулся и едва не вскрикнул от радости. Это был молотобоец Федя.

Колбасник Цыбуля ухватился обеими руками за Федю и заорал:

— Господа немцы, ловите, это большевик!

Федя ударил колбасника локтем в лицо.

— Караул!.. — заорал Цыбуля, приседая. — Держите его!

Федя метнулся в толпу, чуть не сбив меня с ног, и схватил на ходу камень с мостовой.

— Товарищи, бейте оккупантов! — и швырнул камень в часовых. И, как по команде, мальчишки всего города обрушили на немцев бурю камней.

Толпа, охваченная гневом, теснилась к вожакам, люди вооружались чем попало. Только теперь я заметил, что было здесь много шахтеров и они что-то прятали под одеждой. Вот один выхватил из-под полы шахтерский обушок и крикнул:

— Бей их, хлопцы!

Немец в каске с медной шишкой поднял руку и жестко, не по-русски, подал команду.

Сейчас же из-за угла выскочил немецкий конный отряд и с поднятыми палашами бросился на толпу. Их осыпали камнями. Но немцы стали рубить людей, и толпа хлынула врассыпную.

Илюха нырнул куда-то, и я потерял его из виду.

Я бежал, боясь оглянуться. Сзади цокали копыта, слышался лошадиный храп, раздавались стоны, ругань. Я заскочил в какой-то двор и присел за мусорным ящиком. Сквозь щель в заборе я видел, как старик рабочий стал бить немца по лицу торопливыми короткими ударами, обеими руками вцепился в горло и упал вместе с врагом. Другой немец, подскочив-

ший сбоку, воткнул старику рабочему в спину штык.

Потом я увидел Федю. Немец в каске изо всей силы ударил его палашом по голове. Федя зашатался и, нагнув голову, начал хватать над собой руками воздух, как будто хотел поймать шашку. Потом он рухнул на дорогу, окровавленный.

У меня закружилась голова.

Когда бой затих, я вышел за ворота.

Вдоль улицы курсировали верховые, то там, то здесь на земле виднелись следы крови. Посреди мостовой валялась женская туфля с отломленным каблучком. На ржавом гвозде, торчащем в заборе, белел клочок окровавленной рубашки.

Вокруг было пустынно, словно город вымер.

Шатаясь, я поплелся к себе на окраину, унося чувство ненависти к незванным пришельцам и страха перед ними.

3

Когда я вернулся домой, тетя Матрена катала белье тяжелым рубелем. Васька выстрегивал деревянные босоножки. Он хмуро взглянул на меня и спросил:

— В городе был?

— Ага.

— Мосю видел?

— Какого Мосю?

— Нашего. Повесили его.

Я оторопел:

— Разве это Мося?

— Ну да, он, — ответил Васька, и лицо его стало суровым. — А еще приказ германский есть, чтоб оружие сдавали, у кого имеется. Так ты смотри... — Он оглянулся на мать и шепнул: — Как брату тебе говорить, смотри. Всех нас повесят, если узнают.

Он замолчал и снова принялся за работу.

А я вспомнил Мосю, его примятый котелок и большую рыжую бороду. Вспомнил, как он приходил к Анисиму Ивановичу и учил его сапожному делу, как шутил с нами и делал нам из бумаги кораблики. Жалко Мосю...

Я встал и посмотрел в окно. На улице светило солнце, по траве ходили куры, в луже на дороге отража-

лось небо. Манило в степь, где теперь стрекотали кузнечики, покачиваясь на стеблях, где пахло полынью и в безоблачной синеве заливались жаворонки. Потянуло на речку, где в камышах мелькают голубые стрекозы, которых можно ловить руками, где по песчаному дну плавают серебряные пескари. Я взглянул на Ваську. Он сидел, сторбившись над сапожным столом, желтый и худой.

Позвать бы его сейчас в степь погулять. Но я понимал: Васька не пойдет. Последнее время я замечал в нем перемены: он перестал играть с нами, мало разговаривал, все куда-то бегал, шептался со взрослыми. На улице ребята скучали по своему командиру.

— Вась, пойдем на улицу, тебя Тоня зачем-то звала, — попробовал схитрить я.

Васька ничего не ответил. Может быть, ему самому хотелось пойти в степь и поиграть со мной, но он должен был кормить отца, мать и даже меня. Васька смотрел на банку с деревянными гвоздями и молчал. И тогда в его голубых глазах я заметил ту напряженную задумчивость, которая бывает у взрослых, когда они чем-то озабочены.

— Ничего, Лёнь, — сказал он, не отрывая глаз от банки с гвоздями. — Мы немцев прогоним. Нехай только... — Васька не договорил: за окном прогремел выстрел, а во дворах отчаянно залаяли собаки.

Мы выскочили за калитку. По улице, низко пригнувшись и отстреливаясь, бежал человек в черном пиджаке. Я заметил, что рукав у него был в мелу. За бегущим гнались немцы. Среди них был тот, в черной каске с медным шишаком.

Сквозь редкий забор я видел, как человек метнулся в Абдулкин двор, перемахнул через невысокую стену, сложенную из плоских камней, в мой двор.

Васька кинулся ему наперерез. На немцев набросились собаки, они отбивались ногами, но те еще больше свирепели.

Васька выбежал из моего двора и таинственно поманил немцев в соседний, Илюхин, заросший лебедой двор.

— Здесь, — прошептал Васька и указал на дверь угольного сарая.

Немцы направили туда винтовки. Главный подошел ближе и крикнул по-русски:

— Выходить!

Дверь не открывалась.

— Выходить! Стреляю! — повторил он.

В сарае было тихо.

— Achtung! — скомандовал немец. — Fertig sein!¹

Немец рванул за скобу. Старая дверь со скрипом распахнулась, немец направил туда револьвер, но тотчас же опустил его. На пороге с ведром угля в руке стояла дрожащая от страха Илюхина мать. Она силилась что-то сказать, но лишь бессмысленно пучила глаза.

— О, Donner Wetter!² — крикнул немец, плюнул и повернулся туда, где стоял Васька.

Но того уже не было.

— У-у, зобака! — выругался немец и зарычал на своих: — Fangen den Burschen!³

В суматохе я и сам не заметил, куда и как скрылся Васька.

Скоро на нашу улицу прибежали германцы-гайдамаки в жупанах.

Немцы покрикивали на них, а те в струнку вытягивались и отвечали: «Слухаю, шо прикажете?»

Немцы и гайдамаки развернулись в цепь по всей улице, выгоняли население из квартир, кололи штыками в матрацы, в груды угля в сараях, искали беглеца.

Немец в каске водил за рукав кофты Илюхину мать и кричал:

— Где большевик! Вы прятают большевик?

Она крестилась, а Илюхин отец, рыжий банщик, ходил за немцем и бубнил ему в спину:

— Драйчик-цвайчик, не знаем, ей-богу, не знаем, Мы его сами поймали бы, если бы знали, где он заховался.

Немцы лазили в погреба и сараи, распугали всех кур. Беглец не находился.

Тогда оккупанты стали грабить жителей, тащили из хат узлы. На улице стоял стон и плач.

¹ Внимание! Приготовиться! (нем.)

² Бранное выражение.

³ Поймать парня! (нем.)

Я возвращался домой, когда уже начинало темнеть. На Грязной улице, недалеко от нашей землянки, меня кто-то тихо окликнул по имени.

Я оглянулся и увидел Ваську. Он лежал в высокой лебеде, виднелась только белобрысая голова.

— Немцы ушли? — спросил он.

— Ушли.

Васька горячо зашептал мне на ухо:

— Хочешь секретного человека увидеть? Я его заховал. — Васька взглянул на меня лукаво и спросил: — Знаешь, кто это?

— Кто?

— Не скажу, сам увидишь.

— Скажи, Вась.

— Тсс, тише.

Узенькую улочку, заросшую сурепкой и лопухами, заполнил бледный свет луны. Васька бесшумно двигался мимо забора, за ним кралась его тень.

Мы прошли в мой двор. Через крышу летней кухни влезли на чердак. Сквозь отверстия в черепице просеивались тоненькие матовые струйки, густые, как дождь. Мы остановились у входа. Жуткая тишина таилась по углам. Чудилось, что в темноте ворочается что-то лохматое, когтистое. Но рядом стоял Васька, с ним я не боялся ничего.

— Дядь, — сказал он в темноту.

Молчание.

— Не бойся, это я, — повторил Васька и прошел по чердаку дальше.

В яркой полосе лунного света, падавшего сквозь дыру в крыше, показалось чье-то лицо и снова скрылось.

— А-а, белобрысый, — отозвался из темноты голос. — А это кто с тобой?

— А ты не узнаешь? Это же Ленька...

— Так, так... Ну а сам ты кто, как тебя дразнят?

Васька рассмеялся.

— Да ты же меня знаешь. И я тебя тоже...

— Погоди, погоди, — перебил Ваську басовитый голос, как будто боялся, что Васька назовет его по имени. — Как ты меня можешь знать, если я сам не знаю, кто я.

Васька продолжал смеяться:

— Ты дядя Митяй, товарищ Арсентьев.

«Вот тебе и раз: неужели это в самом деле дядя Митяй?» — думал я.

— Меня не обманешь, — говорил Васька, — ты дядя Митяй, только сейчас ты секретный человек, красный.

— Скажешь еще... Какой я красный? Штаны черные, тужурка тоже.

Просто не верилось, что это дядя Митяй. Ведь я своими глазами видел, как он на днях вместе с Сироткой уходил из города. Откуда же ему здесь взяться? Наверное, мы ошибались.

— Если ты не красный, — не уступал Васька, — тогда почему немцы за тобой гнались?

— Это интересное дело. Если хотите, расскажу.

— Расскажи.

Он ощупью нашел нас во тьме и положил руки на наши плечи.

— Тогда слушайте: дело было вечером, делать было нечего, жарили картошку, ударили Антошку. Антошка закричал: «Ой!» Прибежал на крик городской: «В чем дело?» Дело было вечером, делать было нечего...

Мы рассмеялись, а дядя Митяй спросил:

— Интересно?

— Интересно.

Он придвинулся к нам и зашептал:

— Вот что, хлопцы, если меня знаете, — молчок. А теперь слушайте: тут недалеко живет безногий сапожник Анисим Иванович Руднев...

— Ну вот, я же говорил... — перебил его Васька. — Безногий — мой отец, а я Васька... Что ты, забыл меня? — В голосе Васьки прозвучала обида. — Вот на мне и сейчас та гимнастерка, которую, помнишь, в школе выдали. А это Ленька Устинов, его отца в коксовых печах казаки сожгли...

Я почувствовал, как дядя Митяй привлек меня к себе и спросил ласково:

— Значит, это ты, Леня? Ах ты, малец мой хороший. Растешь?

— Расту, дядя Митяй, — ответил я. — У меня тоже штаны ватные целые, а жилетку я дяде Анисиму отдал.

— Ну, хлопцы, поговорим после, — заторопился дядя Митяй, — а сейчас бегите к отцу и скажите, что я ночью приду.

По дороге домой Васька все время удивлялся:

— Вот кого мы спасли! Теперь нехай трусят немцы.

— Почему?

— Знаем почему...

В тот же вечер, лежа на сундуке рядом с Васькой, я ждал, когда придет дядя Митяй. Наконец под окном послышались осторожные шаги.

Васька вскочил и, не зажигая каганца, открыл дверь. Кто-то вошел. Васька занавесил окно.

Я слышал, как дядя Митяй тихо говорил Анисиму Ивановичу:

— Ревком ушел еще ночью, а мы с Мосей задержались, ну, а... дальше знаешь. Хорошо, что твой сынишка подоспел, а то бы и мне болтаться на веревке. Ну ладно, вот что, война с немцами идет по всей Украине. Под Харьковом бьются с немцами наши донбассовцы. Там Артем. В Луганске формируется пятая армия... У меня письмо Ленина. Надо бы свет зажечь.

— Вася, где там каганец? — сказал Анисим Иванович.

Васька зажег каганец.

Дядя Митяй оторвал подкладку пиджака и достал лист бумаги. Тихим голосом он стал читать:

— «...2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови. 3) Железнодорожные организации и связанные с ними Советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодорожные здания; весь подвижной состав — вагоны и паровозы — немедленно направлять на восток в глубь страны. 4) Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные Советы под личную ответственность их председателей. 5) Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева и всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для



рытья окопов под руководством военных специалистов. 6) В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать!..

Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество!..»

Дядя Митяй свернул бумагу.

Помолчали.

— Немцы здорово вооружены, — сказал дядя Митяй. — Мне поручено организовать здесь отряд. Винтовок у нас сколько?

Анисим Иванович ответил очень тихо. Мы с Васькой тоже перешли на шепот.

— Слышал? — тихонько сказал он. — Будем жечь все подряд, чтобы врагу не досталось.

— Вась, а чего германцы пришли до нас? Ведь солдаты в окопах замирялись, помнишь плакат?

— Помню, да толку мало. Во всем виноват ихний кайзер Вильгельм. Он, когда узнал, что его солдаты с нашими братаются, позвал их к себе и строго так спрашивает: «Вы зачем братались с русскими солдатами?» — «Воевать не хотим, в русских братьев стрелять не будем». — «Ага, не хотите стрелять? А в тюрьму хотите? Берите сейчас же винтовки, и марш на войну, и чтобы всю Россию мне завоевать, иначе всех повешу!» Ну что тут будешь делать? Ясное дело — надо идти. Вот и пришли они сюда и гетмана Скоропадского привезли...

— Кто это?

— А я почему знаю? Буржуй, наверно. Наполовину немец, наполовину русский. Если прямо смотреть — вроде гайдамак, а повернешь сбоку — немец.

— Эх, не везет нам...

5

На другой день Анисим Иванович дал нам два вараханных початка кукурузы и приказал отнести дяде Митяю на чердак. Мы пробрались туда незаметно.

На чердаке от длинной балки шли наклонно по обе стороны дощатые перекладыны. На них висела пыльная паутина. Дядя Митяй полулежал на ворохе соло-

мы и что-то писал. Возле него, у дымовой трубы, лежал револьвер в деревянной кобуре.

Увидев нас, дядя Митяй приподнялся, чердачный настил затрещал под его локтем.

— Орлятки прилетели.

— Дядя Митяй, а где твоя борода? — спросил я.

— Понимаешь, ветром сдуло. Не успел схватить — сорвало и унесло. Такая досада...

Дядя Митяй принялся с жадностью грызть желтый початок кукурузы, посыпая его солью. Он был так голоден, что на все наши вопросы отвечал невнятным «умгу» и продолжал есть. Потом отбросил в угол обгрызенные стержни кукурузы и сказал:

— Добре закусил. Теперь бы пообедать в самый раз! — И он погладил себя по животу. — Ну да ладно, подождем с обедом до лучших времен. Верно, Ленья?

— Дядя Митя, а зачем нам сдался гетман Скоропадский? — спросил я.

— Мы его свергнем, Ленья. У него и фамилия подходящая: Скоропадский, значит, скоро упадет.

— Дядя Митя, шахтеры говорили, что этот Скоропадский — немец, — сказал Васька.

— Все возможно. Если он Украину немцам отдал, значит, сам немец или работает на немца. Недаром его дразнят знаете как? — И дядя Митяй, к нашему удивлению, прочитал нараспев стишок:

Ще не вмерла Украина,
От Киева до Берлина
Гайдамаки ще не сдались.
Дейчланд, Дейчланд юбер аллес¹.

Половину слов мы не разобрали, но все равно стишок был хороший, и я его тут же выучил на память.

Дядя Митяй показал нам свой маузер, объяснил, как из него стреляют и почему он лежит в деревянной кобуре.

Вечером мы принесли дяде Митяю ужин, а он рассказывал нам о Ленине, о том, как еще до революции вместе с ним жил в ссылке в сибирской деревушке и как Ленин устроил там для деревенских ребят ледяной каток, а потом вместе с детьми катался на коньках. Интересно было слушать такие рассказы: кажется, всю ночь, до утра, не сомкнул бы глаз.

¹ Германия, Германия превыше всего (нем.).

На другой день еще рассвет как следует не занялся, а мы уже явились на чердак. Не сразу заметил я девушку, которая сидела в углу, обхватив руками колени, и, улыбаясь, смотрела на нас.

— Это моя дочка, хлопцы. Она тоже не любит Скоропадского и борется против германцев. Надюша, познакомься с ребятами. Это Вася, а вот он — Ленька, Алексей слопал двадцать пять гусей, слопал и не наелся...

Надя ласково привлекла меня к себе. Руки у нее были нежные и теплые, как у моей матери.

— Горюют ребятишки, что немцы школу закрыли, — с улыбкой сказал ей дядя Митяй.

— Папа, я могу с ними заниматься. Хочешь, я буду тебя учить? — спросила меня Надя. Она тихо дышала мне в лицо, и я видел в полумраке ее добрые глаза.

Надя в самом деле начала заниматься с нами. На другой день она даже принесла два карандаша, и мы писали ими на селечной бумаге. Вася быстро схватывал все, чему учила нас Надя. Она его хвалила, даже я завидовал. Особенно любил он писать слово «Ленин» и был счастлив, когда оно выходило красиво.

От Нади мы узнали, что сама она приехала из города Луганска, где училась в гимназии и где ей пришлось побывать в тюрьме за участие в забастовке.

Однажды мы застали Надю на чердаке за необычным занятием. Перед ней стояла круглая сковородка, залитая до краев чем-то похожим на холодец. Надя укладывала на сковородку листы чистой бумаги, прокатывала сверху валиком, и на бумаге появлялись буквы. Листки она развешивала по растянутым ниткам, сушила. Надя показала мне один такой листок.

«Грозный час настал! — прочел я. — Немецкие белогвардейцы под ликующий вой российской буржуазии двинулись на нашу дорогую, нашей собственной кровью омытую Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Нашей революции грозит смертельная опасность. Немецкая буржуазия идет спасать буржуазию российскую...»

Надя сказала, что листовку написал рабочий, слесарь из Луганска, по фамилии Ворошилов. Хорошо написал слесарь, молодец!

Надя строго-настрого приказала, чтобы я, не дай

бог, не проговорился кому-нибудь о листках. Я побоялся, а Надя за это разрешила мне попечатать на сковородке. До чего интересное было занятие: приложишь листочек или ладонь к холодцу, и остаются слова. За ладонь мне досталось. Надя долго оттирала следы на моей руке и говорила, что этим самым я мог нечаянно выдать ее и дядю Митяя.

Как родную, полюбил я Надю, но она больше доверяла Ваське. Она давала ему листовки, он распахивал их за пазуху или под шапку и куда-то относил.

Шли дни, уже и август прошел. И вот однажды теплым сентябрьским утром мы, как всегда, незаметно пробрались на чердак и застали Надю в слезах. Она печатала листовки и молча плакала.

— Надя, ты почему плачешь? — встревоженно спросил Васька.

Надя ответила не сразу. Она вытерла слезы согнутой в локте рукой и сказала:

— У нас большое горе, ребятки: в Москве враги стреляли в товарища Ленина. Он лежит тяжело раненый...

Печальное известие оглушило нас. Надя отложила валик и рассказала подробнее: какая-то буржуйка, по прозвищу Фаня Каплан, стреляла в товарища Ленина пулями, отравленными ядом.

Ленин, наш Ленин. Лучше бы в меня стреляли буржуи, лучше бы меня убили насмерть, чем теперь быть без Ленина.

— Вась, а за что в него стреляли, чем он виноватый?

— Он коммунист.

— Это же хорошо!

— Для тебя хорошо, а для буржуев плохо. Вот они и злятся. Видишь, даже пули в яд обмакнула, чтобы вернее смерть была.

Надя сказала, что товарищ Ленин жив, только у него грудь и рука перебинтованы.

— Как же теперь... без Ленина? — спросил Васька, с надеждой глядя на нее.

— Вместо Ленина сейчас работают его помощники — товарищ Свердлов, товарищ Дзержинский, товарищ Артем. А врагам объявлен красный террор!

Немцы продолжали хозяйничать в нашем городе. Они делали обыски в домах, бросали в тюрьмы рабочих, поели все наши вишни и кавуны. На речках они разбирали мосты, в городе ломали заборы и хорошие доски отправляли в Германию. Гайдамаки на станциях грузили в вагоны мешки с мукой, уголь, кокс, горы чугунного лома. Один за другим уходили эшелоны, а люди горестно смотрели вслед и говорили:

— Поехало наше добро в Германию.

— Все пограбили, быть голоду...

Следа не осталось от прежней хорошей жизни. Немцы разгромили все Советы. В бывшей нашей школе устроили конюшню. Не было у нас больше ни «комиссаров по финансам», ни «комиссии по борьбе с контрреволюцией». Даже революционный музей, где лежали под стеклом наши кандалы, тоже закрыли, а кандалы кто-то украл...

Слово «товарищ» опять сделалось тайным. Если скажешь «товарищ», сейчас же становишься к стенке: значит, ты большевик и принимай пулю. Вместо слова «товарищ» опять надо было говорить «господин», «барин», «пан».

Гайдамаков гетмана Скоропадского мы дразнили песенкой:

Гайдамаки ще не сдались,
Дейчланд, Дейчланд юбер аллес.

Немцам я тоже мстил. Ходил среди них и говорил: «Эй, кайзер-хайзер» — и смеялся над тем, что они меня не понимали.

Оставалось набить рожу Илюхе, которого стали дразнить германцем за то, что он говорил: «Мы германцы» — и коверкал слова на их лад.

На другой день я подошел к знакомому забору и в щель увидел Илюху. Он сидел около сарая на маленькой скамеечке и, заглядывая в осколок зеркала, стоявший на табуретке рядом с блюдцем, мылом и помазком, намыливал щеки и «брился» столовым ножом, водил лезвием сначала по ремню, прибитому к забору, потом по щеке, счищая мыло.

Я приложился губами к щелочке и крикнул:

— Илюха, иди сюда!

Он вздрогнул, потом равнодушно повернул ко мне намыленное лицо:

— Я тебе не Илюха, и можешь меня Илюхой не звать.

Предчувствуя какое-то новое чудачество своего соседа, я спросил:

— А как же тебя звать?

— Фриц Адольфович, — важно проговорил Илюха и отвернулся.

— Эх ты, Фрицадоль, — передразнил я, — мы скоро твоим немцам и германцам по шее наkostenяем, чтобы они драйчик отсюда, пока живы.

— Вы? Нам по шее? — надрывался Илюха и, сунув мне кукиш, добавил: — Гаечка слаба!

Меня задело:

— А вот и не слаба. У нас оружие есть.

Сказав это, я спохватился, но было поздно. «Выдал, все пропало...» — подумал я с ужасом. Но, к счастью, Илюха не обратил внимания и спешил сам похвататься:

— У нас тоже есть. Двустволочка и кинжальчик, а еще...

Во дворе появился отец Илюхи с метлой в руках. У него был озабоченный вид, будто он потерял что-то. «Наверно, помазок ищет», — подумал я и нарочно не стал предупреждать Илюху об опасности.

А старик увидел «бреющегося» сына, бесшумно подкрался к нему сзади. Илюха, не видя угрозы, увлеченно продолжал перечислять:

— А еще у нас, у немцев, пулеметики есть, пушечки. Да мы из вас души вон, а кишки на телефон...

Отец наотмашь ударил Илюху метлой, и осколок зеркала звякнул о забор.

Илюха упал, подхватился и бросился бежать.

— Убью! — кричал отец, гонясь за ним с метлой.

С того дня Илюху стали звать на улице Фрицадоль. Потом это прозвище сократили до Фрица и наконец стали звать Мокрицей.

Последняя кличка прочно закрепилась за Илюхой. Мы даже сочинили по этому случаю песенку:

Рыжая Мокрица,
Выйди на улицу,
Мы тебя будем учить
По-немецки говорить,

Но этим дело не кончилось. Однажды ребята крепко поколотили Илюху, чтобы не продавался. Он просил прощения и, желая доказать свою верность, украл у немца штык. Я был доволен расправой над Илюхой, но неожиданно мое торжество сменилось глубокой печалью.

7

Однажды ночью Васька ушел с листовками и не вернулся. Тетя Матрена плакала. Дядя Митяй узнал, что Ваську арестовали. Вечером куда-то исчезли дядя Митяй и Надя. Чердак опустел.

До темной ночи я выходил за калитку, прислушивался к шорохам: не идет ли Васька?

Утром прибежал Уча и с таинственным видом сообщил, что кто-то из ребят слышал, как в немецкой тюрьме кричит Васька.

Все. Точка. Иду выручать друга. Я достал в сарае обручевую саблю, наточил ее на кирпиче остро, как бритву, и твердо решил: или умру под немецкими пулями, или Ваську освобожу. Не могу я допустить, чтобы над ним издевались в тюрьме!

Но когда я подошел к тюрьме и увидел немецких солдат с кинжалами-штыками, побоялся подойти и чуть не заревел от обиды. Трус! Какой же я подполковник? Вот не буду бояться, назло не буду! Я пошел прямо на немцев.

Один часовой стоял у дверей тюрьмы. Другой, в суконной бескозырке с красным околышем, расхаживал по тротуару. Я еще раньше заметил, что он смотрит на меня и усмехается, как дурачок.

«Смейся, смейся, гадюка, — думал я про себя, — вот секану тебя саблей по башке!»

Немец поманил меня пальцем:

— Komm zu mir Junge¹.

— Иди ты, немец-перец-колбаса.

— Komm, komm zu mir¹, — продолжал подзывать меня солдат. Я заметил, что глаза его смотрели по-доброму. Что бы это значило?

Не совсем доверяясь, я подошел. Немец погладил меня по голове и, порывшись в кармане, положил на мою руку что-то тяжелое и теплое. Я глянул и обмер:

¹ Подойди ко мне, мальчик (нем.).

² Подойди, подойди ко мне (нем.).

на ладони блестел новенький перочинный ножик со множеством лезвий, отверток и даже со штопором.

Сколько я мечтал о таком ноже! Я ждал его от отца, собирався отнять у Витьки Доктора. И вот я держу ножик в руках! Я крепко сжимал в кулаке дорогую вещь и глядел на немца с удивлением: не шутит ли?

— Сдеваешься? — спросил я с обидой. — Сдеваешься, да?

Но немец улыбался и подмигивал мне: дескать, бери, не стесняйся. Но как бы он ни улыбался, это все-таки немец. «Отдать ножик или нет? — думал я. — Они Васю посадили в тюрьму. Бросить или не бросить ножик? Может, они надели на Васю кандалы? Бросить ножик или взять?» И я бросил.

— На тебе твой ножик, подавись им! — сказал я и, совершенно расстроенный, убежал домой.

Зло меня брало и на себя, и на германцев. Чем бы им отомстить? Я стал искать, какую бы сделать пакость немцам. И я стал рубить саблей все немецкие афишки на заборах. Как замечу, подойду и р-раз! «На-те вам, нате!» Но облегчения я не чувствовал: все равно ведь за ними верх, Васька-то в тюрьме!

К счастью, на другой день прошел слух, что в Германии началась революция, кайзера Вильгельма сместили.

На лицах немецких офицеров я видел растерянность, и чувствовалось, что немцы собираются смазывать пятки салом. Все чаще находили в степи убитых немецких офицеров. Гайдамаки переодевались в гражданскую одежду и разбегались.

А еще через два дня случилось такое, что я глазам своим не поверил. Ночью к нам в окошко постучали. Тетя Матрена открыла дверь и тут же испуганно отступила. Вошли Васька, дядя Митяй и немец с ружьем. Удивительно, что пришел тот самый немец, который дарил мне ножик.

Землянка наполнилась приглушенным и радостным шумом. Я не отрываясь смотрел на Ваську и не узнавал его. Все лицо у него было в синяках, верхняя губа распухла и, как лепешка, покрывала нижнюю. Я не понимал, что происходит. Васька подошел ко мне.

— Здравствуй, — сказал он и нежно взял меня за руку, будто не верил, что это я.

— Вась, а зачем немец здесь?

— Не бойся, это хороший немец. Ему велели меня расстрелять, а он показал рукой: мол, беги. Я и ушел, а он вверх выстрелил, чтобы свои подумали, что он убил меня... Жалел меня? — спросил Васька, не выпуская мою руку, и я почувствовал, что он соскучился по мне.

— Я ходил тебя выручать, да немец с толку сбил, — и я рассказал про ножик. — Я не боялся, Вась, ей-богу, не боялся. Если бы не ножик, я бы ему стукнул саблей...

Васька усмехнулся кривой губой, вздохнул и сказал:

— Били меня немцы, ох били...

— За что, Вась?

— Поймали с пачкой листовок, хотели допытаться, где взял. Скажу я им, как же...

Васька поморщился, поднял рубаху и показал мне спину. Сердце у меня зашлось от жалости. Багрово-черные рубцы пролегли крест-накрест на его теле. Тетя Матрена, охая, кинулась чем-то смазывать Васькины раны, обернула ему спину полотенцем. Потом Васька подробнее рассказал о том, что с ним было:

— Поймали меня и спрашивают: «Откуда листовки?» — «Ничего не знаю». — «Говорить! Иначе будет делать больно». Сорвали с меня рубаху, привязали руки к лавке и давай плетками хлестать. «Будешь сказать?» Я глаза зажмурил, зубы сжал. Молчу. «Будешь сказать?» Я терпел, терпел и говорю: «А мне все равно не больно!» Конечно, это я назло так сказал. А было больно... Пришлось терпеть. Если бы я заплакал, они бы подумали, что я боюсь. Еще бы немного и не стерпел...

— Подальше, подальше заховай, — услышал я голос дяди Митяя, оглянулся и увидел, как он подавал немцу пачки листовок, а тот запихивал их к себе за пазуху.

Немец что-то лопотал по-своему и размахивал руками. Все молча слушали его, но никто ничего не понимал. Только дядя Митяй кивал головой и говорил:

— Правильно, правильно.

— Ich bin auch Arbeiter!¹ — кричал немец, показывая грубые, мозолистые руки, и все говорил, говорил...

¹ Я тоже рабочий! (нем.)

Дядя Митяй продолжал кивать головой.

— Верно, правильно говоришь, товарищ.

— Товарищ, хорошо! — сказал вдруг немец и, подняв кулак, воскликнул: — *Es lebe die Revolution!*¹

Немец подошел ко мне. Узнал ли он меня или просто таким был добрым, но он опять вынул из кармана ножик и дал мне его. При этом он ласково погладил меня по голове.

Я не знал, чем отблагодарить немца за подарок, полез под сундук и достал пузырек с духами.

— На, возьми за ножик, — сказала я.

Немец улыбнулся и опустил мой пузырек в карман гимнастерки.

— *Auf Wiedersehen!*² — говорил он, уходя, а у двери потряс кулаком и выговорил с гордостью: — Ленин!

Через два дня рабочие в городе восстали. Немецкие войска бросились бежать. Рабочие преследовали их. Я тоже гнался за немцами с камнем в руке. Я только боялся, как бы не попасть нечаянно в того доброго немца, который подарил мне ножик.

Глава десятая

ЛЮБОВЬ

*Эх, яблочко,
Куда котишься,
Ко мне в рот попадешь,
Не воротишься.*

1

Было холодное утро поздней осени. Пушистые хлопья снега садились на мою непокрытую голову, плечи, руки. Я стоял босиком на снегу и дрожал от холода и радости. Я приплясывал на месте и никак не мог уйти в землянку. Пятый раз я перечитывал объявление, написанное красной краской на оберточной бумаге:

¹ Да здравствует революция! (нем.)

² До свидания! (нем.)

Дорогие товарищи!

Завтра, в 7 часов вечера, в бывшем киноиллюзионе состоится праздник первой годовщины Советской власти. Будет музыка (гармошка), туманные картины и танцы. Вход бесплатный и только для трудящихся.

Культурно-просветительная коллегия.

Мы с Васькой ждали этого праздника давно. Ходили слухи, что снова откроют школу, — как было не радоваться! Но вместе с тем я боялся, как бы не вышло чего-нибудь плохого. Дело в том, что вокруг города появились банды, и не было от них покоя. Особенно напугал нас один случай, который произошел два дня назад.

К нам пришел дядя Митяй — теперь он командовал в городе Красной Армией — и объявил, что буржуазная власть на Украине, Центральная рада, свергнута, а гетман Скоропадский убежал с немцами. Вместо него появился новый бандюга — атаман Петлюра, а кроме того, Махно. Они грозили рабочим расправой. Но мы назло всем «батькам» решили отпраздновать первую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Первая годовщина... Год назад погиб мой отец и пропала мать. Разве это забудешь? Год назад я стал сиротой, и землянка по-прежнему была заколочена досками. Я туда не ходил, чтобы не растревать сердце и не плакать. А горе комом стояло в горле. И только одно смягчало боль — дядя Митяй сказал: не напрасно погиб мой отец, смерть его принесла рабочим победу.

Накануне праздника Анисим Иванович дал нам с Васькой кусок красной материи, и я написал мелом те самые слова, которые были на мамином знамени, что развевалось на баррикадах завода: «Это будет последний и решительный бой». Для слова «бой» не хватило места, и нам с Васькой пришлось пришить кусочек розовой материи. Получилось красиво! В верхнем углу я приколот пятиконечную красноармейскую звезду, подаренную мне дядей Митяем, и мы вывесили флаг над землянкой.

Все было хорошо, только я боялся, что звезду украдут. Звезда была у нас на улице самой большой ценностью. Если германскую каску с медным орлом мож-

но было выменять на десять патронных гильз, то звезду не отдавали даже за кусок хлеба.

Всю ночь я ворочался. Сквозь дрему мне мерещилось, что во дворе кто-то ходит, даже поскрипывала дверь, будто ее пробовали открыть. Я теснее прижимался к Ваське, боясь и уснуть и проснуться.

Не зря я ворочался ночью: утром мы не нашли ни звезды, ни флага. Не было флагов и на других домах. По всему городу их кто-то сорвал, а на калитках написал мелом крестики.

Поползли тревожные слухи. Илюхина мать уверяла, что это сделал колдун, который умеет превращаться в теленка: она божилась, что видела ночью теленка, который ходил по улицам и писал копытом кресты на калитках. (Выдумают же такое — писать копытом: как же он копытом карандаш удержит?) Болтали и другое: будто ходит по России царь Николай, ищет свою корону.

Трудно было разобраться, где правда, а где выдумка. Только Васька, бегавший утром в Совет к дяде Митю, разъяснил все. Оказалось, что в окрестностях появилась махновская банда какого-то батьки Яблочко и что флаги сорвал он.

Всякое говорили об этом бандюге. Будто бы никто его не может поймать, потому что он налетает неожиданно, и, пока бандиты играют «Яблочко», он кричит с тачанки: «Здоровеньки булы, граждане! Сдавайтесь без боя!» И начинается грабеж.

Можно было не слушать эти басни, если бы не одна история. Рассказывали, будто свою жену, Соньку Золотую Ручку, он украл ночью. Самым натуральным образом украл и увез. Отец этой Соньки встал утром, смотрит: дверь на крючке, вроде никто не заходил, а дочери нет.

Первый раз в жизни узнал я, что женщин можно красть, как голубей или патроны. Сначала не поверил этому, а потом втемяшилась в голову мысль: не украсть ли себе кого-нибудь, к примеру Тоньку, сестру Абдулки Цыгана?

Последнее время она мне стала нравиться. Все началось с того, что однажды Тонька вышла на улицу в новом платье, а вместо бус надела цыганские серебряные монеты. Где она взяла их: у матери стащила или в таборе цыганском разжила, только от нее нельзя

было отвести глаз! Чем она меня причаровала, понять я никак не мог, но она показалась мне лучше всех на свете.

Правда, последнее время Тонька играла с нами реже. У нее, как у большой, уже заплетались косы. Украсть бы Тоньку, и ничего больше не надо! Попробовал я поговорить с ней, чтобы дружила со мной, а она посмеялась: «Нос не дорос».

Не знал я, что делать. Попался как-то на глаза старый журнал «Нива», где на обложке было объявление:

ВСЕ ВАС ПОЛЮБЯТ!

Нет более несчастья в любви, или вернейший ключ к женскому сердцу.

Искусство нравиться, основанное на изучении женской природы и примененное к духу нашего века.

Наша новая книга «Успех в любви» научит вас, что надо делать, чтобы победить непокорное сердце. Как должен действовать мужчина, чтобы влюбить в себя красивую и богатую женщину.

Любовные напитки и приготовление их.

Цена с пересылкой в закрытом пакете наложенным платежом 1 р. 75 к. Москва. Дом Ферейна.

Должно быть, книга была интересная, но у меня не было этих 1 р. 75 к.

Хорошо бы украсть Тоньку бесплатно. Отнести ее в степь на берег речки Кальмиус, построить хату из камыша. Потом бы обвенчались с Тонькой у отца Иоанна и зажили бы честь по чести. Я ходил бы на работу в завод, а она варила обед.

Думал я, думал, но так ничего и не выдумал...

2

Утром наступившего праздника мы с Васькой проснулись раньше обычного. От голода тошнило, а ноги, укрытые старым пиджаком, были холодные, точно ледышки. Землянку топить было нечем.

Открыв глаза, я увидел Анисима Ивановича, стоящего возле сундука. За год жизни у Васьки я уже привык к старику и не замечал, что у него нет ног. А тут поразился: сундук ему был по плечи, как будто он стоял в яме перед сундуком.

Анисим Иванович вытаскивал белье, перетряхивал его и отбрасывал в сторону. Это было все, что осталось после того, как тетя Матрена ушла по селам менять вещи на хлеб.

Потом Анисим Иванович поглядел на Ваську и громко окликнул его:

— Василий, подымайся. Нынче базар открылся. Понесешь материну кофту, может, фунта два макухи дадут.

Васька осторожно, чтобы не разбудить меня, встал и подошел к отцу:

— Батя, мою рубаху тоже снесем. Ленька у нас голодный, нехай ест побольше...

— Для меня вы оба сыновья... — сказал Анисим Иванович.

— Я могу долго не есть. А он маленький...

Вот и опять Васька жалеет меня. Что бы такое сделать, чтобы и мне его пожалеть? Выменяем на базаре макуху, и я отдам ему все. Только много ли дадут за старую рубаху?..

Нестерпимо хотелось есть. С тех пор как немцы увезли в Германию наш хлеб, наступил голод. В городе поели всех воробьев и галок. Ловить их было занято. Мы ставили во дворе ящик, а под него палочку. От палочки тянулся длинный шпагат. Сидя в сарае, мы стерегли, и, как только птицы слетались на мусор, мы выдергивали из-под ящика палку, и он накрывал птиц. Подбежав, мы осторожно запускали под ящик руку и вытаскивали галок, они хлопали крыльями и больно клевались. Жалко нам было птиц, да что поделаешь — голод...

Я поднялся и, пока Васька собирался, вышел на улицу. Ярко светило солнце. Спокойное синее небо стелилось над городом: грустные, стояли акации, осыпанные снегом. Степь, белая и холодная, уже не звала к себе, а пугала. Улица казалась еще более кривой. Порывы ветра подхватывали жухлые листья и вместе со снегом уносили их в чей-нибудь заброшенный двор.

Возле Абдулкиного дома я увидел Тоньку. Она сидела на лавке и лузгала семечки, далеко отплевывая шелуху. Перед ней, важничая, прохаживался рыжий Илюха. Последнее время он, будто назло мне, увивался возле нее, начал каждый день умываться и даже

утюжил свои латанные-перелатанные, вздутые на колесках штаны.

На Илюхе были новые ботинки (я слышал их скрип). Тонька посматривала на них и заливалась счастливым смехом. Сейчас она казалась мне еще лучше, чем была. Ее красивые черные глаза были похожи на блестящие антрацита. Нет, не уступлю Тоньку конопатому! Злоба, вызванная голодом, усилилась чувством ненависти к Илюхе. Я угрюмо двинулся на него. Новые ботинки Илюхи оказались старыми опорками, намазанными дегтем.

У меня отлегло от сердца.

— Слышал про царя? — спросил Илюха, усаживаясь рядом с Тонькой, когда я подошел.

— Нет, не слышал и слышать не хочу.

— Эх ты... До нас же царь приходил, а ты не знаешь. Я его видел. Хитрый, воробьем прикинулся. Сидит у нас на дереве, смотрит на меня человеческими глазами и говорит: «Чик-чирик, я царь, чик-чирик».

До чего же глупым был этот Илюха! Надо же такое придумать — воробьем царь прикинулся. Не зная, как уязвить Илюху, я сложил кукиш и сунул ему под нос:

— На тебе дулю. И царю твоему тоже, и царице, и царевичу.

Я оттеснил Илюху и уселся на лавочке рядом с Тонькой. Она отодвинулась, а Илюха недовольно засопел:

— Она не твоя невеста, и можешь не толкаться.

— Наверно, скажешь твоя? — спросил я, уверенный, что Тонька поднимет его на смех. Но она молчала, а Илюха совсем обнаглел и сказал с усмешкой:

— Моя, спроси у нее.

Тонька так преданно смотрела на Илюху, что можно было ожидать, что она подтвердит его слова. «Если так, — решил я, — тогда ни мне и ни тебе!»

— Тонька не твоя и не моя невеста. Она Васькина! — сказал я и понял, что поразил Илюху в самое сердце.

Тонька покраснела и засмеялась.

— А где Вася? — спросила она.

— Дома, сейчас придет.

Илюхе не хотелось уступать первенство. Он поднялся с лавки, нагнулся и, неожиданно для нас, стал на

голову, задрав кверху растопыренные ноги. Его лицо, наполовину погруженное в снег, побагровело. Тонька с восторгом глядела на Илюху. У него посинели уши, а он все стоял. Потом свалился, встал, пошатываясь, и хрипло проговорил:

— Еще дольше могу простоять.

— Целый день постоишь? — спросила Тонька.

— Раз плюнуть, — хвастался Илюха, вытирая проступившие слезы.

— А сто дней постоишь? — спросил я.

— Простою. Только обедать буду вставать.

Тонька не то с восхищением, не то с насмешкой смотрела на Илюху. Разбираться было некогда, и я подумал: «Украду. В дальнем карьере есть пещера, туда и утащу!»

— Ты Васькиного мизинца не стоишь, — сказал я Илюхе. — Васька в тюрьме сидел за свободу, а ты?

— А я воровать умею, — похвалился Илюха.

Я подошел к нему — грудь в грудь.

— Умеешь? Ну укради что-нибудь у меня. Укради вот этот патрон.

— Пожалуйста... Только ты не смотри, как я буду красть.

Заложив руки за спину и равнодушно посвистывая, точно я вовсе не интересовал его, Илюха прошелся мимо.

Я крепко зажал в кармане патронную гильзу. Илюха подкрался сзади и грубо полез ко мне в карман. Я схватил его за руку.

— Чего хватаешься? — обиделся он.

Наступил момент рассчитаться с Илюхой, и я взял его за рубаху.

— А ты чего по карманам лазаешь?

— Да мы же играем. — Илюха попятился. — Я разве вправду?

— Нет, ты чего в карман лезешь? — наступал я.

Со двора выбежал Абдулка, стал между нами и не дал драться. Может быть, к лучшему: мы все побаивались длинных и грязных Илюхиных ногтей, еще вцепится, глаза выдерет.

— Ладно, обожди, я тебе еще надаю, — грозил я.

Илюха хныкал.

В это время подошел Васька. Он снял с плеча мешок и сел на лавочку. Несколько минут все молчали.

Потом Илюха шмыгнул, провел под носом рукавом и попросил:

— Васька, Расскажи нам...

— Чего тебе рассказать?

— Чего-нибудь.

Васька покосился на рыжего, как бы придумывая, чем его поддеть. Потом сказал:

— А ты новость знаешь?

— Какую?

— Говорят, что в Казани пироги пекут с глазами...

— Как? — не понял Илюха.

— А так. Их едят, а они глядят.

— Г-гы...

— Расскажи, как ты в тюрьме сидел, — попросил подошедший Уча.

Васька сплюнул сквозь зубы:

— Очень просто. Как сейчас сижу, так и в тюрьме сидел.

— Врешь, — сказал Илюха.

— Зачем врать?

Тонька, стоя у калитки, с нежностью смотрела на Ваську. Потом она зачем-то побежала в дом.

— А тебя в тюрьме били? — спросил Илюха.

— А как же? — ответил Васька. — Для того и тюрьма у немцев, чтобы людей терзать.

— Вот глядите, как били, — сказал я с гордостью за Ваську, снял с него шапку, и ребята с уважением потрогали шрамы на Васькиной голове.

— За что тебя били? — спросил Илюха.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — сказал Васька, взял мешок и легко перебросил его через плечо.

— Пойдем, Леня, а то базар кончится.

— Вась, а кто у нас флаги поснимал? — не отставал Илюха.

— Бандит Яблочко.

В эту минуту из дому выбежала Тонька. Что-то пряча за спиной, она озорно оглядела ребят.

— Кому подарить? — спросила она, подняв над головой вареную картошку.

— Мне, — поспешно сказал Илюха.

— Мне, мне, — в один голос проговорили мы с Учей и потянулись к Тонькиному угощению.

Один Васька молчал.

— Давай мне, — сказал Абдулка.

— Ты уже ел, — заметила Тонька и несмело подошла к Ваське: — На, Вась. Бери, ну бери же, у меня еще есть.

— Вот еще, зачем я возьму? Ешь сама.

— Да бери же, чудной, — попросила она с обидой в голосе и насильно сунула картошку в карман Васькиного пиджака.

Васька укоризненно покачал головой и сказал:

— Ну ладно, за мной будет долг...

Мы пошли. Дорогой Васька спросил:

— Хочешь есть?

— Так себе. Могу есть, а могу и не есть...

Васька вынул из кармана Тонькину холодную картошку и дал мне.

— А ты? — спросил я.

— Ешь, я сытый.

Все же я разломил картошку пополам.

— Бери ты, тогда и я возьму.

— Не выдумывай. Я старший и могу терпеть.

Все-таки я переспорил, и мы разделили картошку на двоих.

3

Базар, открытый на Сенной площади, был немногочисленным. Несколько торговков с макухой и колбасой, подвода с подсолнухами и высокий воз соломы. Одна подвода привезла кукурузу. Возле нее была давка.

Наверху, прикрыв собой желтую кукурузу, сидела толстая крестьянка. Рядом с ней — дядька в оранжевом кожухе и в бараньей шапке. Он кричал:

— Граждане, не товчиться коло брички. Уже нема кукурузы, уся.

— Эй, — выкрикнул один из толпы, — за сапоги сколько дашь? — и поднял над головой новые хромо-вые сапоги.

Крестьянин пренебрежительно взглянул на них.

— Два фунта, — сказал он и отвернулся.

Толпа напирала. Но толстая тетка пищала:

— Нема, бабоньки, кукурузы, и не стойте, нема.

В стороне громко кричала другая торговка:

— Колбаса баранья по дешевке! Сто тысяч рублей порция! Только сто тысяч!

— В кавалерии твоя колбаса не служила? — спросил проходивший мимо паренек.

Торговка осыпала шутника бранью.

— Раки, раки! — вдруг услышал я сзади грубый голос.

Я оглянулся и увидел старуху. Она была обута в сапоги. На маленьком лице, закутанном в серый платок, выделялся толстый нос, из которого торчали черные волосы. Глаза у старухи были темные, как два медных пятака.

Васька достал кофту и начал торговаться с теткой, продававшей пять штук картошек, а я подошел к старухе посмотреть раков.

— Ты шо, хлопчик, — спросила она, — рака хочешь?

— Почем? — деловито осведомился я.

Старуха пытливо оглядела меня и сказала:

— Не купишь, дорого.

— А может, у меня сто тыщ есть, — сказал я.

Старуха показала в улыбке желтые зубы и сочувственно покачала головой.

— Бачу я, бедный ты, хлопчик. Я тебе рака за так дам, без грошей.

Она взяла за клешню одного рака и протянула мне. Я попятился.

— Бери, дурный, — сказала она, — бери, я еще дам. Ты хлопчик бидный, я бачу.

Машинально я принял от нее двух раков и покосился на Ваську, который уже продал кофту и покупал картошку. Я хотел было подойти к нему, но старуха потянула за руку:

— Иди до мене, хлопчик, у тебе, мабуть, батька нэма, да?

— Нету, — угрюмо сказал я.

— Ну вот. Я и вгадала. Як тебе зовуть?

— Ленька.

— Ож, яке гарне имя, аж мини завидно. А скажи, Леня, шо там за собрани сегодня в городи?

— Праздник нашей власти, — сказал я.

— А-а, вот як! Шо ж, усим туда можно, чи тилки Червоной Армии?

— Только трудящим, — ответил я.

— О це гарно, — воскликнула старуха, — значит, пиду и я! Хоть трошки порадуюсь на старости. А мо-



же, мени не пустить начальник Червоной Армии?

— Не знаю,— ответил я, — у него и спроси.

К нам подошел усатый дядька с плеткой в руках. Он шлепнул по старушкиной табуретке и весело спросил:

— Торгуешь, бабуса?

— Торгую, торгую, — ответила старуха, не глядя на подошедшего. — Не мешай, торгую.

Дядька отошел и побрел по базару, похлестывая плетью по голенищам сапог.

Старуха все ближе привлекала меня, поглаживая мое плечо огромными, как клешни, руками.

— Ты, Леня, бери ще рака, — сказала она, — бери, не бойся. И скажи, до кого ж мени обратиться... хто ж тут за начальника Червоной Армии?

— А шо? — спросил я, насторожившись...

— Так, — безразлично ответила она. — Интересно, кто может быть начальником, колы тут усий армии два человека?

— А вот и не два, — возразил я.

— А скильки ж? — ласково спросила старуха и притянула меня к себе.

Мне стало противно. Я начал вырываться и крикнул.

Подбежал Васька.

— Ты чего? — спросил он и глянул на старуху.

— Вот обнимается, — сказал я. — Дядю Митяя ей надо.

Старуха гневно метнула глазами и вдруг крепко схватила меня за полу пиджака:

— А ты шо у меня ракив покрав, га? На шо?

Как из-под земли, вокруг нас появилось много подозрительных дядек. Среди них был подходивший раньше с плетью.

Они переглядывались со старухой, как бы спрашивая, что нужно делать с нами. Страшный круг их сужался. Я похолодел, раки вывалились из моих рук.

Васька подступил к старухе:

— Пусти!

Но старуха не отпускала. Брови ее нахмурились, зубы оскалились.

— Пусти его! — снова крикнул Васька, рванул меня из ее рук, и мы побежали...

Один из дядек подставил Ваське ногу, и он упал

в снег, другой так ударил меня по шее, что я долго потом не мог повернуть головы.

Васька выкарабкался из снега. Усач в голубых шароварах схватил его за куртку, но Васька рванулся в сторону.

— Бежим скорее к дяде Митяю. Это бандиты.

Мы во весь дух пустились к Совету.

4

Дяди Митяя на месте не оказалось. Часовой послал нас в киноиллюзион.

Мы увидели его там на высокой лестнице, приставленной к стене. Переговариваясь с Надей, которая стояла у лестницы и держала коробочку с гвоздями, дядя Митяй прибавал красный лозунг: «Хай живе Радянська влада!»

Когда он слез, мы схватили его за руки и заговорили, перебивая друг друга.

Дядя Митяй засмеялся, тряхнул руками.

— Да постойте вы, говорите толком. Ну говорите. — Он кивнул мне.

Я передохнул и рассказал то, что мы видели и слышали на базаре.

— Ты все сказал? — спросил он, улыбаясь.

— Все, — ответил я, опустошенный.

Он полез в карман и вытащил целую пачку желтых талонов.

— Вот, — сказал он, — отдайте отцу, а на это у каптера хлеба получите и пообедайте в столовой, а насчет старухи не бойтесь, все будет хорошо. Идите.

Дядя Митяй послал на базар отряд красноармейцев, но они не нашли там ни старухи, ни подозрительных дядек.

— Убегли, — сказал мне шепотом Васька, — дядю Митяя надо охранять. Я буду все время ходить сзади него, а ты сбоку смотри.

Мы отправились в красноармейскую столовую. Там нам дали по целому котелку синего перлового супа и по куску хлеба из кукурузы. Никогда я не ел так много. Я даже облизал котелок. Еще можно было поесть, да, как говорил отец, брюхо не мешок, в запас не ест. Пришлось уходить от супа.

Под вечер, еще задолго до начала празднества, возле кино собралось много народу. А когда стемнело, подошел отряд красноармейцев с винтовками за плечами. Они громко пели:

Ты лети, лети, мой конь,
Да не спотыкнися,
Возле милого двора
Стань, остановися.

Когда они по одному стали заходить в помещение, подбежал Васька и схватил меня за руку:

— Иди скорее!

— Куда?

— Иди. Будешь речь говорить.

— Как? — испуганно спросил я.

— Очень просто. У тебя отца убили, вот дядя Митяй и хочет, чтобы ты речь сказал...

Васька потащил меня через зал. Всюду на стенах горели шахтерские лампы, огарки свечей. Света от них было мало, зато потолок потемнел от копоти.

На сцену вынесли стол, покрытый красной материей, поставили знамена. Дядя Митяй подвел нас с Васькой к знаменам:

— Стойте по бокам, и чтобы не шевелиться. Это называется почетный караул.

Всюду были лозунги, а над сценой портрет Карла Маркса — учителя всех рабочих и крестьян.

В зале, на деревянных лавках, на мягких шатохинских креслах с бархатными спинками и гнутыми золотыми ножками сидели рабочие, красноармейцы. Курили сигарки, завернутые в керенские деньги, танцевали между рядами. Помещение было не топлено, сидели в шапках, в платках. От махорочного дыма в зале стоял туман.

Переливчато играла гармошка. Надя плясала, взявши руки в боки. Она была в своей неизменной военной гимнастерке, в сапогах и с револьвером на ремешке. Длинных кос у нее уже не было: из-под кубанки выбивались шелковые кольчатые кудряшки. Лицо у нее горело, глаза сверкали. Вокруг Нади — шум, крики, смех. Она всех переплясала, и тогда вызвался танцевать шахтер Петя. Он подошел к Наде, топнул ногой, вызывая, и пошел по кругу, прищелкивая пальцами и шлепая ладонями по голенищам сапог. Надя не подда-

валась, и Петя пустился впрыска, вскидывая ноги выше головы.

— Давай не задерживай! — подбадривали его красноармейцы.

Надя остановилась и запела частушку:

Говорит мне мама строго:
«Почему не веришь в бога?»
А я прямо ей в ответ:
«Потому что его нет».

Тряхнув кудрями, она рассыпала каблуками дробь. Подошел улыбающийся ее отец, дядя Митяй.

— Хватит. Молодцы! Никто никого не победил, — заключил он.

Надя сняла кубанку и стала обмахивать ею раскрасневшееся счастливое лицо. Петя петухом ходил вокруг нее.

— Ну и крепка ты, — сказал он и нежно взял ее за руку, — сто потов с меня сошло. Устал.

— Ничего, — засмеялась Надя. — До свадьбы заживет.

— А когда будет наша свадьба?

— Когда рак свистнет. — Надя, играя, кинулась бежать. Но Петя догнал ее, и они закружились в вальсе.

После танцев все расселись по местам.

Дядя Митяй постучал карандашом по графину и, когда наступила тишина, оперся руками на стол и начал говорить:

— Дорогие товарищи! Разрешите поздравить вас с первой... годовщиной Октябрьской социалистической революции...

В зале бурно захлопали в ладоши. Дружный, радостный шум перешел в пение. Торжественно заиграла гармошка, все встали, сняли шапки и запели:

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

До чего же хорошо пели: дружно, сурово и радостно. Я стоял у знамени, и, хотя дядя Митяй не велел шевелиться и моргать, я моргал и глотал слезы от волнения и какой-то непонятной жалости к самому себе.

Когда пение смолкло, все надели шапки и опустились на свои места. Дядя Митяй продолжал:

— Товарищи! В тяжелой обстановке отмечаем мы свой светлый праздник. Прошло только две недели, как мы изгнали немцев. Теперь другие интервенты сжимают нас в кольцо. На Дальнем Востоке высадились японские и американские войска. На Кавказе турки захватили Баку. На Черном море советский город Батум занят англичанами. Душитель рабочего класса военный министр Англии Черчилль не остановился на этом беззаконии. Он приказал своим войскам занять Архангельск. Там сейчас льется пролетарская кровь. На юге Одессу захватили французы. Из Сибири наступает «Верховный правитель России» генерал Колчак. На Украине орудуют Петлюра и Махно. Враги народа — меньшевики и эсеры — ранили вождя мирового пролетариата товарища Ленина. У нас нет хлеба, нет угля, мало оружия, но мы не упали духом, нас миллионы!..

Я покосился на Ваську. Лицо у него было строгое, а от знамени, под которым он стоял, пахло порохом, и видны были пробоины от пуль.

— На страх врагам, — продолжал дядя Митяй, — в голоде и лишениях мы празднуем первую годовщину великой революции и будем верить, что скоро мозолистая рабочая рука сотрет с лица земли всех врагов...

За входной дверью слышались шум, возня, крики. Потом дверь распахнулась с такой силой, что ударилась об стену. И тогда в зал не спеша вошли двое. Один был в красивом синем полушубке, обшитом по краям белым мехом. Кривая шашка волочилась за ним по полу, за поясом торчали два нагана и граната. Я вгляделся и похолодел. По сизому носу я узнал в первом человеке старуху с базара. Второй дядька был тот самый, что подходил на базаре с плеткой. На нем был, как тогда, желтый кожух и лохматая баранья шапка.

Неторопливо, вразвалку они прошли между рядами вперед.

Первый повернул голову к желтому кожуху и нарочито громко спросил:

— Грицько, а шо вони тут делают, оци люди?

Грицько стоял, опершись руками на саблю, и нагло

разглядывал собравшихся. Он ответил таким же, нарочито громким нахальным голосом:

— А це, батько, у них тут, мабуть, свадьба.

— Свадьба! — повторил первый. — А де же музыканты? Та и жениха я шось не бачу. — Он прищурил глаза и, указав плетью на дядю Митяя, стоявшего на сцене, спросил: — Ото же жених случаем, га?

— Та оно же вин и есть, — ответил другой бандит.

— А ну, гукай его сюда, бо я его погано бачу.

Дядя Митяй стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Часовой, в чем дело? Зачем пустил этих скомохов?

— Кого? Мене? — переспросил бандит. — Ах ты, кляча погана! Ты знаешь, хто я такой? Ты знаешь, что я батько Яблочко? А ну слазы! — И бандиты вынули наганы.

Люди вскочили с мест. Красноармейцы схватились за винтовки. Дядя Митяй прыгнул со сцены в зал. Васька шмыгнул в сторону, шепнув мне: «Стереги знамена». Я заметил, как он юркнул в толпу, потом очутился возле двери и накинуд длинный железный крюк, закрыв дверь.

— Долой Советську власть! Долой коммунию! — крикнул батько Яблочко и выстрелил в дядю Митяя. — Хлопцы, робы грязы! — кричал он, стреляя без разбора в толпу. — Отнимай оружие, гукай наших с вулицы!

— Товарищи, спокойствие! — призывал дядя Митяй, пробираясь пригнувшись вперед.

Бандитов смяли.

На улице слышались выстрелы. В окнах зазвенели выбитые стекла, засвистели пули. В дверь, ругаясь, били прикладами и кричали:

— Батько! Що там за лихо? Открой двери!

Я вспомнил приказ Васьки — беречь знамена, схватил одно, сорвал с древка. То же самое я сделал с другим флагом и спрятался в суфлерскую будку.

В зале шла борьба, упала со стены лампа, трещали стулья. Кто-то закричал: «Пожар!» Я сидел в будке, прижав к груди полотнища знамен.

Не знаю, долго ли продолжалась потасовка в клубе, только выстрелы постепенно стали удаляться. В за-

ле слышались тихие стоны, шаги и одинокие голоса людей, гасивших пожар.

Потом совсем стало тихо.

Я вылез из будки. Всюду было темно. Натыкаясь на поломанную мебель, я ощупью нашел дверь и вышел на улицу. Вьюга стихла, где-то далеко слышались одиночные выстрелы.

Не зная, где искать Ваську, я побежал к себе на окраину — надо было спрятать знамена.

По дороге я думал о том, как неожиданно все случилось, точно во сне. Но я не чувствовал страха. И когда на углу улицы мне встретился лохматый бродячий пес, я смело пошел на него. Пес не выдержал и свернул в сторону.

Дома я никого не застал, спрятал в сундуке знамена и решил вернуться в город, искать Ваську.

Возле калитки я неожиданно столкнулся с темной фигурой:

— Кто тут?

— А ты кто?

Я узнал по голосу Тоньку.

— Ты что одна ходишь? В городе бандиты.

— Знаю.

— Вот убьют тебя, тогда будешь знать.

— Тебя же не убили?

— Глупая, то я, а то ты.

— А где Вася? — спросила Тонька.

— Воюет. Бандитов колошматит. А у меня патроны кончились, пришел зарядить наган...

«Чудак, зачем-то наган выдумал... Сейчас Тонька спросит, и опять надо будет врать».

— У тебя наган есть? — удивилась Тонька. — Кто тебе дал?

— Нашлись люди...

— Покажи.

«Вот Илюха умеет врать, позавидуешь...»

— Не наган у меня, а смитвельсон.

— Ну, покажи смитвельсон, — не отставала Тонька.

— Нельзя девчонкам за оружие браться. У вас на то куклы есть. Тебе покажи смитвельсон, а ты не с того конца возьмешься и застрелишь себя. Отвечай тогда...

— Ты же не застрелился?

— Мы мужчины, понятно тебе?

Тонька молчала. Я тоже не знал, о чем еще говорить. Вдруг я вспомнил, что хотел украсть Тоньку... Сейчас самый подходящий момент: никого нет, тихо кругом...

— Тонь, а Тонь!

— Чего?

— Ты кого любишь?

— Мамку с папкой.

— А еще кого?

— Абдулку.

Сердце мое колотилось.

— Тонь, знаешь что?

— Говори.

— Давай... знаешь... давай я тебя украду.

— Как? — испугалась она.

— А так. Отнесу в степь на Кальмиус. Хату из камыша сделаю. Будем там жить. Купаться будем. Я на заводе буду работать, а ты обед варить...

Сначала Тонька засмеялась, но потом призадумалась:

— А как папка с мамкой?

— Что?

— Они искать меня будут.

— Зачем? Им еще лучше: кормить тебя не надо.

Ну? Украсть?

Тонька колебалась.

— Чего боишься, глупая? Знаешь, как заживем?

Обвенчаемся, весело будет. Ну? Украсть?

— А Васю возьмем с собой?

— Зачем?

— Так...

— Можем взять, — сказал я неопределенно.

Тонька вмиг оживилась, как будто этого ждала, она засыпала меня вопросами:

— А что будем делать, если дождь пойдет?

— Ничего. Хата будет с крышей.

Тонька медлила, словно искала, о чем еще спросить.

— А обед в чем будем варить?

— Кастрюлю возьмем или цыганский котел раздобудем.

— Ладно, — сказала она.

— Что ладно?

— Кради меня.

Не ожидал я такого быстрого согласия и растерялся, не знал, как ее красть, в чем нести. Наговорил всякой чепухи, а теперь расхлебывать надо. Она тоже хороша — не успел сказать, уже и рада — кради! И сразу Тонька показалась мне некрасивой. Я вспомнил о Ваське, захотелось к нему. Сейчас он бьется с бандитами, раздавая удары направо и налево. Стать бы с ним рядом и драться.

Васька, Васька, верный друг мой! Вспомнилось мне его хмурое лицо и нежно-голубые глаза, вспомнилась забота обо мне, и я понял: не Тоньку люблю, а его, друга и заступника Ваську.

Я взглянул на Тоньку. Она выжидающе смотрела на меня, широко раскрыв черные глаза.

— Ну? — спросила она и мягко взяла меня за руку.

— Что?

— Кради, чего же ты?

— Ну тебя... — сказал я и побежал в город.

Глава одиннадцатая

ДЕНИКИНЦЫ

*Так пусть же Красная сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы неудержимо
Идти в последний, смертный бой!*

1

Недолго радовались буржуи, пришел и на нашу улицу праздник: нашего Ваську записали в комсомольцы!

А было это так.

В здании городской думы, где теперь помещался райком КСМУ, собрались рабочие.

На дощатой сцене, за столом, накрытым красным флагом, сидела Надя. Револьвер через плечо на ремешке придавал ей грозный вид. Рядом с Надей сидел чернявый паренек в шинели. Звали его чудно: одни — Президиум, другие — Ваней.

В глубине сцены виднелся портрет Ленина. Я пер-

вый раз видел его. В простой рабочей кепке, галстук в белую крапинку, Ленин с улыбкой смотрел на меня. От портрета, от ласковых ленинских глаз в тесном зале было уютно.

Васька смущенно мял в руках картуз, как будто не Надя, а сам Ленин принимал его в комсомольцы. Надя с суровым видом, точно судья, строго спрашивала, сколько Ваське лет, кто его родители и как он смотрит на революцию.

Васька отвечал, что он хорошо относится к революции.

— Кто имеет слово? — спросила Надя в зал.

И тут стали выступать рабочие, хвалили Ваську, вспоминали, как его мучили на коксовых печах.

Ваня-Президиум тоже выступал. Он рассказал, как Васька расклеивал листовки против немцев и за это попал в немецкую тюрьму.

Такие хлопцы позарез нужны в комсомоле, и я буду голосовать за Руднева обеими руками.

Потом на собрание пришел комиссар дядя Митяй Арсентьев. Он сказал, что, хотя Васька еще не вышел годами, все равно его нужно принять в комсомольцы.

— Ваши ряды станут сильнее еще на одного бойца. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир!

Хорошо сказал дядя Митяй. Нехай теперь Сенька-колбасник содрогается!

— Вопрос ясен, — сказала Надя. — Будем голосовать. Кто за то, чтобы Василия Руднева, сына пролетария, принять в боевые ряды Коммунистического союза молодежи, прошу поднять руки.

Я сидел на корточках возле круглой печки и тоже поднял руку. Надя дала Ваське какую-то книжечку, а дядя Митяй крепко пожал ему руку, как взрослому. Комсомольцы шумно поднялись со своих мест и запели:

Вставай, проклятем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!..

Мне тоже хотелось идти в смертный бой, но меня в комсомол не приняли. Надя сказала, что записывают

только тех, кто умеет держать в руках винтовку. Как будто она не знала, как недавно я чуть не застрелил рыжего Илюху. Пускай командир изругал меня, пускай запретил подходить к оружию, но умею я стрелять из винтовки или нет? Если бы не умел, не выстрелил бы...

— Обожди, годика через два примем и тебя, — обещала Надя.

Если бы часа два ждать, а то два года! И это в то время, когда деникинцы подходят к городу. Белогвардейцы уже захватили станцию Караванную, к городу подходят! Я своими глазами читал на заборе плакат: «Все на борьбу с Деникиным!» Как же мне ждать? Надя уверяла, что Советскую власть никто не скинет. А вдруг беляки разозлятся?..

Одно меня успокоило: если Ваську записали в комсомольцы, то ему винтовку дадут. А там все пойдет как надо — вместе воевать будем. Не может быть, чтобы Васька не дал мне выстрелить в белогвардейца.

2

С чувством счастья держал я в руках Васькину книжечку. На ее обложке значились четыре красивые буквы: КСМУ. Кажется, все свои патроны отдал бы я, лишь бы выдали и мне такую книжечку! Один Васька понимал, как мне тяжело. Он обнял меня, и мы пошли к себе на окраину.

— Знаешь, как я теперь буду бороться? — с силой проговорил Васька и так крепко сжал кулак, что жилы напряглись: — Буду бороться, как сказал Карл Маркс... Пусть буржуи содрогаются. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. А приобретут они целый мир! Вот как!

— Вась, а откуда взялся этот Деника?

— Из Англии... Есть такая страна-государство, вся в тумане. Такой туман, что ничего не разберешь. И там сидит король.

— Г-ты... король. Бубновы, что ли?

— Я не про карты говорю. Король по-ихнему, а по-нашему царь. Так вот этот английский царь и раскопал Деникина. Говорит, вот тебе пулемет, а еще дам тебе аэропланов, которые сами по небу летают, дам тебе пушек, винтовок, и чтобы ты разбил всех большеви-

ков. Ни одного не оставляй, всех перебей: и рабочих, и крестьян, и красноармейцев.

— Не везет нам, — сказал я, — то Керенский был, то немцы приходили, то бандиты, а теперь Деникин, Васька вздохнул:

— Не везет, это верно... Только мы с тобой должны помочь Красной Армии. Обязательно должны помочь.

— Я знаю чем. Гранату отдадим.

— Какую гранату?

— Помнишь, в речке нашли?

— Она не действует: подмокла, заржавела...

Вдруг Васька что-то вспомнил:

— Вот что. Надо отдать патроны, которые насобирали. У тебя сколько?

— У меня четыре обоймы. Три да четыре — семь. Семь обойм по пяти патронов, сколько это будет?

По пальцам мы посчитали: тридцать пять патронов да еще десять штук.

— Маловато, — разочарованно протянул Васька.

— У Илюхи бы взять, — подсказал я. — Рыжий целое корыто натаскал.

— Откуда?

— Наворовал. Что ты, не знаешь рыжего?

— Надо отнять, — сказал Васька.

— Отнимешь, когда он их в землю зарыл.

— А ты скажи, арестуем.

— Все равно не даст. Жадюга!

— Тогда выиграй. Поди и заставь играть. Мне, сам понимаешь, нельзя, я теперь комсомолец.

— А если проиграю?

— Нельзя, что ты!

— Ну а если не повезет?

— Не везет только лентяям. А ты должен сказать себе: выиграю — и все! Может быть, как раз нашими патронами самого Деникина убьют, понимаешь?

— Понимаю.

— Иди играй! А в случае чего — отнимем.

Я захватил патроны и помчался к Илюхе.

— Сыграем? — предложил я, когда Илюха вышел за калитку и уселся на лавочку.

— С тобой играть — только время терять. Один заржавленный патрон найдет, и тоже — давай сыграем!

Я вынул из-за пазухи новые обоймы. У Илюхи за-

горелись глаза. Он поглядел на меня весело, как на легкую добычу.

— Ладно, давай, — согласился он, — только не уходи, я сбегаяю за патронами.

Я видел в щелку забора, как Илюха, озираясь, не слежу ли я за ним, юркнул незаметно в сарай. Не появлялся он долго.

Я забеспокоился: уж не струсил ли? Но Илюха вернулся и показал мне обойму.

— Одна только? — разочарованно пробурчал я. — А хвастался: целое корыто!

— Выиграй эти, тогда увидишь.

Мне так хотелось выиграть, что я уже представлял себя обладателем всех Илюхиных сокровищ. Подумать только — целое корыто патронов принесу я Ваське.

Мы высыпали из карманов старые пустые гильзы, чтобы ставить на кон. Боевые не ставили, чтобы не помять их, да и опасно было: патроны могли взорваться при ударе.

— По сколько будем играть? — спросил Илюха.

— По пяти.

— Ставь!

— А ты?

— Не бойся, поставлю.

Длинный ряд из десяти патронных гильз выстроился перед нами. Мы отсчитали шесть шагов, провели черту, через которую нельзя переступать, померялись на палке, кому начинать. Выпало мне. Руки у меня дрожали: Васька сказал — обязательно выиграть, а вдруг проиграю?

Я размахнулся.

Тяжелая бита просвистела мимо гильз, не задев ни одной. Лишь облачко пыли взметнулось позади коня.

Илюха сделал огромный шаг, прицелился, и звон медных гильз больно отдался у меня в сердце. Илюха выиграл сразу шесть патронов. Стали добивать остальные, и он сбил еще три. Как я ни старался, но и последнюю гильзу сшиб Илюха.

Пришлось отдать целую обойму новеньких боевых патронов. (Правда, я сначала отдавал немецкие с тупыми пулями, а русские приберегал. Васька рассказывал, что у немцев разрывные пули: прямо в груди разрываются. Чего только не придумают буржуи для того, чтобы рабочих убивать!)

— Еще сыграем! — издевался надо мной Илюха, а сам прятал мои патроны, распахивал по карманам, клал в шапку.

— Сыграем, сыграем. Давай по десяти, — предложил я.

— Ставь!

Второй кон Илюха тоже выиграл. Я так волновался, что за пять ударов сбил только две гильзы.

— Еще? — издевался рыжий, пряча мои патроны к себе за пазуху.

С обидой поставил я на кон последние два патрона. Сейчас Илюха собьет их, и все будет кончено. Называется, помог Красной Армии!

Я огляделся, не идет ли Васька. Если крикнуть ему, Илюха испугается и убежит.

Начинать игру опять выпало мне. Дрожали руки и ноги. Чтобы успокоиться, я отложил битую и стал подтягивать штаны, хотя в этом не было надобности.

— Бей, чего тянешь?

— Подожди, штаны спадают.

— Потом поправишь, бей!

— Хитрый. Может, мне неудобно. Что, я не имею права штаны подвязать?

— Бей, а то брошу играть!

Напрасно я оглядывался: Васьки не было видно.

— Не спеши на тот свет, там кабаков нет, — говорил я, чтобы как-нибудь оттянуть время.

Ничего не помогло: я проиграл. С радостью запустил бы я свинчаткой в Илюху, но ничего не поделаешь: игра есть игра.

— Я сейчас еще принесу, ладно? — сказал я, боясь расплакаться от обиды.

— Неси, да побольше, — смеялся Илюха. — Мне патроны пригодятся:

— Сейчас принесу, только ты жди.

— Ладно. Побыстрее!

Ваську я нашел в сарае. Он только что залил свинцом охотничий патрон. Свинчатка была еще горячая.

— Вась...

Больше я не мог выговорить ни слова. Васька взглянул на меня и все понял.

— Не везло, Вась, ну что я мог поделать, — пытался я оправдаться.

Васька сердито напаялил картуз, взял четыре свои обоймы и сказал мне с досадой:

— А я хотел подарить тебе новую свинчатку.

С унылым видом я поплелся за Васькой, а он, решительный и злой, широко шагал по двору к уличной калитке. Илюха сидел на лавочке и грыз семечки, далеко отплевывая шелуху. Он даже не глянул в нашу сторону. Васька подошел и взял его за рубаху.

— Не хватай за грудки, чего ты хватаешь, отойди!

— Ты Леньку обыграл?

— Его и курица обыгрывает.

— Играй со мной.

— Не желаю. С Ленькой буду.

— А я тебе говорю: играй!

— Не имешь права заставлять.

— Ленька, сними с него шапку!

Я только того и ждал, сорвал с Илюхиной головы картуз и спрятал за спину.

— Отдай шапку!

— Будешь играть — вернем, — сказал Васька.

— Ладно, задаешься чересчур. Ставь гильзы на кон.

Игра возобновилась. У Васьки был такой сердитый вид и он так ловко сбивал медные гильзы, что Илюха забеспокоился. Но он надеялся выиграть.

Жадности в нем не было предела. Проигрывая, Илюха приносил из дому все новые и новые обоймы, желая отыграться.

Илюха нахально спорил, требовал права переступить за черту, потому что у Васьки ноги длиннее. Васька на все соглашался.

А тот требовал все новых уступок. Он настоял, чтобы Васька ставил на кон два патрона против одного Илюхиного. Васька и здесь не спорил.

Я догадывался: Васька боялся, как бы Илюха не убежал, ведь нужно было выиграть у рыжего все патроны.

Васька играл со злостью, он бил почти не целясь, и гильзы со звоном разлетались по сторонам. Я едва успевал собирать их. Васька сердился и на Илюху, и на меня: мы вынудили его заниматься такими пустяками, как игра в патроны.

Илюха разозлился. Он готов был затеять драку, обвинял Ваську в мошенничестве. Васька не спорил, за-

ново ставил гильзы на кон и вторично сбивал их.

Я уже отнес домой три раза по десяти обойм, а игра только разгоралась.

Сначала Илюха проиграл все немецкие патроны, с тупыми пулями, потом стал приносить русские, с острыми, как жало, свинцовыми пулями, те, что были нам нужны. Васька забирал патроны у Илюхи и отдавал мне, подмигивая: неси, мол, домой.

Илюха проигрался вчистую, семнадцать немецких обойм и двадцать три русских, не считая одиночных патронов, которых набралось несколько пригоршней. Я ссыпал их в подол и отнес домой.

Илюхе уже не на что было играть, но он не отпустил Ваську:

— Давай на шапку.

— Своя имеется, — ответил Васька.

— Ну на деньги! Продай десять патронов!

— У других покупай. Я не Цыбуля, чтобы торговать.

— Тогда на конфеты, Вась. По три штуки на патрон дам, хочешь?

— Сладкого не люблю, — отвечал Васька, надевая шапку, которую снял во время игры.

Илюха не знал уже, что сказать. Он схватил Ваську за рукав:

— Что же ты, обыграл и уходишь? Так, значит? За бомбу сколько патронов дашь?

— Настоящая?

— Новая.

— Где взял?

— Мое дело — купил, нашел, насилу ушел.

— Неси!

Илюха примчался с новой бутылочной гранатой, поблескивавшей жестяной «рубашкой». Васька осмотрел, пощупал кольцо, покосился на Илюху и спросил:

— Сколько?

— Десять обойм.

Игра продолжалась.

Васька опять выиграл. Илюху от ярости трясло, он кусал губы и едва не плакал.

— На пулемет сыграем? — неожиданно предложил он, уже не сознавая, что говорит.

— Какой пулемет? — удивился Васька.

— «Максим». На дворе у нас стоит.

— Красноармейский?

— Нет, мой. Я его за сто рублей на базаре купил. Васька с силой надвинул Илюхе на нос его драный картуз:

— Чужой пулемет у тебя.

Илюха перекрестился:

— Накажи меня бог, мой! Чтоб у меня мать померла...

Васька обнял Илюхину голову левой рукой и, ударя щелчками по лбу, приговаривал:

— Стой, не шатайся. Ходи, не спотыкайся. Говори, не заикайся. Ври, не завирайся.

— Пусти! — кричал Илюха, вырываясь. Васька дал ему на прощание еще два щелчка и сказал: — А это, чтобы не воровал патроны у красноармейцев, чтобы не изменял своим, продажная тварь!

Мы ушли, оставив посреди улицы хныкающего Илюху.

3

Патроны, выигранные у Илюхи, мы аккуратно ссыпали в ящик из-под цыплят. Набралось чуть побольше половины ящика. Тогда мы придумали собирать патроны до тех пор, пока не будет доверху. Кроме того, мы решили разыскивать разное оружие по сараям. Еще у немцев было наворовано много всякого добра: плоские штыки, длинные палаши, германские винтовки. Все это мы сговорились складывать в укромном уголке и вместе с патронами передать потом комиссару дяде Митяю.

Части Красной Армии стояли почти в каждом дворе. В моем пустом доме разместился штаб. Красноармейцы починили разбитые двери, наносили в хату соломы по самые окна и спали на ней вокруг стола, где у телефона сидел дежурный.

У красноармейцев теперь была новая форма: очень красивые суконные шлемы со звездой и гимнастерки с красными застежками поперек груди.

Во дворе, заросшем лебедой, стояли кони, военные двуколки и даже полевая кухня с закопченной трубой. Пулемет «максим» был укреплен на тачанке задом наперед, и, когда часовой отвлекался, Васька вскакивал на тачанку, прикладывался к пулемету и «осы-

пал» меня длинной «очередью». Конечно, патронов в пулемете не было, и Васька понарошку трещал языком, а я делал вид, будто он меня скосил пулями.

По вечерам во дворе собирались красноармейцы и начиналось веселье. Пулеметчик Петя играл на гармошке и сам себе подпевал на мотив «Яблочка»:

Пароход идет —
Волны кольцами.
Мы на фронт идем
Комсомольцами.

Красноармейцы кормили нас из котелков гречневой кашей или перловым супом. Чечевица тоже была вкусная, только по цвету синяя. Петя подарил мне насовсем алюминиевую ложку с выцарапанной надписью: «Хлебай, не зевай». Я носил ложку на веревочке, как крест на шее, да жаль — хлебать было нечего.

Ваське красноармейцы дали медную кружку, сделанную из трехдюймового снаряда. Один раз мы пили из этой кружки чай с сахарным песком. И хотя песок был пополам с соломой, мы сдували ее. А чай был сладким до невозможности.

Появилась в городе мода — деревянные босоножки. Все щеголяли в них, потому что никакой другой обуви не было. Зато босоножки делали самые разные: на каблуках и без них, с выдолбленным следом для ноги, с узорами, выжженными раскаленным гвоздем, на ремешках, на веревочках, а то и просто — две дощечки, привязанные к ступням ног. Ребята на нашей улице задавались босоножками. И тогда красноармейцы выстругали босоножки нам с Васькой, да не простые, а на ременных петлях. В них ходить было легче, и они щелкали на ходу. Идешь и только — клац-клац, как будто чечетку танцуешь. Прохожие оглядывались: завидовали.

Однажды наши красноармейцы поехали на речку поить лошадей.

— Ленька-кавалерист, садись! — кивнул мне молодой парень в кубанке, подхватил на ходу и усадил впереди себя.

Васька ухватился за гриву серой кобылы и сам влез к ней на провислую спину.

Приятно было сидеть на лошади и немного страшно. Лошадь шевелилась, наклоняла голову, и если не

уцепишься за штаны красноармейца, мигом съедешь набок.

Васька никогда не ездил на лошадях, а тут скакал, как заправский кавалерист, только локти вскидывались, да Полкан мчался за ним и радостно лаял.

На речке, пока лошади, раздувая широкие ноздри, жадно пили воду, мы слушали разговоры красноармейцев.

По их словам, положение на фронте было тяжелое. У деникинцев сильная кавалерия под названием «Дикая дивизия» Шкуро. У них на пиках торчат собачьи черепа, а солдаты никого не щадят, рубят всех подряд: и взрослых и детей.

Англичане прислали Деникину аэропланы и еще танки — железные хаты с узкими щелками вместо окон. А из щелок торчат пулеметы: ни подойти, ни подползти, так и скосят пулеметными очередями.

Страшновато было слушать про эти танки, но Петя сказал, что человек сильнее всякой танки, если бросить человеку под ноги камень, он подпрыгнет, а танка застрянет.

— Будем бросать под колеса бревна, гранаты — остановим! — говорил Петя. — Не помогут Денике ни танки, ни аэропланы.

Не успел Петя сказать это, как появился аэроплан. Я сидел на берегу и глядел, как Васькина серая кобыла пила воду. Вдруг она чмокнула губами, оторвалась от воды и насторожила уши.

— Во-она летит англичанин! — воскликнул Петя, поднимаясь и глядя в небо из-под ладони.

С высоты доносилось какое-то жужжание.

— Летит, летит, смотрите! — закричал Васька, снял картуз и стал махать им над головой.

Как я ни всматривался, ничего не видел. А гул нарастал.

Вдруг около небольшого облачка я заметил железную птицу, похожую на стрекозу. У нее было два крыла и прямой длинный хвост.

Аэроплан летел над нами, потом повернул на город.

«Как же он летит, если не машет крыльями? — подумал я. — Даже воробей и тот машет, а здесь целый дом летит, а крылья прямые...»

— Вась, а там, в ероплане, кто-нибудь есть?

— Человек сидит.

— За что же он там держится?

Васька сам не знал и не ответил.

— Хлопцы, по коням! — скомандовал Петя, ловя своего коня. — Это деникинский разведчик, как бы не двинулись белые на город.

Красноармейцы сели на коней.

Меня хотел взять Васька. Он посадил меня на спину лошади, а она не стала дожидаться его и поскакала. Васька бежал сбоку и не мог сесть. Я трясся на лошади, пока не съехал набок. Лошадь остановилась, Васька подвел ее к забору и одним прыжком очутился верхом. Меня он не смог поднять, и я побежал следом, погоняя лошадь стебельком полыни.

В городе было спокойно. Аэроплан улетел, и лишь перепуганные собаки отрывисто лаяли в небо.

Вечером у нас на дворе началось представление. Петя нарядился в костюм буржуя и с важным видом расхаживал по двору, где ужинали красноармейцы.

На Пете был черный пиджак, спереди открытый, а сзади длинный, с разрезом, как хвост у ласточки. На голову он надел черную круглую шапку. Поперек толстого живота (подушку, наверно, запихнул под рубашку) тянулась наискось лента с надписью: «Керзон».

Красноармейцы хохотали:

— Ай да Петька-капиталист!

— Чем он себе нос размалевал — чисто морковка!

— Выпить любит господин капиталист, потому и нос красный.

Петя строил уморительные гримасы и тонким пестушиным голосом выкрикивал:

— Коспода русский рабочий, я приехал из Англии и привез вам хороший жизнь. Я призываю вас наплевать на большевик. Они прогнали от вас помещиков, а вы без них пропадете...

Петя понарошку завыл и потянул из кармана тряпку, чтобы утереть слезы.

— Ну и артист Петька!

— А носовой платочек, как у графа!

Петя продолжал завывать:

— Как вы будете жить без капиталистов? Пропадете без них совсем. Большевик дают вам фунт хлеба, и у вас желудок тяжелый. А я дам четверть фунта — желудок будет легкий. Большевик заставляет вас рабо-

тать восемь часов. Мало, жадный большевик. У меня вы будете работать двенадцать часов. А еще построю для вас крепкий тюрьма, надену вам этот... как называть по-русски? Кандалы, красивый браслет. Он будет звенеть на руке: динь-динь, очень шикарно. Деникин будет немножко душить вас...

— Ишь какой добрый, душить нас собирается.

— Самого отправим к богу в рай.

Красноармейцы развеселились и стали баловаться: один дернул Петю за длинный хвост пиджака, другой сбил с головы блестящую шапку-горшок. Васька подхватил ее, и мы стали вырывать друг у друга эту буржуйскую шапку, примерять на свои головы.

Петя отобрал у нас шапку, снял костюм, вынул подушку из-под рубахи и отнес все в хату. Оказывается, к ним приехали настоящие артисты и вечером будут представлять спектакль.

Но спектаклю не суждено было состояться...

Примчался на лошади комиссар дядя Митяй и объявил тревогу:

— Товарищи, в ружье!

4

Начались торопливые сборы. Красноармейские взводы растянулись вдоль улицы. Впереди — кавалерийский эскадрон, за ним пехота с винтовками. Колонну замыкал обоз. Красноармейцы, прощаясь, махали руками:

— До побачення!

И загремела песня:

Рвутся снаряды,
Трещат пулеметы,
Но их не боятся
Красные роты.

Красноармейцы шагали, и даже завидно было, как они дружно пели:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это.

Мы с Васькой провожали Красную Армию через весь город. Где-то вдали ухали орудия. За городом кра-

сноармейские части развернулись в цепи и пошли в наступление.

Лишь потом мы узнали от Нади причину неожиданной тревоги. Оказывается, деникинская кавалерия прорвала фронт и угрожала городу.

С того дня около двух недель за ближайшими рудниками шли бои. С позиций прибывали раненые и рассказывали, что у генерала Деникина много войска, и каждому красноармейцу приходится драться с тремя белогвардейцами.

Сначала дела у нас шли хорошо: белых прогнали аж до станции Волновахи. Но потом Деникин бросил в бой английские танки. Об этих страхолюдных машинах ходили самые невероятные слухи, будто они сигают через канавы, разрушают дома, дают насмерть коров: спасения от них нет.

На юзовском заводе рабочие сделали несколько пушек, чтобы стрелять по танкам, но снаряды не пробивали броню и отскакивали.

Город опустел. Было тревожно, и хотелось повидать Надю, комсомольского командира. Она все знала и могла бы нас успокоить. Но я увидел на дверях райкома КСМУ замок и объявление: «Райком закрыт. Все ушли на фронт».

«Наверно, Ваня-Президиум написал, — подумал я. — А может быть, Надя своей рукой...»

На заборах и домах были наклеены свежие красочные плакаты против Деникина. Возле одного из них толпился народ, подошел и я.

Сверху была надпись крупными буквами:

ЧТО НЕСЕТ ДЕНИКИН РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ?

На троне сидел Деникин, красноносый с вылупленными глазами и плеткой в руке. Рядом стоял кулак в жилетке и в рубаше в красную крапинку. Пока Деникин восседал на троне, солдаты грабили — один тащил мешок с вещами, другой за рога тянул корову, третий нес на плече барашка, четвертый разувал крестьянина, стаскивал с него сапоги. Пятый бил женщину, еще один поджигал хату. На земле валялась убитая девушка в синей юбке, как видно, комсомолка. Была тут и виселица, а на ней люди на веревках.

Прохожие вздыхали и отходили прочь от плаката: что сказать? Правда нарисована...

А бои за городом становились все ожесточеннее. Орудия гремели совсем близко, точно со степи гроза надвигалась. Иногда так ударит, что стекла в окнах зазвенят.

Мы с Васькой упаковали ящик с патронами. Ребята отовсюду несли к нам разное — нужное и ненужное оружие. Даже Илюха раздобыл где-то револьвер. Все это мы складывали в сарае, ожидая, когда вернутся красные части.

Так и случилось. Наши отступали и шли через город.

На улицах воздвигали баррикады. На терриконе заводской шахты установили пушку, и она стреляла в сторону белых.

Штаб помещался в доме Витьки Доктора.

Мы с Васькой принесли туда патроны, гранату и остальное годное оружие. Дядя Митяй похвалил нас, особенно за патроны: они оказались очень кстати.

Бои шли на подступах к городу. На улицах свистели пули, во дворах рвались снаряды.

Я вместе с Анисимом Ивановичем и тетей Матреной сидел в погребе. Одному Ваське отец разрешил воевать, а меня считали маленьким. Обидно...

Когда Васька прибегал, то рассказывал новости. На лавке Мурата за трубой сидит пулеметчик Петя со своим «максимкой», а Уча с Васькой таскают патроны для красноармейцев. Где-то возле завода разорвало снарядом женщину. Ранена Надя.

Обиднее всего было слушать рассказы о буржуях, которые с приближением Деникина повылезали из щелей, как тараканы, и смеялись над красноармейцами. Спекулянты, торгаши нарядились по-праздничному и, провожая отступающих бойцов, ядовито пересмеивались, правда, между собой и негромко.

— Что за парад, господа?

— Красно-кацапское воинство драпает.

— А почему не слышно, как идут?

— Босиком убегают... Так легче бежать... ха-ха-ха!..

Особенно задавался Сенька-колбасник: властелином себя почувствовал, избивал ребятишек бедняков. Сенькина власть возвращалась.

Анисим Иванович, слушая эти рассказы, с обидой и горечью сказал:

— Нет на свете зверя лютей, чем богач. Если у него отнимают наворованное им богатство, он никому не простит этого.

5

Красные отступили ночью. На улицах стало тихо и жутко. Даже собаки попрятались.

Мы не спали до самого утра, с тревогой прислушиваясь к тишине.

На рассвете я и Васька вылезли из погреба и незаметно подкрались к калитке. До восхода солнца еще было далеко, в воздухе веяло свежестью: ночью прошел дождь.

На улице не было ни души. Вдруг донесся крик: из-за угла, разбрызгивая лужи, вылетел всадник в лохматой папахе с пикой, на конце которой развевался собачий хвост. Потом вымчался отряд всадников, все в черкесской форме, с белыми черепами на рукавах. Со свистом и улюлюканьем они проскакали по улице и скрылись вдали.

После этого мы три дня не выходили на улицу. В городе шли погромы. В первую же ночь деникинцы вырезали семью Моси: жену, двоих детей и старушку мать. Белогвардейцы требовали у старушки сорок тысяч рублей выкупа. У нее нашлось только две. За каждую недоданную тысячу деникинцы назначили ей по удару плетью, а потом зарубили шашкой. Всю ночь дверь землянки была открыта настежь, люди боялись заходить туда.

Рассказывали, что в городе разбиты все склады. По мостовой рассыпана мука. Деникинцы разгромили Совет и объявили, что все должны перевести время назад, по царскому календарю. Комендант издал приказ, что, если кто будет признавать советский календарь, того под расстрел!

— Как же мы теперь будем жить: задом наперед? — спросил я у Васьки.

— По старому, по царскому режиму приказывают жить. А мы все равно будем по новому. Долой! Не признаем царские часы!

Торговцы опять открыли свои лавки. Цыбулку на-

значили городским головой. А Сенька прислал дружок и велел передать, что скоро личной рукой повесит меня и Ваську на дереве в городском сквере.

На Первой линии открыли «для господ офицеров» кабак под названием кафе «Шантеклер». Там с утра до вечера играла музыка.

Евреи, оставшиеся в живых, прятались по чердакам. Мы укрыли у себя в погребе троих. Чтобы денкинцы не заходили к нам, Васька написал мелом на ставнях кресты. Но это не спасало. К нам то и дело наведывались пьяные солдаты и спрашивали:

— Издеся православный дом?

— Православный.

— А евреев случаем нема?

Я замечал по лицу Анисима Ивановича, что ему хотелось дать белогвардейцу в харю, но он сдерживался.

— Нету, — отвечал Анисим Иванович. — Здесь я живу, русский сапожник, а это мальчик-сирота, приемыш, вроде сына.

Однажды ввалился к нам белогвардеец с окровавленной шашкой:

— Хозяин, веревочки нема?

— Нет веревочки, — сердито ответил Анисим Иванович и ударил молотком по каблуку.

— Жаль, — протянул белогвардеец, оглядывая землянку. — А чевой-то у вас икон нету?

— Зачем тебе веревка? — спросил Анисим Иванович, чтобы не отвечать на вопрос белогвардейца.

Тот ухмыльнулся:

— Веребочка? Нужна, хозяин. Иудейские души до бога подтягивать. — Он провел пальцем вокруг шеи. — Наше дело — евреев сничтожать.

Анисим Иванович кивнул на испачканную кровью шашку и спросил:

— А сам-то христианин?

— А как же, смотри! — Белогвардеец расстегнул ворот гимнастерки и показал крест.

— А я гляжу, что ты на русского не похож: вон и шинель и ботинки у тебя не наши.

Солдат хитро подмигнул, показав подметку ботинка, сплошь подбитую круглыми железными шляпками гвоздей, и пошлепал ладонью по ботинку:

— Англия. Первый сорт ботиночки, не то что на-

ши, русские. Ну, бувайте здоровы! — сказал он и вышел было, но обернулся и спросил: — А может, найдется веревочка?

Во дворе Полкан с яростью набросился на белогвардейца, но бандит ударил его саблей по шее. С громким жалобным визгом отскочил Полкан от белогвардейца и долго скулил, точно плакал. А потом целый день молча лежал у сарая, положив голову на лапы. Шерсть на шее слиплась от запекшейся крови, глаза стали грустными. К вечеру Полкан ушел в степь. Васька сказал, что он будет искать лечебную траву, а когда вылечится — вернется. Но Полкан так и не пришел.

— Надо бороться, — сказал Васька, и я испугался его решительного голоса.

Опасно было выходить из дому, противно смотреть на белогвардейцев, но мы вышли. Ваське нужно было бороться, а я не хотел отставать.

Васька завернул свою комсомольскую книжечку в полотенце и спрятал на дно сундука. Оттуда же он достал давно забытую картинку про царя Николая и сказал, что прилепит ее на спину самому Деникину.

Ходили слухи, что Деникин скоро приедет самолично на белом коне с золотыми подковами.

Кончалось лето. В сонном воздухе пахло пылью. В городском саду шло гулянье. По аллеям ходили офицеры Добровольческой армии, щеголяя золотыми погонами и георгиевскими крестами. Военный оркестр играл «Ойру», а мальчишки торговали рассыпными папиросами «Шуры-муры».

Мы с Васькой видели, как двое пьяных офицеров на спор стреляли в уличный фонарь. Ни один из них не мог попасть в цель. Тогда подошел третий, вытащил из кобуры наган и одним выстрелом разнес вдребезги стекло. И они пошли в кафе «Шантеклер» пропивать пари.

Мы заглядывали туда сквозь витрину.

В кафе было полно офицеров и разных барынь с голыми спинами. На небольшом возвышении в глубине зала сидели музыканты и пикикали на скрипках, а на сцене кривлялась певица с размалеванным лицом. Виляя бедрами, она пела мужским голосом:

Я шансонетка
И тем горжусь,

Стреляю метко,
Не промахнусь...

Офицеры дымили папиросами и пели: «Быстры, как волны, дни нашей жизни. Что ни день, то короче к могиле наш путь...»

Всюду в городе были расклеены объявления о том, что советские законы «отменяются», союзы и собрания «упраздняются», рабочие клубы «закрываются».

Злобный приказ мы прочитали на телеграфном столбе главной улицы, которая теперь опять называлась «Николаевский проспект».

Приказ мы читали вслух:

— «За последние дни в городе и его районах произошли волнения рабочих. Чья-то преступная рука весила на заводской трубе красный флаг. Предупреждаю: во избежание пролития лишней крови категорически запрещаю подобные действия. Мною отдан приказ расстреливать всякие сборища.

Напоминаю жителям, что времена совдепии прошли и их пора забыть. Всякое недовольство будет подавлено безжалостной рукой.

Комендант есаул фон Графф».

— Знаешь, кто это фон Графф? Сын хозяина шахты с Пастуховки. — И Васька, сложив кукиш, ткнул им в объявление с такой злостью, что прорвал ногтем слово «Графф».

— Ты куда дулю тычешь? — услышали мы позади себя грозный голос. Городовой Загребай, одетый в новый белый мундир, стоял, заложив руки за спину, точь-в-точь как при царе. — Куда дулю тычешь, спрашиваю?

— Я не тычу, а вот этому мальчику объясняю, он неграмотный, — проговорил Васька и указал на меня.

Загребай поднял волосатый кулак, такой огромный, что закрыл им все лицо Васьки от лба до подбородка.

— Смотри мне! — И городской пошел вдоль улицы, важный и напыщенный, как индюк.

У Васьки в глазах промелькнул озорной огонек. Порывшись за пазухой, он вынул прокламацию с царем, помазал обратную сторону клеем из баночки и побежал догонять городского. Подкравшись сзади, он приложил руку к спине Загребая. Тот сердито обернулся, а Васька спросил насмешливо жалобным голосом:

— Дяденька, а правда, что господин Деникин до нас придет?

Лицо городского расплылось в улыбке. Толстый, вишневого цвета нос стал еще краснее.

— Царь Антон? — Городовой погладил рыжий ус. — Приедет. Обязательно придет. Присягать ему будем-с... Молебн будем служить на верность царю и отечеству.

— А я боялся, что не придет, — притворился непонятливым Васька.

Городовой хмыкнул в усы:

— Лошадь тоже думала, да ошиблась. Понял, шмендрик? — И он, довольный шуткой, зашагал дальше.

Я глянул вслед городовому и обмер: на спине Загребая белела приклеенная наискось Васькина прокламация.

Мы спрятались за угол и следили за городовым. Тот шагал по улице с листовкой на спине. У Васьки счастливо сверкали глаза.

6

Не зря ходили слухи: Деникин в город приехал. За день до того я видел в руках одного торговца белогвардейскую газету, где было напечатано крупными буквами:

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пока торговец рассматривал первую страницу, я прочитал на обороте:

«Торжественный обед, которым городское купечество будет чествовать великого освободителя России, главнокомандующего генерала Деникина и его английских и французских гостей, будет обставлен роскошно. Распорядителями обеда измышляются особые блюда и соусы. Из глыб льда заказаны фигуры медведя и льва, в лапах которых будет помещено по пудовой чаше с зернистой икрой».

Торговцу на нос села муха, и он опустил газету. Долго мне пришлось ждать, когда он снова расправит газету, и тут я дочитал:

«Наш корреспондент узнал конфиденциальные подробности. Вот каким будет меню торжественного обеда: Уха из стерлядей с налимовыми печенками. Новотроицкие расстегаи. Котлеты из барашка, соус америкэн. Дупели в волованах, соус перигюль. Пунш розе. Жаркое: фазаны и молодые индейки. Спаржа, два соуса».

Я читал про соусы и котлеты, а в животе кишки марш играли. Вот она, вернулась буржуйская власть, теперь хлебушка не жди! Васька говорил: «Буржуй за грош удавится. Хлеб в ставке утопит, а бедному не даст». Так оно и вышло...

В день прибытия генерала Деникина Васька с самого утра куда-то исчез. Где я ни искал его, не мог найти. Потом он появился. Я сразу догадался, что Васька бегал куда-то далеко, от него пахло степью, лицо было запыленное.

Васька молча похлебал холодного супа и снова стал собираться.

— Вась, ты далеко? — осторожно спросил я.

— Со мной не ходи, — ответил он хмуро.

— Почему?

— Мне надо одно дело сделать. В меня могут стрелять.

— Ну и что? Я не боюсь. Нехай в меня стреляют...

— Убить могут. Этим шутить нельзя, — сказал Васька.

Вот как: дружили-дружили, а получается, что Васька не доверяет мне.

— Возьми, Вась, что тебе, жалко?

— Ты должен понять, что это не игрушка. А я обязан бороться, понимаешь?

— А я?

— Ну ладно, идем. Только ты в сторонке будь. Если тебя убьют, что я отцу скажу?

— Не убьют, Вась...

Деникин приехал в полдень. Расфранченные буржуи высыпали на главную улицу. В церкви звонили колокола.

Сначала, цокая копытами, прорысила белогвардейская конница. По ветру развевался красно-сине-белый флаг. Мелькали желтые, синие башлыки, серые кубан-

ки с кокардами, волосатые бурки, шашки в блестящих ножнах.

Барыни визжали на мостовой:

— Ура добровольцам!

— Слава богу, кончилась коммуня!

За кавалерией, гроыхая колесами, катили пушки, запряженные шестерками вороных коней. За ними — опять кавалерия, и, наконец, появился открытый автомобиль, где среди военных генералов сидел румянощекий, с белой бородкой Деникин. Я его сразу узнал, потому что видел раньше на карикатурах, где его изображали карликом с кинжалом в зубах и выпученными глазами, хотя, в общем, похоже.

По обеим сторонам от Деникина сидели нерусские военачальники. На одном была такая красивая форма, что глаз не оторвешь: на голове красный, с золотым позументом картуз, похожий на черпак, на плечах — золотые шнуры, а на груди — сверкающие звезды.

Второй, что сидел справа от Деникина, был в военном френче с накладными квадратными карманами и портупеей справа налево. Его военная фуражка тоже не была похожа на русскую. У него виднелись чудные маленькие усики, как будто мазнул под носом сажей...

В автомобиле сидели еще трое в черных горшках вместо шапок. Если бы их было не трое, а один, можно было бы подумать, что это Петя забрался в автомобиль и делает представление.

Позже я узнал, что это были французы и англичане, а среди них в черном горшке хозяин завода Юз. Он так разозлился на рабочих, что пообещал всех выпороть на площади.

Деникинский автомобиль свернул с главной улицы на Пожарную площадь, где должно было состояться «благодарственное господу богу молебствие». Мы с Васькой поспешили туда.

Проникнуть на площадь было нельзя: ее оцепили верховые с шашками наголо.

Тогда мы пробрались в один из дворов и по водосточной трубе взобрались на крышу двухэтажного дома, выходящего фасадом на Пожарную площадь. Мы спрятались за кирпичной трубой. Отсюда была видна вся площадь от края до края.

Автомобиль Деникина остановился неподалеку от бывшего памятника царю. Там сколотили трибуну, и на ней толпились сам Деникин и его французы.

Смешно было видеть, как деникинские солдаты, сняв пашки, опустились на колени и стали молиться богу: крестились, кланялись лбами в землю. Поп Иоанн обмакивал в таз волосяную кисть и брызгал святой водой на солдат.

После молебна открылся митинг. Выступал какой-то толстый человечек. Он потрясал в воздухе белой, как булочка, рукой и что-то выкрикивал.

Васька порывисто схватил меня за плечо:

— Гляди, это же тот самый меньшевик Ангел Петрович; помнишь, на маевке был в Дурной балке?

Да, это был именно он. Только зимой на нем была шуба с меховым воротником до живота, а сейчас — черный костюм.

— От имени гражданских учреждений счастлив приветствовать вас, долгожданных гостей наших! Терзаемые внутренней смутой, мы с восхищением следим за успехами ваших доблестных войск.

— Проклятый архангел, смотри, как распинается, — с обидой сказал Васька.

— ...Теперь мы ждем поддержки вашей в борьбе с безумным врагом, попирающим свободу, право, честь и жизни красоту. Добро пожаловать, дорогие союзники! — закончил меньшевик и, повернувшись к англичанам и французам, низко поклонился им.

На площади кричали «ура», казаки потрясали пиками.

— Эх, жалко! — сказал Васька и ударил кулаком по коленке.

— Ты чего?

— Жалко, бомбы нема...

После меньшевика выступил француз в золотой шапке. Он что-то лопотал по-своему — ничего не понять. После него офицер, стоявший рядом с Деникой, стал читать по бумажке. Я догадался, что он объяснял, что говорил француз.

— Вы можете, господа, рассчитывать на помощь великой Англии, свободной Франции и могущественной Америки. Мы с вами, мы за вас. Я твердо верю,



что скоро на башнях святого Кремля красный флаг будет сорван и заменен славным трехцветным знаменем великой, единой, неделимой России.

— Смотри! Смотри! — вдруг зашептал Васька, указывая то в одну, то в другую сторону. — Смотри, Ленька, смотри вон туда — на каланчу!

Над пожарной каланчой развевался красный флаг.

Чудилось это или было на самом деле? Красный флаг реял, будто приветствовал нас издали.

— А вон еще! — продолжал восклицать Васька, а сам быстро развязывал веревку, которой был подпоясан.

У меня разбежались глаза: на крыше бывшего Совета рабочих и крестьянских депутатов, на школе, где мы учились, даже на доме генерала Шатохина появлялись красные флаги.

Ветер разворачивал алые полотнища, и они победно полыхали в небе. Я так увлекся, что не заметил, как Васька размотал вокруг себя и тоже прикрепил к трубе красный лоскут.

Прозвучал выстрел, эхо отдалось по всей площади. Деникин прервал речь, поспешно надел фуражку и вместе со своими французами и англичанами сошел с трибуны. Они сели в автомобиль и, дудя резиновой грушей, чтобы люди расступились, уехали с площади.

Казакі рассыпались по улицам искать виновных. Городовые бросились снимать флаги, но из домов прозвучали выстрелы. Я видел, как один городской упал, а другой присел за акацией.

— Ага-а, крысы белые! — кричал из-за трубы Васька. — Бейте их, красные партизаны, дайте им соус перигюль! — И Васька, заложив два пальца в рот, пронзительно засвистел.

На площади начался настоящий бой. Стреляли по крышам. Было опасно оставаться наверху, и мы, громыхая по листовому железу, перебежали с крыши на крышу, а потом спустились в чей-то двор.

По главной улице носились верховые, стреляли в окна, в раскрытые двери подъездов.

Мы с Васькой наблюдали за всем этим из переднего кирпичного дома. Вышли мы только тогда, когда все стихло.

Деникин испугался, уехал из города и даже не стал

есть свой соус пережюль. Зато мы с Васькой достали из-за пазухи две припасенные кукурузины и, подмигивая один другому, с наслаждением закусили.

7

С того дня бои в городе не утихали. Днем и ночью то на заводе, то на окраинах вспыхивали перестрелки.

Комендант фон Графф вывесил новое распоряжение: «Рабочих, у которых будет найдено оружие, арестовывать запрещаю. Приказываю расстреливать или вешать и не снимать три дня».

Белогвардейцы не зря так распетушились: они ничего не могли поделать с красными партизанами.

А это были смелые люди!

Я первый раз узнал, что воевать можно по-разному. Можно, к примеру, надеть шинель и шапку, взять винтовку и идти на врага в штаны. А можно ходить в своей одежде, заниматься во дворе по хозяйству, а винтовочку припрятать. И никто не будет знать, что ты и есть красный партизан.

Да и как узнаешь? Вот, к примеру, идет по улице тетенька. В руке у нее кошелка, из кошелки гусь выглядывает. И никому нет дела, куда идет тетенька. А она-то и есть тайная партизанка! И в кошелке у нее под гусем бомбы лежат. Вот как еще можно воевать...

Позднее Васька под большим секретом сказал мне, что красными партизанами были комсомольцы. Вот никогда бы не подумал! Я замечал, правда, что рабочие слишком часто заходили к нам чинить обувь. А сами не чинили, а только шептались с Анисимом Ивановичем и Ваську посылали то на дальний рудник, то в завод.

Потом я узнал еще более удивительную новость, что руководила партизанами Надя. Я давно не видел ее и думал, что она отступила с Красной Армией. А вышло вон как: Надя красная партизанка, да еще руководит всеми комсомольцами.

Скоро мне пришлось с Надей повидаться, но лучше бы не было такой встречи...

Я шел по улице и увидел, как белые казаки вели арестованных троих рабочих и одну девушку.

По мостовой цокали копыта коней, поблескивали на солнце обнаженные сабли. Едущий впереди молодой казак с лихим чубом кричал прохожим:

— Разойдись, дай дорогу!

Арестованные были связаны цепями. Девушка, избитая, шла и спотыкалась. И тут я заметил, что она смотрит на меня и глаз не отводит. Я взгляделся и узнал Надю.

Я побежал сбоку по тротуару, обогнал конвойных и все смотрел и смотрел на Надю. Она хмурила брови, опускала голову, косилась на конвойных. Я понял: ей нужно что-то сказать мне, но она не могла. Потом я заметил, как Надя выронила смятую бумажку и указала на нее глазами.

Подождав, пока белые казаки проедут, я выбежал на мостовую, поднял бумажку и помчался догонять арестованных. Издали я показал Наде уголок записки. Она улыбнулась мне. Милая наша Надя, ее увели...

Я бежал до самой тюрьмы, и, когда железная дверь захлопнулась, я развернул записку. Огрызком карандаша там было неразборчиво написано:

«Комсомольцы, осужденные на смерть, шлют свой прощальный привет товарищам! Умираем, но торжествуем. Верим в победу коммунизма. Да здравствует родной комсомол!»

Я зажал в руке записку. Что делать? И я пустился во весь дух к Ваське.

Когда я прочитал дома записку, Анисим Иванович сказал печально:

— Льется юная кровь, детей не жалеют. Но даст эта кровь великие всходы...

— Молодец, что поднял записку, — похвалил меня Васька. — Папа, я отнесу письмо туда...

— Иди, сынок, да будь осторожен. За нами следят.

Васька спрятал записку и ушел, а куда — не сказал.

Ночью у нас тайно собрались комсомольцы-партизаны. Ваня-Президиум объявил о гибели Нади.

Комсомольцы поднялись и сурово запели; у меня даже мороз по коже прошел от того, как все происходило: тесная землянка, тусклый каганец, за окном глухая ночь, и стоят с непокрытыми головами комсомольцы и поют вполголоса:

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,—
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

Васька тоже пел. Я взглянул на него и не поверил сам себе: Васька плакал. Первый раз в жизни видел я, как слезы катились у него из глаз. Васька хмурился: не хотел, чтобы я видел, как он плачет. Сам я держался изо всех сил, хотя жалко было Надю.

— Все. Точка, — сказал Васька на другой день. — Объявляю деникинцам красный террор!

И мы стали мстить белогвардейцам кто как мог. В одну походную кухню, прямо в кашу, набросали камней, у казака стащили затвор от карабина, на лавке Мурата заляпали грязью деникинский плакат,

8

Однажды Васька шепнул мне по секрету:

— Ленчик, хочешь посмотреть английскую танку?

— Где?

— Ребята рассказывали, что на станцию белогвардейский эшелон прибыл. Пойдем?

— Айда!

Мы собрались в дальний путь: до станции железной дороги было семь верст.

Долго мы шли по степи. За рудником «Ветка» потянулись поля кукурузы и подсолнуха, а за ними — болгарские огороды. Там была бахча. Если подняться на пригорок, можно увидеть издали желтые дыни и полосатые круглые арбузы. Они лежали прямо на земле — подкрадись и рви. Но сейчас все поля были вытоптаны. Все же мы нашли среди спутанной ботвы три небольшие дыни. Две мы тут же съели за здоровье огородника, который сидел в шалаше и боялся нос высунуть. А может, его совсем не было: шалаш, покрытый камышом и сухим бурьяном, мы обошли стороной.

Третью дыню Васька спрятал за пазуху.

— Отцу и мамке гостинец, — сказал он, и было смешно смотреть, как дыня оттопыривалась у него под рубахой, как будто там бомба лежала.

Мы шли не меньше часа. Но вот показалась вдали водонапорная башня и донеслись паровозные гудки. Мы знали, что если прибыли войска, то нас на вокзал не пустят. Поэтому пришлось зайти из-за семафора и шагать по шпалам.

Хитрость не удалась: часовой с винтовкой заметил нас и помахал рукой, чтобы сошли с путей. Но Васька

был скор на выдумку, он стал нырять под вагонами, стоявшими в тупике. Я последовал за ним. Так мы очутились на станции.

На путях стоял бронепоезд с надписью на тендере: «За Русь святую». Возле него прохаживались офицеры в новеньких погонах. Из орудийных башен торчали стволы пушек. Паровоз, тоже покрытый броней, тихонько посапывал, выпуская белый парок.

К хвосту бронепоезда была прицеплена открытая площадка, а на ней — какое-то чудовище, похожее на лягушку. Я смотрел и не мог понять: дом не дом, коробка не коробка. На вагон тоже не была похожа: вместо колес — рубчатые ленты. Из башен по бокам выглядывали тупые рыла пулеметов.

— Это и есть танка?

— Ага.

— Как же она едет?

— Не знаю. Сейчас будут сгружать, увидим.

Рабочие-железнодорожники стали настилать из досок дорогу прямо через рельсы. Потом какой-то человек в кожаном костюме открыл люк танки и залез в ее утробу. Скоро заработал мотор — заревело, затрещало в машине, синий дым повалил, танка покачнулась, рубчатые ленты побежали кругом, и железная хата, точно гусеница, поползла с платформы на животе.

Вокруг толпились офицеры и солдаты, все с интересом смотрели. Доски трещали под невероятной тяжестью. Офицеры радовались, говорили, что если такая громадина пойдет в бой, то все «краснопузые» разбегутся.

Мы с Васькой переглянулись: ишь, гады, торжествуют. Но мы не очень испугались! Я вспомнил, как Петя говорил: будем бревна кидать под ихние танки, остановим! Я подбадривал себя, а самому было страшно смотреть. Чудовище ползло, и все вокруг грохотало, даже земля тряслась и стекла звенели в окнах. Как его бревном остановишь, если он эти бревна подминает под себя, как щепки!

Деникинцы, веселые, бежали за танкой, обгоняли ее, хлопали по бронированным бокам, заглядывали в щелки. Мы тоже, смешавшись с толпой солдат, подходили близко. А Васька даже плюнул незаметно в щелку. Я его понимал — обидно было, что беляки радуются.

Скоро железное чудовище ушло, а мы вернулись на станцию. Бронепоезд «За Русь святую» разводил пары, а потом ушел.

На какое-то время вокзал опустел. Мы собрались было в обратный путь, но тут опять началось оживление, раздались звонки, извещавшие о подходе нового поезда.

Если так, надо было остаться: мы теперь красные партизаны, и надо глядеть в оба, что белогвардейцы будут делать. Комсомольцам надо обо всем знать.

Из поселка прискакали кавалеристы на сытых конях, все в чеченской форме, в кубанках. Кони и люди выстроились вдоль перрона лицом к железнодорожным путям. Нас с Васькой чуть не затоптали. Пришлось укрыться за будкой, где раньше торговали лимонадом.

Скоро на станцию влетел эшелон с войсками. Заиграли трубы, всадники вскинули обнаженные шашки. Из штабного вагона вышел генерал с черной повязкой на глазу.

Откуда-то появилась толпа горожан во главе с Цыбулей. Они поднесли генералу буханку пшеничного хлеба и солонку. Потом один бородач налил генералу бокал вина. Тот поднял бокал и крикнул хриплым голосом:

— Пью за вас, орлы мои!

Он выпил вино и разбил бокал о рельсу.

Грянуло «ура», кавалеристы обнажили шашки.

— Я знаю, кто этот косой, — шепнул мне Васька. — Это генерал Шкуро!

— А кто ему глаз выбил?

— Нашлись добрые люди...

Не успели мы опомниться, как оба едва не упали от неожиданности и удивления. Все что угодно можно было ожидать, только не этого. Среди офицеров, окружавших генерала Шкуро, мы увидели Геньку Шатохина. Надменный кадет в форме подпрапорщика держал себя щеголем и даже перчатки белые надел, как тогда на речке Кальмиус.

Я со страхом подумал: если Генька увидит нас, то не сносить нам головы. Сам генерал Шкуро выхватит саблю, чтобы нас зарубить.

Не отрываясь, Васька смотрел на кадета. Нет, он

не боялся помещичьего сынка, а завидовал ему. Ненамного кадет старше, а вот взяли его в армию. Почему же белогвардейцы берут своих, а наши наотрез не хотят записывать нас? Вот, наверно, о чем думал Васька, глядя на красивую, в серебре шашку кадета, на его сапожки со шпорами, на серую кубанку с малиновым верхом.

Мы сначала прятались за будкой, а потом Васька юркнул под вагон: хотел быть поближе к Геньке.

Мне было боязно оставаться одному за будкой, и я перебежал к Ваське. Мы притаились под колесами вагона.

Между тем генерал Шкуро в сопровождении офицеров ушел в здание вокзала. А Генька остался на перроне. Важный, он расхаживал вдоль штабного вагона, как будто охранял его. Из-под вагона нам были видны его сапоги и конец шашки. А Генька — ну и хвастун! — прогуливаясь, незаметно стучал каблуком о каблук, чтобы шпоры звякали.

Прятаться под вагоном было опасно, сидеть неудобно, и мы собрались давать тягу, но в это время к Геньке кто-то подошел:

— Здравствуй... То есть здравствуйте, Геня...

Я мог поспорить, что это был голос Сеньки Цыбули. Я присмотрелся и по грязным ногам узнал колбасника.

— Здравствуй, если не шутишь.

— Не узнали? Я Цыбуля... Помните, воевали вместе.

— Брось ерунду молоть! Как я мог с тобой воевать, если я офицер, а ты, как говорят у нас, гражданская крыса.

— Гы-гы, крыса... Смешно. А почему на вас такая форма красивая, Геня?

— Обыкновенная, офицерская...

— А ты... а вы теперь уже не кадет?

— Как видишь, подпрапорщик.

— А что вы тут делаете?

— Глупый вопрос. Воюю, жертвую собой. спасаю Русь святую.

— Мы тоже спасаем... У нас в городе уже пятнадцать рабочих и крестьян повесили.

— Ну и правильно. Этих большевиков надо душить...

Лицо у Васьки взялось красными пятнами. Я боялся, что он не выдержит, вылезет из-под вагона и бросится на кадета. Осторожно я потянул его за рубаху:

— Тикаем, Вась...

За пристанционным поселком мы устроили засаду на Сеньку: знали, что он будет возвращаться в город мимо посадки, и засели в кустах.

Скоро Сенька показался. Мы сначала пропустили его, а когда хотели окружить, он спохватился и бросился бежать. Ваське нечем было запустить в колбасника, и он, торопясь, достал из-за пазухи дыню и кинул Сеньке вслед. Дыня угодила ему прямо в затылок. Сенька икнул, но удержался на ногах и еще сильнее пустился улепетывать от нас. Дыня раскололась. Жалко было оставлять добро, я хотел поднять запыленные куски, да противно стало. Бросил.

На другой день Васька принес из города кучу новостей: Красная Армия наступает, белогвардейцы сматывают удочки, а на Черном море в городе Одессе французские моряки не захотели воевать против русских рабочих, восстали и подняли на своих кораблях красные флаги революции.

У нас, на окрестных рудниках, скапливались партизаны. Белогвардейцы метались по городу.

— Приходит вам крышка, — шептал Васька, глядя, как уезжают из города деникинские пушки, как тянутся по улицам обозы, а худые клячи везут кухни с кашей, а в каше камней полно — ребята набросали...

Жить стало веселее. По вечерам небо загоралось багровыми зорями, и Васька, глядя на них, говорил, что это не от солнца, а от красных знамен. Западные пролетарии всех стран идут к нам на выручку. Скоро, думал я, алые знамена заполнят всю нашу красивую, освобожденную от деникинцев степь.

— Недолго осталось вам жить на свете! — говорил Васька, провожая белогвардейцев. — Самую тютельку осталось вам жить, и даже меньше!..

Глава двенадцатая

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

*И взойдет над кровавой зарею
Солнце правды, свободы, любви,
Хоть купили мы страшной ценою —
Кровью нашей — счастье земли.*

1

Власть в городе менялась по несколько раз в день. О том, кто занял город, узнавали по флагам на доме лавочника Мурата.

Утром, прежде чем выйти на улицу, мы выглядывали в окно. Если над крыльцом своей лавки Мурат вывесил красный флаг — в городе наши. Тогда все высыпали за ворота. Если черный — махновцы. Если болтался желто-голубой лоскут — значит, город занял атаман Петлюра.

Но вот уже прошла неделя, как наши отступили на Пастуховский рудник, а на лавке Мурата болтался ненавистный белогвардейский флаг: бело-красно-синяя тряпка. Васька жалел, что не ушел с Красной Армией. Ведь там, за Пастуховским рудником, все наши: комиссар дядя Митяй, Сиротка, отец Алеши Пупка — дядя Ван Ли.

Генерал Деникин укреплял позиции, белые не собирались сдавать город. На фронт прибывали все новые и новые войска. Кроме «Дикой дивизии» Шкуро прибыли еще три: Корниловская, Дроздовская и Марковская. Бои шли непрерывно: не могли наши взять город. Уж очень велики были силы у Деникина.

Каждое утро я выходил из дому с надеждой, что белогвардейцев прогнали, но трехцветный лоскут по-прежнему болтался над кирпичными ступеньками лавки Мурата, нагоняя тоску и напоминая о том, что мы в плену.

Вот почему, когда с Пастуховки начинался оружейный обстрел и у нас на улицах рвались снаряды, я не пугался, а радовался: это были наши снаряды!

Семь дней тянулись, как семь лет. На восьмой я созвал друзей на чердаке моего пустого дома.

Нас собралось четверо: Абдулка, Уча, Илюха и я. Многие ребята с нашей улицы не могли прийти: одни

умерли от тифа, другие с голоду. Алешу Пупка убил белогвардейский офицер за то, что он распевал запрещенную песенку:

Ой, бог, ты оглох
И залез на небо.
А рабочим выдают
По осьмушке хлеба.

На пустом чердаке, за трубой, еще лежала примятая солома, на которой когда-то спал дядя Митяй.

Мы подошли к слуховому окну и стали наблюдать, как возле завода горел и взрывался склад снарядов. Белые клубы дыма, похожие на бутоны, плавно взлетали к небу. Над терриконом «бутоны» разворачивались на лету и от пламени были похожи на красные розы, лепестки которых осыпались на землю. Немного спустя доносился грохот взрыва.

— Во бахает! — Илюха вытер рукавом нос и засмеялся.

В эту минуту над крышей взвыл снаряд и ухнул где-то неподалеку. Мы так и присели.

— Ого! Дядя Митяй гостинцы белякам прислал, — сказал я.

Над головами пропел еще один снаряд. Илюха вылупил глаза и крикнул:

— Фунт колбасы белякам на обед!

— Борща кастрюлю! — вопил Абдулка, провожая третий снаряд.

— Огурцов с баклажанами на завтрак!

— Ды-ню-ю! — кричали мы, перебивая друг друга и приплясывая в деревянных босоножках на чердачном настиле.

Вдруг донесся крик перепуганной курицы. Илюха выглянул в слуховое окно и схватил меня за рукав:

— Шкуровцы!

Мы осторожно подкрались к окну и пригнулись, чтобы шкуровцы нас не заметили. Мимо домов скакали двое верховых, а впереди, отчаянно хлопая крыльями, бежала курица. Один из белогвардейцев запустил в нее чем-то, но промахнулся, другой выстрелил из нагана. Курица перевернулась, подрыгала желтыми лапами и затихла. Третий наклонился с седла, поддел курицу концом шашки и положил добычу в сумку.

— Вот гады, курей наших бьют!

— Споем? — предложил Уча, бесстрашно сверкая глазами.

— Споем.

Уча запел первым:

Ой, дождь идет
На дороге склизко!

Мы дружно подхватили:

Утекай, буржуй Деника,
Уже Ленин близко!

На соседнем дворе разорвался снаряд, черепица на крыше загремела. Заткнув уши, мы подождали, пока утихнет гул, и снова затянули:

Винтовочка тук-тук-тук,
А красные тут как тут.
Пулеметы тра-та-та,
А белые ла-та-та!

Когда шкуровцы скрылись за углом, мы смелее выглянули из окошка и стали оглядывать окрестности.

Всюду виднелись крыши землянок, поросшие полынью и лебедой. На улице было пустынно. В окнах торчали подушки — защита от пуль. Люди опять сидели в погребах. В первые дни туда выносили только соломенные тюфяки, потом стаскивали кровати, столы, и скоро на голубоватых от плесени стенах появлялись полотенца на гвоздиках и даже картинки. Погреб становился жилой комнатой.

Тоска. Все наши ушли с частями Красной Армии. На улице осталось только пятеро мужчин: я, Васька, Анисим Иванович, Уча и Абдулка. Илюху я не считал мужчиной: он был трус и по целым дням не вылезал из погреба. Отца Учи, старого грека, я тоже не считал мужчиной за то, что он чистил белогвардейцам сапоги.

Главным из всех мужчин был, конечно, Анисим Иванович. Каждый день с утра до ночи вместе с Васькой он делал босоножки, а по ночам тайком чинил старую обувь. Готовые пары Васька относил в сарай и засыпал углем.

— Дядя Митяй придет скоро, — объяснил он мне

однажды, — а обуви у красноармейцев нету, вот мы с батей и починяем про запас.

Я смотрел на крышу Васькиной землянки, и мне вспомнилось, как недавно за эту обувь чуть не убили Анисима Ивановича... К нам пришли четверо, все в черных волосатых бурках. Главный, у которого спереди не было зуба, оказался, как я потом узнал, комендантом города, есаулом Колькой фон Граффом. Это он когда-то сжег в коксовой печи моего отца и зарубил мать...

Деникинцы были пьяны. Фон Графф, входя, стукнулся головой о притолоку. Разозлившись, он указал на Анисима Ивановича револьвером и спросил:

— Ты, что ли, сапожник Руднев?

— Я, — ответил Анисим Иванович.

— Обувь есть?

— Какая обувь?

— Чего дурачком прикидываешься? Сапоги, ботинки починенные есть?

— У сынишки есть, а мне зачем она? — ответил Анисим Иванович.

По двору ходили белогвардейские солдаты, скрипела дверь погреба. Они чем-то гремели в сарае.

— Одевайся, — приказал фон Графф.

Тетя Матрена бросилась к офицеру:

— Ваше благородие, за что? Ведь он калека.

— Не вой, цел будет твой калека.

Анисим Иванович сполз с кровати, надел шапку и хотел взобраться на свою тележку, как фон Графф остановил его:

— У тебя, оказывается, катушек нету. Так бы и сказал...

Фон Графф хотел уйти, но в это время вошел в землянку бородатый деникинец. В руках он держал целую охапку починенных сапог, ботинок и опорков.

— Ваше благородие, в сарае нашли, — доложил он.

Фон Графф прищурился, остановился перед Анисимом Ивановичем, играя плетью.

— Так-с... — сказал он. — Врешь, значит? — И вдруг стеганул Анисима Ивановича плетью по глазам. Еще раз, еще!

Васька бросился вперед и закрыл собой отца.

— Калеку не трогай, — сказал он, упрямо опустив голову.

— А тебе чего надо, шмендрик? — И, неожиданно обняв за голову, он прижал ему пальцем нос, да так, что брызнула кровь.

Оттолкнув Ваську в дальний угол землянки, фон Графф подошел к Анисиму Ивановичу:

— Чья обувь?

— Дите не смей трогать! — крикнул Анисим Иванович, бледнея. Руки у него тряслись.

— Обувь чья, спрашиваю? — И фон Графф потянулся за наганом.

— Моя.

— Для кого?

— Себе, на хлеб менять.

Фон Графф поглядел на тележку Анисима Ивановича, на обрубки его ног и с силой погрозил плетью:

— Я тебе, кукла безногая!.. Завтра кожу принесут, будешь служить на Добрармию. — И фон Графф повернулся так резко, что повалил табуретку.

При выходе он опять стукнулся головой о притолоку и, совершенно озлившись, хватил ногой в дверь так, что она сорвалась с петель и вывалилась во двор.

Я выскочил следом за деникинцами и увидел на улице Сеньку Цыбулю. Прячась за углом, колбасник, как видно, поджидал белогвардейцев. Значит, он, предатель, и привел к нам фон Граффа. Не мог забыть своей злобы, мстил нам.

На другой день Анисим Иванович слег в постель, чтобы не работать на белогвардейцев, но фон Графф, к счастью, больше не приходил...

Уже за вечерело, а мы всё стояли на чердаке и смотрели на затихший город. Вон там, за бугром в степи, — Пастуховский рудник. Наверно, сейчас наши красноармейцы после стрельбы пьют чай с белым хлебом...

— Ох, есть хочется! — со вздохом проговорил Илюха.

— Хотя бы корочку погрызть.

— Хлопцы, а у меня в сарае хлеб кукурузный спрятан, — похвалился Абдулка.

— Принеси, — заныл Илюха. — Жалко, да?

— Ишь хитрый! Это я для мамки на шапку выменял. Мамка больная лежит.

Но все-таки дружба взяла верх: Абдулка сбегал к себе в сарай и скоро принес черствый, весь в паутине,

ломоть кукурузного хлеба, а кроме того, два кусочка сахара и жестяной чайник воды. Хлеб и сахарин мы разделили на части и стали пить «чай», по очереди потягивая из носика белого, побитого ржавчиной чайника.

— Ничего, скоро будем настоящий хлеб есть,— сказал я.

— Почему ты знаешь?

— Знаю. Скоро наши побьют беляков, и тогда хлеб начнется.

Илюха, Абдулка и Уча молчали. Потом Абдулка солидно заметил:

— Трудновато. За беляков Немция заступается.

Илюха мотнул головой, хотел что-то сказать, но закашлялся. Слезы выступили у него на глазах. Отдышавшись, Илюха прохрипел:

— Не знаешь, так молчи! Немция не заступается. Германия и Фифляндия за них, вот кто!

Я ухмылялся, потому что знал: Фифляндия не заступится.

— Давай поспорим, что Фифляндия не заступится! — предложил я.

— Давай. На что спорим?

— На два лимона!¹

— Тю, что за два лимона купишь? Давай на сто лимонов.

— Давай!

Ребята разняли наши руки. В это время на чердак влез Васька. Наклонив голову, чтобы не удариться о низкие стропила, он подошел к нам и сел на деревянную перекладину.

— Вы что тут делаете?

Илюха оживился и пообещал мне:

— Сейчас ты заплатишь мне сто лимончиков. Мы сейчас у Васьки спросим. Вась, а Вась, скажи: Фифляндия заступается за белогвардейцев?

— Не Фифляндия, а Финляндия. — Васька взял чайник и напился из носика. — А насчет того, кто заступается, то дело ясное: буржуи финские за белых, а рабочие за нас.

Илюха смущенно замолчал и, чтобы я не требовал с него сто лимонов, перевел разговор на другое:

¹ Миллион.

— А скажи, кто победит: мы или белогвардейцы?

— Мы победим, — уверенно заявил Васька. —

У нас Буденная армия собирается.

— Какая Буденная?

— Красноармейцы все, как один, на конях и с пашками. Ух и смелые! А Буденный — командир, из бедняков. Сам в атаку ходит. Беляки если увидят его издалека, то сразу тикают... Один раз интересный случай был. Отца Буденного белые захватили в плен и говорят: «Выдай сына, отпустим». А он отвечает: «Подавитесь вы своими словами, чтобы я родного сына выдал». Тогда белые говорят: «Мы тебе кишки выпустим и собакам бросим. Живи до утра, а на рассвете казним». Узнал про это Буденный и поскакал к своему товарищу красному командиру. «Дай, — говорит, — полк кавалерии, мне надо отца выручить». — «Не могу дать, люди, мои устали». — «Ну хоть сотню». — «Не могу». — «Тогда десяток бойцов дай». — «Нет». Задумался Буденный: что делать? Ночь кончается, скоро отца расстреляют. Сел он на коня, взял с собой родного брата, и поскакали они на белых. «Первый эскадрон направо! Второй эскадрон налево!» — скомандовал Буденный. «Ура-а!» Увидели деникинцы Буденного, и давай бог ноги! Подлетел он с братом к тюрьме, отсек голову часовому, тюрьму открыл, взял отца, посадил на коня, и шукай ветра в поле!

— Ух, как интересно! — выдохнул Абдулка.

— Расскажи еще, — попросил Уча. — Вась, расскажи.

— Некогда. — Васька подмигнул мне.

— Вась, а как ты узнал про Буденного? — спросил Илюха, подозрительно прицеливаясь хитрым взглядом.

— Сорока пролетала и мне рассказала, а тебе, рыжему, поклон передавала.

— Скорей бы прогнали белых, — сказал со вздохом Абдулка.

— Прогоним, чего ты беспокоишься? — сказал Уча. — Скинем их в Черное море, и нехай купаются с карасями.

— Поесть бы карасиков... жареных, — сказал Илюха, облизываясь.

— Карасиков... Тут картошки не видим, хлеба не достанешь, — сказал Уча с досадой.



— А помните, как мы обедали в столовой при Советской власти? — спросил я.

— Фартовая была жизнь, — согласился Васька. — А будет еще лучше. Надо только Деникина разбить, чтобы война кончилась.

— Скажи, Вась, какая будет жизнь?

— Правда, Расскажи, — попросил я.

— Тогда такая жизнь придет, что у вас головы не хватит понять.

— А ты все равно Расскажи...

Плавнo покачиваясь и обняв руками согнутые колени, Васька задумчиво смотрел в слуховое окно, сквозь которое было видно далекое небо, повисшее над тревожной, изрытой окопами родной нашей степью. Чуть заметная улыбка озаряла его лицо.

— Перво-наперво ни одного богача на свете не останется. Захочешь нарочно найти, и ни одного буржуя не сыщешь на всей земле, во всех странах и государствах, за морями-океанами... И воевать тогда люди перестанут. В городах построят высокие дома. А в них лампочки загорятся, не керосиновые, а такие... фонари! Много-много, может, целый миллион или сто тысяч. Ярче солнца засияют! А на улицах будут абрикосы расти, вишни, разные тюльпаны. Даже в заводе зацветут деревья. Работай и слушай, как птицы поют... Пацаны тогда все до одного научатся читать и писать, а вырастут, сами станут председателями! Вот такая жизнь придет! Коммунизм называется...

— На всей земле так будет?

— На всей, — сказал Васька. — Останутся на свете одни рабочие и крестьяне.

— А когда это будет?

Уча даже рассердился на Абдулку и строго сказал:

— Тебе прямо завтра подавай! Васька что говорит? Надо сначала Денику прогнать.

Васька поднялся и сказал:

— Ну хватит... Ленчик, пойдем я тебе что-то сказать должен, — и Васька подмигнул ребятам, — по секрету всему свету...

2

Мы спустились с чердака. До самой землянки Васька молчал, а во дворе остановил меня и сказал:

— Хочешь порадоваться?

— Хочу.

— Только тише... — Васька оглянулся по сторонам. — Я тебе что-то скажу, а ты не прыгай от радости, помалкивай, ладно?

— Да говори скорее...

— погоди, сейчас скажу. — Он опять посмотрел по сторонам, как будто боялся, что кто-то услышит, потом сказал тихонько: — Дядя Митяй у нас сидит.

— Не ври!

— Ей-богу.

Я кинулся к землянке, распахнул дверь и замер от того, что увидел.

За столом спиной к двери сидел лысый белогвардеец. Синие погоны выгнулись на плечах, защитного цвета солдатская гимнастерка была перехвачена широким ремнем и пузырилась на спине. Белогвардеец обернулся, и я узнал дядю Митяя. Только он сильно похудел, и черных как уголь усов не было.

В другое время я бросился бы к нему, но что означали белогвардейские погоны? Не может быть, чтобы дядя Митяй стал беляком!

Дядя Митяй, передразнивая меня, вытянул губы и прищурил один глаз.

— Дядя Митяй, ты беляк, что ли?

— Так точно, ваша сковородь! — ответил он, и все засмеялись.

Тогда только я догадался: дядя Митяй нарочно переоделся, чтобы его, красного партизана-подпольщика, не поймали деникинцы.

— Вот, значит, какие дела, — продолжал дядя Митяй прерванный разговор. — Бронепоезд «Орел» выходит из ремонта утром, а там еще три наготове: «За Русь святую», «На Москву» и «Деникин». Ударят с двух сторон, и плохо придется нашим. Я послал через линию фронта троих — ни один не прошел. Мне самому никак нельзя, опознают.

— Да-а, — в раздумье произнес Анисим Иванович, — в таком положении только мальчишка может помочь.

Они замолчали. Дядя Митяй переглянулся с Анисимом Ивановичем, и тот сказал мне:

— Леня, пойдика, сынок, принеси угля из сарая. Вон ведро, а лопата на месте.

Я так и знал: не доверяют. Ну и пусть... Все равно будет по-моему... Я взял ведро и вышел из землянки. Прежде чем идти в сарай, я подкрался к окошку и стал прислушиваться к разговору взрослых.

— Не забыл? — спросил дядя Митяй у Васьки.

— Нет.

— А ну, повтори.

Я видел, как Васька встал перед дядей Митяем по стойке «смирно» и начал быстро говорить:

— «Командиру четвертого полка товарищу Сиротке. Завтра на рассвете кавалерийский полк Шкуро при трех бронепоездах, тридцати пулеметах пойдет в наступление. Не ожидая, атакуйте. Сигналом красной ракеты дайте знак. Красные партизаны ударят с тыла. Передает комиссар Арсентьев».

— Молодец! — похвалил его дядя Митяй. — Теперь погуляй, я после еще спрошу. Нужно крепко запомнить.

Васька взял картуз и вышел во двор. Мы вместе зашли в сарай, и он помог мне насыпать ведро угля. Потом мы присели.

— Ленчик, ты не обижайся на дядю Митяя... Это я приказ выучил. Сегодня ночью пойду на рудник: надо пронести его через фронт... Думаешь, мне не жалко тебя? Еще как... Хочешь, вместе пойдем?

Я молчал, не знал, что ответить.

— ...И больше не придем, — продолжал Васька. — Запишемся в красноармейцы, дадут нам винтовки, и тогда мы отплатим богатеям за все. Они твоего отца погубили и моего сделали калекой...

Опять мне вспомнился отец. За что его сожгли? За что мать убили? Я должен отплатить за их мученическую смерть. Должен. Чего же мне трусить?

Я встал. В сердце моем не было робости.

— Пойдем, я с тобой...

— Ну вот и хорошо! Домой ты уже не заходи, а жди меня в палисаднике Витьки Доктора. Понял?

— Понял.

— Бояться не будешь?

— Нет.

— Ну смотри. Там смелым нужно быть. В тебя стрелять будут, а ты иди. Больно будет, а ты не плачь! Назло не плачь. Понял?

— Понял.

Васька вернулся в землянку, чтобы попрощаться с родителями. Я постоял в раздумье и пошел к сараю. Там я откопал свой клад: десять штук патронных гильз, перочинный ножик и пуговицу со звездой. Все это я положил в карман: не оставлять же белым.

В землянке тускло светилось оконце. Я подкрался и заглянул в него, чтобы последний раз увидеть Анисима Ивановича и тетю Матрену, так заботливо приютивших меня, когда я стал сиротой.

Дядя Митяй надевал через голову Ваське нищенскую суму и напутствовал:

— Если поймают, говори: к тете Варе на рудник идешь, скажи, милостыню в городе собирал. Сначала пойдешь по-над карьером. Потом влево свернешь, к водокачке, а там по Дурной балке. Пригнись, когда будешь идти, чтобы издали не заметили.

— Ты потише, Васечка, — вытирая слезы, проговорила тетя Матрена, — не беги, если кликнут, не дерись.

— Будь вроде как непонятливым, — добавил Анисим Иванович. — Да вертайся поскорее, мать убиваться будет, сам знаешь.

Васька молча собирал в сумку куски макухи.

Дядя Митяй одернул гимнастерку:

— Прощайте. Для связи теперь Ленька у нас. Я услышал, как хлопнула дверь, я прижался к земле. Дядя Митяй, проходя мимо, чуть не наступил мне на руку. Они остановились с Васькой невдалеке, помолчали...

— Видишь, какое дело, Вася, — услышал я голос дяди Митяя. — При матери не хотелось говорить. Приказ этот... как бы тебе сказать... на смерть нужно решиться, но доставить. Две тысячи людей наших погибли от рук белогвардейцев. Так что, если прохода нет, беги. Что будет, то будет, беги — и все. Людей мы обязаны спасти...

— Не бойся, дядя Митяй, я пройду...

— Тяжело тебя посылать, ты для меня дороже сына, — продолжал комиссар задумчиво. — Теперь ты большой и понимаешь: все живем для борьбы...

— Понимаю, дядя Митяй, — с волнением ответил Васька. — Ты не беспокойся, я где хочешь пройду!

— Ну прощай...

Я услышал звук поцелуя.

По улице удалялись шаги дяди Митяя. Они долго звучали в тишине, постепенно затихая.

— Вась, я здесь, Вася!

— Иди, куда сказано, я тогда свистну.

Я поднялся и крадучись вышел за калитку.

Мой пустой дом, заброшенный и печальный, смутно виднелся в темноте. Почему-то стало жалко покидать его.

На углу улицы я вошел в палисадник дома Витьки Доктора и лег между кустами сирени. Земля была теплая. Я лежал и слушал, как стучится в землю мое сердце...

В стороне слышались шаги и шуршание платья. Мимо прошел Васька с матерью: она провожала его. Я слышал обрывок их разговора.

— Сыночек, — шептала тетя Матрена, — берегись, ради бога, и возвращайся скорее. А то как же нам без тебя?..

— Не печалься, мама, и не жди меня понапрасну. Может, я задержусь там, у своих, а вы с батей как-нибудь побудьте без меня. А потом я приду с Красной Армией...

Больше я ничего не слышал и потерял их во тьме. Я лежал не двигаясь. Потом тетя Матрена, возвращаясь, снова прошла мимо. Она крестилась и шептала: «Да будет воля твоя и царствие твое на земле...»

Когда шаги смолкли, невдалеке раздался свист. Я ответил. Васька подошел, сел рядом. Мы прислушались. Над степью стояла тишина. В городе внезапно, как дробь, простучали копыта казачьего разъезда, и снова стало тихо.

3

— Пойдем, — сказал Васька, вставая. — Надо проскочить незаметно. Если поймают, говори, что ты мой брат и мы идем к тете на рудник. А если не поверят и станут бить — нехай бьют, молчи! Теперь ты должен быть, как... — он пошарил в траве и поднял камень, — как этот камень, видишь? Он не боится, и ты не бойся. Ну, будешь бояться?

— Нет.

— Пойди сам до водокачки.

Я нагнулся и поднял камень.

— Ты чего?

— Камень взял.

— Зачем?

— Вдруг собака встретится?

— Нет собак там, брось, — недовольно прошептал Васька.

Я бросил камень, и смелости во мне убавилось. Я вышел из палисадника, оглянулся по сторонам и с замиранием сердца пошел с горы. По бокам зияли черные ямы, и в каждой чудился шкуровец с выбитым зубом.

«Чего я боюсь? — мысленно спрашивал я себя и отвечал: — Ничего не боюсь. Здесь волков нету, а если встретится, я ему р-рав!..»

За водокачкой слышались голоса, и мне стало жутко. Я повернул было назад и столкнулся с Васькой. Он шел за мной.

— Давай говорить, будто мы ничего не знаем, — тихо подсказал Васька и весело заговорил: — Сейчас придем домой. Тетя Варя нам лепешек напечет. Ох и наедемся мы, правда?

— Ага! — ответил я так громко, что Васька толкнул меня в бок.

— Тише.

Стал накрапывать дождь. Над заводом в черном небе сверкали огненные сабли молний.

Шурша босыми ногами по траве, мы двигались почти на ощупь.

Вдруг во тьме кто-то зашевелился, слышался не то смех, не то пение. Потом удалось разобрать: кто-то негромко и гундосо бубнил себе под нос песенку:

Сама садик я садила,
Сама буду поливать...

Невдалеке раздались шаги, и грубый мужской голос спросил:

— Тимофей, ты куда махорку дел?

— В шинели махорка, — отозвался другой.

Минуто было тихо, лишь шуршала трава: кто-то прошел мимо, и мы услышали приглушенный разговор:

— У тебя тихо?

— Ничего не слышать.

— Есаул не проверял?

— Нет еще.

Васька больно сжал мне локоть. Мы не дышали. Подождав минутку, Васька потянул меня за подол рубахи, и мы поползли.

Тишина была такой напряженной, точно все, что было в степи, прислушивалось к нам. И тогда неожиданно, как гром, прогремел в темноте испуганный голос:

— Стой, кто идет?

Мы не отвечали.

— Подымайся, стреляю.

— Это мы, — тихо сказал Васька, вставая.

Я увидел лохматую казачью папаху с белой кокардой.

— Кто такие, пропуск! — грозно спросил часовой, и сейчас же в стороне послышались легкие торопливые шаги.

— Куров, кто там?

— Пацаны, ваше благородие.

— Какие пацаны, откуда?

К нам бесшумно подошел офицер. В темноте я узнал фон Граффа.

— Мы к тете Варе на рудник, — пробормотал Васька. — Она больная лежит. Мы ей милостыню собирали.

— Какая тетя Варя? — выкрикнул офицер и приказал солдату: — Обыскать!

Солдат снял у Васьки суму и принялся шарить в ней.

— Куда идете? — спросил офицер.

— Я же говорю, на рудник к тете Варе. Мы братья-сироты, — жалобным голосом объяснял Васька.

— А вы знаете, что здесь позиция белой армии и ходить нельзя?

— Нет, — ответил Васька.

Солдат выпрямился и доложил:

— В сумке макуха, ваше благородие.

Офицер чем-то щелкнул, и яркий свет ослепил меня.

— Стоп, стоп... — проговорил фон Графф, приглядываясь к Ваське. — Ну-ка, глянь сюда! — Офицер выпрямился. — Так-с... братья-сироты. К тете Варе... А не врешь, скотина? Я тебя где-то видел...

— Тетя больная, — доказывал Васька бедным голосом. — Мы ей макухи насобирали...

В ту же минуту невдалеке звякнули шпоры, и возле нас остановился еще кто-то.

— Что здесь происходит, господин есаул?

Фон Графф осветил фонариком подошедшего, и мы обмерли. Перед нами стоял Генька Шатохин, с саблей, в белых перчатках.

— К тете Варе на рудник идут, — объяснил фон Графф. — Да уж больно подозрительно.

Генька подошел к Ваське и поднял его лицо за подбородок.

— Господин есаул! — испуганно проговорил кадет. — Это красные...

Кадет не успел договорить, Васька ударил его головой в живот, и он поскользнулся.

— Тикай! — крикнул мне Васька и метнулся в темноту.

Фон Графф схватил меня, но я рванулся изо всех сил.

— Огонь! — приказал офицер. — Стреляй!

Грянул выстрел. У меня похолодела спина. Я бежал за Васькой, перепрыгнул через какой-то ров, упал, снова поднялся. В это время за спиной холодно прозвучал второй выстрел, третий. Пуля пискнула над головой, а я все бежал, не видя, куда бегу и где Васька. Почему-то я слышал, как звенели в моем кармане гильзы от патронов.

Внезапно послышался всплеск. «Кальмиус», — мелькнуло у меня в голове, и я тут же провалился в холодную воду. Где-то позади грохотали выстрелы, слышался тяжелый топот ног. Страх толкал вперед.

— Ленька, где ты? — услышал я знакомый голос.

Я хотел ответить и не мог. На берегу невидимая рука схватила меня за рубашку и потащила к себе. Это был Васька. Он лежал в неглубокой яме.

— Пригнись.

Я пригнулся.

Шел дождь. Впереди тарахтел пулемет. Пули пошвистывали и со стороны рудника.

— Плечо жжет, — корчась от боли, сказал Васька и, потянув, разорвал на себе рубашку. Она была мокрая от дождя, и на ней виднелись пятна крови.

Васька лежал, прислонив лицо к мокрой траве, и с трудом поднялся.

— Теперь идем, — сказал он. — Приказ надо передать. Идем скорей.

Вдруг позади раздались сразу два выстрела. Васька выгнулся, будто ему к спине приложили раскаленное железо. Шатаясь, он постоял мгновение и рухнул прямо на меня.

— Ты чего, Вась, Вася? — тормозил я, выбравшись из-под него.

Дыхание его стало частым и горячим.

Дождь ринулся сплошным потоком. Я лежал на мокрой траве, сжавшись в комок.

Со стороны деревни Семеновки подул ветер, и рубашка, прилипшая к телу, казалась ледяной. Пули свистели все реже. Васька хватался за траву, пытаясь ползти, но вырывал ее с корнями, не в силах тянуть отяжелевшее тело. Наконец он приподнял голову и повернул ко мне лицо с закрытыми глазами.

— Ты думаешь, я не встану? — неожиданно спросил он с обидой и злостью в голосе.

Ужас овладел мною. Я не знал, что делать, и заплакал. Теплые слезы текли у меня по щекам.

— Думаешь, не встану? — повторил он и встал, ища рукой опоры.

— Вася, — сказал я и взял его за горячую руку. — Я боюсь, Вася.

Опираясь на меня, он шатался на широко расставленных ногах.

— Идем, не бойся. У меня только в спине болит. Иди, я буду за тебя держаться. Ты теперь ничего не бойся. Приказ надо передать, а то наших побьют.

Он отстранил мою руку, сделал шаг вперед, но споткнулся и упал вниз лицом, повалив и меня.

— Чего ты? — спросил я. — А? — Но больше ничего не мог сказать. Соленый ком застрял в горле, и мне трудно стало дышать.

Васька лежал молча. Казалось, он что-то вспоминал и никак не мог вспомнить. Вдруг он спросил и так, что у меня мороз прошел по коже.

— Ты думаешь, я помру? — и повторил хрипло и тяжело: — Думаешь, помру, да?

Со страшным напряжением, опершись одной рукой на меня, он снова встал. Сделал два шага и опять упал.

Я склонился над ним. Васька не дышал. Я никогда не видел человека, который бы не дышал.

И тогда я понял, что Васька умер, что я остался один на этом кургане, в этой большой степи, во всем мире...

Я почувствовал острую жалость к себе, и она хлынула горячим потоком слез.

Я вскочил и, плача, побежал к Пастуховскому руднику.

Дальше все проходило, как во сне. Около домов кто-то гнался за мной и кричал: «Стой, стреляю!»

Потом меня привели к командиру, в котором я узнал Сиротку. На нем были красные галифе, на поясе висела шашка. Сиротка узнал меня, ласково обнял единственной рукой, и я долго рассказывал ему, как попал сюда и что случилось со мной и моим другом на берегу речки Кальмиус.

Когда я, всхлипывая, умолк, он попросил:

— Повторить приказ можешь?

Я повторил, что запомнил.

Откуда-то явились матрос Черновол, дядя Ваня и Абдулкин отец, дядя Хусейн. Сиротка сказал, что надо объявить тревогу.

— Хлопцы, по коням!

— По ко-о-ням! — запели всюду голоса.

На востоке вполне занялась алая заря. Тысячи конников, выхватив шашки, лавиной помчались к городу.

Я все еще не мог прийти в себя. Шахтер Петя отвел меня в дом, напоил чаем, а потом принес и велел надеть галифе, гимнастерку и серую островерхую шапку с красной суконной звездой, пришитой спереди.

— Вот теперь ты настоящий кавалерист! Будешь служить со мной, пулеметчика из тебя сделаю. Видишь тачанку? Это наша с тобой судьба! Будем воевать, пока трудящийся народ не победит на всем свете! И не печалься. Погляди, какие у нас кони! Четверка! Сядем с тобой за пулемет, и только искры из-под копыт за сверкают! Не горюй, Ленчик!..

Днем на широком рудничном дворе я увидел много новых гробов. Я вглядывался в лица убитых и неожиданно увидел того, кого искал. Васька занимал только половину грубого, неоструганного гроба и лежал как живой. Высокий лоб его, как всегда, был нахмурен.

Теплый степной ветерок тихо шевелил его белые волосы, клином спадавшие на лоб.

Слезы сами собой лились и лились по моим щекам. Я смотрел на побелевшее, но такое родное хмурое лицо, на упрямо сжатые губы и вдруг подумал: сейчас он откроет глаза и спросит: «Ты думаешь, я помру?»

Я повернулся и убежал, чтобы не видеть, как будут его хоронить...

Так умер Васька, мой суровый и нежный друг, и последняя ночь его жизни была последней ночью моего детства.

Степь... степь...

Такая загадочная и простая, далекая и родная, полынная шахтерская степь.

Много лет я не видел ее, но запах ладана и чебреца, красные брызги мака и трель невидимых жаворонков и теперь ярко встают передо мной, как только я закрою глаза.

Детство. Знойная донецкая степь — родина горькой полыни.

Детство. Розовый дым заводских кочегарок, кривые землянки, мелкая речка Кальмиус и степь, степь без предела...

Москва, 1937, 1950—1953



СТРАНИЦЫ ПЕРЕЖИТОГО

Рассказ автора о себе
и о том, как была написана
эта книга

«Дорогая редакция! Мы, дети, находящиеся на лечении в детском санатории, коллективно прочитали книгу Л. Жарикова «Повесть о суровом друге». Образ Васьки будет всегда для нас примером мужества, геройства и отваги. Но нас интересуют некоторые вопросы: Ленька, лучший друг Васьки, это и есть Леонид Жариков или нет? Если это он, то мы просим написать нам, как он стал писателем».

«Тов. Жариков, напишите, пожалуйста, о своей или не о своей жизни Вы написали в этой книге. Существовал или не было такого героя? Чем Вы сейчас занимаетесь, на каком производстве работаете? Почему на книге написано, что автором является Леонид Жариков, а не Устинов?»

«Дорогой Леонид Егорович! Меня очень интересует, что было дальше с Тонькой, вашей «невестой», и особенно меня интересует ваша жизнь после победы над врагом. Желаю вам много лет жизни на благо нашей Родины, за которую вы вместе со своим другом отдали свое детство».

Письма, письма... Какие они все разные: авиа и заказные, сложенные треугольником, словно весточки с фронта, с цветами и птичками, нарисованными детской рукой, с надписями прямо на конверте: «Лети с приветом, вернись с ответом» или «Привет советским почтальонам!» Сколько в этих письмах доброты и лю-

бознательности, неподдельного интереса и жизненной активности. Сколько за этими трогательными посланиями ребячьих характеров. Одни письма заполнены аккуратными строчками, другие написаны торопливо, с помарками, с зачеркнутыми словами, но горячие, искренние, нетерпеливые.

Сорок лет живет на свете «Повесть о суровом друге», и все эти годы непрерывно идут письма, полные вопросов к автору, советов и просьб.

Писать о себе — труд тяжелый. И по-видимому, не случайно я первый раз за долгие годы приступаю к этому нелегкому для меня разговору.

С чего начать? Как рассказать о сложных вопросах творчества так свободно, а вместе с тем просто, чтобы даже не посвященному в «секреты» литературного мастерства человеку все стало понятно? Очень трудно выполнить такую задачу. Ведь в художественном произведении жизнь так тесно переплетается с вымыслом, что подчас невозможно уловить, где кончается чудесная сказка-выдумка и где начинается сама жизнь. В писательском ремесле нет готовых правил и законов — все неповторимо, и всегда все начинается сначала. Единственно, о чем можно было бы не спорить, это о том, что всякая книга есть итог жизненных наблюдений и раздумий, что в любом произведении автор так или иначе «выражает самого себя», излагает свои взгляды на жизнь, свое отношение к людям и их делам. Вот почему нельзя рассказать, как создавалась повесть, не вспомнив о том, что прожито и пережито, не перелистав страниц собственной жизни.

Начну с рассказа о себе, а читатели сами сделают вывод, в какой мере судьба героя повести Лени Устинова является отражением судьбы автора.

ДЕТСТВО

Я родился в шахтерской Юзовке. Сегодня это крупнейший из городов страны — Донецк, с гигантской промышленностью и миллионным населением. А в те времена Юзовка была небольшим местечком с единственной церковью, немощными тротуарами, редкими извозчиками и «чудом XX века» — киноиллюзионом, где по воскресеньям за пятак показывали «туманные

картины». Словом, это был некрупный рабочий поселок при металлургическом заводе «Новороссийского общества». Фактическим хозяином завода был англичанин Джон Юз.

Мои родители происходили из крестьян Орловской губернии Болховского уезда деревни Пально. Отец еще в юности подался из голодных мест в «хлебные края», уехал в Донбасс на заработки, да так и остался там — сменил навсегда крестьянский zipун на куртку рабочего.

Первое время он скитался по окрестным шахтам, рубил уголь, таскал «санки», согнувшись в три погибели в тесном угольном забое. Потом стала немоготу шахтерская каторга. За взятку артельщик помог наняться на завод к Джону Юзу. Там отец возил под доменными печами сорокапудовые железные тачки с рудой. Потом приобрел профессию каменщика по кладке огнеупорных печей: доменных, мартеновских, коксовых и прокатных. Специальность эта была отчаянная, особенно во время ремонта печи на ходу: надо было заделать прогоревший под, стоя над огнедышащей печью. Нередки бывали случаи, когда ремонтные рабочие срывались и падали в кипящий металл.

Отец еще в деревне окончил церковноприходскую школу, что равнялось примерно двум классам начальной школы. Но я помню, как за отцом присылали даже ночью, точно за доктором к больному, когда случалась авария на заводе. Он был тем мастером-умельцем, чьи славные дела оставались на земле безымянными.

Долгое время отец с матерью Александрой Афанасьевной жили в казенных домах, так называемых балаганах, где на двухэтажных нарах обитали холостяки вперемишку с семейными. Балаганы стояли так близко к террикону Центрально-Заводской шахты, что глыбы породы, летящие по откосу сыпучей горы, закатывались на середину улицы и лежали там годами. Ядовитый серный дым от коксовых батарей окутывал поселок, прозванный Собачовкой, где ютилась рабочая беднота.

До сих пор не знаю точно, где я родился: в заводских балаганах или в отцовской землянке, которую он построил сам подальше от завода, в степи, по соседству с селом Семеновкой. Помню низкий потолок, землян-

ки, побеленный крейдой¹, и торчащий в потолке железный крюк для «колыски» — так по-местному называлась люлька. Позднее, когда я уже стал ходить, брат Ваня катал меня в этой люльке по земляному полу.

Первой отрадой ребят городской окраины была степь, та самая полынная шахтерская степь, которая бесконечно дорога мне и теперь. Степь начиналась сразу же за нашим каменным заборчиком, сложенным из обломков степного камня. Эти низкие каменные ограды были сплошь увиты розовыми цветами повилики, или, как мы называли их в детстве, граммофончиками.

Поблизости был каменный карьер, а за ним протекала извилистая речка Кальмиус, сплошь заросшая камышом и такая мелкая, что видны были в воде стаи серебристых пескарей, а гуси переходили речку вброд. День и ночь из камышей доносилось кваканье лягушек. Эти звуки были для меня колыбельной песней: с одной стороны кричащий гудками завод, с другой — хор лягушек да мелодичные трели жаворонков над степью.

Какая сила влекла нас, ребяташек, в старый юзовский завод и почему воспоминания об этом так светлы и волнуют сердце? Ведь если разобраться, завод был подлинным адом: удушающий дым, копоть, грохот старых машин, свистки паровозов, снующих по рельсам, звон и скрежет металла. Но для нас, пролетарских ребят, ничего не было интереснее, как лазать по горам ржавого лома, взбираться по скобам на высокие кирпичные трубы и оттуда любоваться видом завода. Богатырские доменные печи, издали похожие на гигантские каменные «кадушки», были обтянуты стальными обручами. Днем и ночью над домами ревели огненные факелы. По круглым бокам печей струились потоки воды — так остужали горячий кирпич. А внутри, в «животе» у домен, kloкотал расплавленный чугун. Восхищали нас рабочие-каталы, они подвозили к печам руду, и все были голые до пояса и красные от руды. Это была тяжелая работа: как лошади, люди впрягались в железные тачки, подкатывали их к люкам, и с грохотом опрокидывали руду в ямы — бункера. Красная пыль вздымалась над люками и долго оседала на головы рабочих.

¹ Мел.

Одни мы, ребяташки, знали тайные лазы в заводском заборе, крадучись пробирались через них и восторженно смотрели, как работают прокатчики. По железному полу, точно в сказке, извивались огненные змеи раскаленного металла, рабочие спокойно перешагивали их, ловко хватали длинными клещами и этим вызывали у нас чувство зависти.

С детства любил я завод еще и потому, что туда рано утром уходил отец, а вечером возвращался. Он шел усталой походкой, но всегда весело улыбался. Мама поливала ему из кувшина во дворе, а отец, умываясь, брызгал водой на нас, детишек.

Пока мама собирала на стол ужин, мы с братом мчались в лавку Мурата за хлебом. Там на полках, точно книги, стояли в ряд белые буханки свежего ароматного хлеба. Что это было за наслаждение — нести домой круглую буханку на голове и придерживать ее рукой! Хлебы были пышные, с зажаристым золотистым «бубличком» по середине. Мы отламывали по кусочку, корочка хрустела на зубах, и мы мчались к дому, весело пыля по дороге босыми ногами.

Как водится, мы, ребяташки, первыми усаживались за колченогий стол, покрытый клеенкой, и ждали, когда отец торжественно разрежет буханку — ведь такого праздника мы ждали целый день!

Мама была рукодельница и певунья. Склонится, бывало, над шитьем и поет:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно,
Днем и ночью часовые
Стерегут мое окно...

Мама была грамотнее отца. Я сужу об этом по далеким и радостным воспоминаниям, когда она читала нам стихи Некрасова и Шевченко. А темными зимними вечерами мы с братом Ваней усаживались рядышком на деревянной кровати, укрывшись лоскутным одеялом, и ждали, когда мама зажжет керосиновую лампу и станет читать удивительные сказки: «Вий», «Пропавшая грамота», «Сорочинская ярмарка». С чувством сладостного страха и благоговения брал я в руки книгу и перелистывал страницы с картинками, где храбрый кузнец Вакула летел по небу верхом на черте, а запо-

рожский казак играл с ведьмой в карты, желая выручить шапку с пропавшей грамотой.

Никакие забавы не могли сравниться с теми глубокими впечатлениями, которые оставляли мамины чудокнижки. С тех пор чувство сказки живет в душе. И мне приятно думать, что моим первым учителем была мама.

СИРОТСТВО

Детство оборвалось неожиданно и горько. Летом 1920 года умерли отец и мать. Началось с того, что с фронта привезли больного тифом старшего брата Митю. Мама ухаживала за ним, вылечила сына, а сама заболела и умерла.

Кажется, никогда так бурно не цвела белая акация, как в ту весну. Все деревья на улицах и во дворах были усеяны пахучими гроздьями цветов, звенящими от пчелиного гудения. С этим праздником природы связаны у меня печальные воспоминания о смерти матери.

Никогда не забыть мне голубого гроба на точеных ножках в углу под иконами, а в нем — маму. Она лежала какая-то светлая и строгая, как невеста, с венчиком белых восковых цветов на голове. Кто-то из соседей взял меня под руки и поднял над гробом, тихо подсказал: «Прощайся с мамой, сынок».

Не прошло и двух недель, как заболел и умер в больничном бараке отец. Мы оцепенели от горя. Помню, шумела непогода, ветер раскачивал деревья. Старший брат Митя стучал молотком, обивая красной материей дощатый гроб. Ветер рвал из рук свободный конец кумача и мешал его горестной работе. Брат не захотел хоронить отца по религиозному обряду, в церкви, а только по-революционному — в красном гробу.

В нашем тесном дворике снова растерянно толпились люди. Какая-то женщина, вытирая платком слезы, сказала певуче: «Що ж воны наробили... Вмерли, як за руки побрались».

Сиротство... Сколько прожил с той поры, никогда не встречал горя, которое могло бы сравниться с горем и растерянностью детей, оставшихся без отца и матери.

Брат Митя, которому исполнилось в то время сем-

надцать лет, уехал воевать против Деникина, а мы с Ваней (ему было одиннадцать, а мне и того меньше — девять) очутились одни в большом мире, точно в открытом море. Нас понесло по волнам жизни, как несет на обломках судна людей, потерпевших кораблекрушение: Лозовая, Харьков, Прилуки, Киев, опять Юзовка. Нашим домом стали крыши товарных вагонов да пустые чердаки, обжитые ворами и всякой людской нищетой. В поисках пропитания мы бродили по базарам с деревянными ложками и горькой песенкой «А я, мальчик, на чужбине позабыт от людей...».

Летом 1920 года открылся новый фронт: Врангель начал наступление из Крыма. К разрухе и голоду, охватившим страну, присоединились зверства белогвардейцев. Им не было дела до бездомных ребятишек, брошенных на произвол судьбы. Страшно вспомнить, сколько в те годы погибло детворы от голода, от болезней и белогвардейских пуль.

Боль сиротства меня поразила настолько, такой неизгладимый след оставила в душе, что с той поры не давало покоя желание рассказать людям обо всем, что довелось видеть и пережить.

КАЛУГА

Поистине удивительно, каким образом брату Мите удалось найти нас в той тревожной и горестной сутолоке жизни. Но именно это обстоятельство спасло нас от верной гибели. Брат Ваня был определен в детскую коммуну, а я весной 1921 года оказался в Калуге, где жил мой дядя по отцу — Петр Николаевич Жариков. Он жил «в приймах» — вошел в семью жены. Брат Митя привез меня туда и оставил. Семья была суровая, религиозная, с твердыми хозяйскими устоями. Я был лишним ртом и с первого же дня понял, что должен платить за хлеб-соль. Дядя ничем не мог мне помочь — он сам был чужим в этой семье.

Я рос мальчиком робким: боялся собак и волков. А тут пришлось пасти коров в дремучем бору. Поднимался я до восхода солнца и гнал коров, ступая босыми ногами по холодной после ночи земле. Лес казался мне страшным, за каждым кустом чудился волк. Но когда я пригонял коров под высокие своды соснового бора, он окружал меня теплом, тишиной и птичьим пе-

нием. Так постепенно я полюбил дремучий русский бор с его нехоженными тропами, непролазными буреломами, с чистыми родниковыми озерами, с тихими полянами, усеянными цветами. Лес учил меня наблюдательности, кормил меня ягодами и орехами. К концу лета у меня были в бору свои грибные места, о которых никто не знал. Были свои «клады» — под вековыми деревьями я закапывал в коробках разноцветные стекляшки, которые выигрывал у ребят на своей улице. Потом эти клады дарил друзьям.

Зимой я ходил в школу, учился с жадностью, был принят сразу во второй класс, потому что умел читать и писать. В школе пристрастился к чтению — может быть, вспомнилась мамина любовь к книгам. Вместе с задачником и учебником географии носил под рубашкой за поясом приключенческие романы Майн Рида и Фенимора Купера. Позднее зачитывался повестями и рассказами Джека Лондона. Над судьбой Белого Клыка горько плакал. Книгу Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» я прочитал шесть раз и всякий раз не мог преодолеть слез — так мне было жалко старого доброго негра Тома, в его судьбе я угадывал свои беды, свои горести, связанные с необратимой утратой отца и матери.

В Калуге я нашел друзей, там вступил в пионеры. Свое пионерство вспоминаю с гордостью. Время тогда было боевое: только что ввели нэп, обострилась классовая борьба. Мы, юные пионеры-ленинцы, жили идеями мировой коммуны. Мы твердо знали: капитализму приходит конец и старый мир доживает свой век.

Без нашего участия не проходило ни одного коммунистического субботника. Мы помогали комсомольцам и коммунистам и сами мечтали стать бойцами-революционерами. Мы посылали сухари голодающим Поволжья, собирали пожертвования в пользу бастующих английских горняков, дежурили на калужском базаре возле нэпманских лавок, призывая покупателей бойкотировать их магазины, а идти только в комсомольский кооператив, где, к сожалению, кроме плакатов и одной единственной бочки с селедками, пока ничего не было. В то же самое время лавки нэпманов ломились от всякой снеди и всевозможных товаров. Но мы верили, что придет время, и наш бедный пока комсомольский кооператив разбогатеет, верили свято и злились

на частников, завидовали им и горячо агитировали — не покупать у нэпманов!

Теперь я понимаю, что это были первые уроки борьбы, делавшие нас взрослее и счастливее.

На всю жизнь запомнилось мне открытие памятника Ленину в Калуге. Прошло с тех пор более полувека, а день тот не исчезает из памяти, словно был вчера.

Я ходил в школу через весь город. И однажды в Гостиных рядах увидел отгороженный забором уголок, за которым стучали молотки. Прохожие заглядывали в щелки. Заглянул и я: там рабочие-каменщики высекали что-то зубилами из глыб серого мрамора. Скульптор подсказывал им, что и как надо делать, измерял складным деревянным аршином длину плит. Вскоре стало известно, что в городе откроют памятник вождю революции. С какой затаенной радостью переживали мы новость: пионеры-барабанщики первыми будут открывать памятник. Я был в отряде главным барабанщиком!

Торжество состоялось на Плацпарадной площади, переименованной впоследствии в Ленинский сквер. Люди, оркестры, красные флаги переполнили площадь. Больше сотни барабанов по условному знаку так дружно грянули, что заглушили духовые оркестры и крики «ура». Мы били упругими палочками по гулким барабанам, и наши сердца ликовали. Еще бы! Над площадью, словно живой, возвышался Ленин, а мы, юное поколение революции, давали ему присягу на верность.

КЕМ БЫТЬ?

Не окончив школу, я был вынужден уехать в Донбасс. Брат Ваня жил там, он был воспитанником ДРП¹ и работал на заводе учеником токаря.

Снова я оказался в родной сторонке. Вспомнились забытые места: степные балки и ставки, шахтные терриконы. На душе было грустно, а вместе с тем как-то радостно и торжественно. Я ходил по узким улочкам и снова узнавал кривые землянки, дышал родным воздухом, пахнущим заводским дымком, я вернулся в свое детство. Разница состояла лишь в том, что теперь уже приближалась юность.

¹ Дом рабочего подростка.

Меня тоже приняли в ДРП, и я стал учиться в заводской школе — тогда она называлась ФЗУ. Итак, первая мечта моей жизни осуществилась: я стал рабочим. Меня воспитывала рабочая семья, которая когда-то приютила моего отца. Всем, решительно всем, что я приобрел в жизни хорошего, я обязан этой рабочей семье, моим учителям-рабочим.

Через три года я окончил ФЗУ и стал токарем третьего разряда. Я очень гордился этим, хотя мечтал о дальнейшей учебе.

Наступило время первых пятилеток, время героическое и трудное. Все в стране было устремлено на индустриализацию. В селе тоже шла коренная перестройка жизни. Там разгоралась классовая борьба.

Однажды комсомольская ячейка нашего механического цеха приняла решение — мобилизовать нескольких рабочих парней и девушек на фронт культурной революции в деревне. Нужны были грамотные люди, и я оказался в числе мобилизованных.

В первое мгновение я разочаровался: быть сельским учителем — что здесь героического? Ведь мы все искали поистине трудных дел, рвались в бой, а тут... село. Я тогда не понимал важного значения этой мобилизации. Товарищи помогли мне понять, что воспитывать маленьких коммунистов — тоже борьба.

В течение трех месяцев мы учились в Мариуполе на педагогических курсах и затем с путевкой комсомола, с дешевыми фанерными баулами в руках разъехались по селам. Меня судьба забросила в Цареконстантиновский район Днепропетровской области, на хутор Весело-Ивановский. Веселого там было маловато, зато работы — невпроворот.

Мне пришлось быть не только учителем, но одновременно — контролером сберкассы, заведовать сельским клубом, писать селькорозские заметки в районную газету «Социалистична перемога». Я состоял также членом сельхозкоммуны «Червонный маяк», работал в комиссии по хлебозаготовкам.

Сейчас я с улыбкой вспоминаю свою «педагогическую» деятельность. Жизнь в селе была суровая, и приходилось прежде всего заниматься другими неотложными делами по налаживанию новой жизни. Поэтому занятия в школе проходили нерегулярно. К тому же не было тетрадей, учебников. Задачи приходи-

лось сочинять самому. Однажды я составил такую задачу, что и сам не мог ее решить. Объявил перемену, и, пока ученики бегали по коридорам, я в учительской ломал голову над решением проклятой задачи. Но прошло тридцать минут, ученики стучали мне в окно, что пора начинать урок, а я продолжал «трудиться». Выхода не было, войдя в класс, я бодро откашлялся и сказал ученикам: «Давайте, ребята, споем!» И мы не очень стройно затянули какую-то украинскую песенку.

Постепенно работа в школе налаживалась, привезли учебники, тетради. Мои ученики преуспевали, и никто из них так и не узнал, как поначалу их юный учитель попал в затруднительное положение.

Кроме школы и множества других серьезных обязанностей, мне пришлось руководить драмкружком при сельском клубе и самому быть «ведущим» артистом. Для игры на сцене не хватало людей, и я играл по три роли в одном спектакле, и в том числе женские. Порой нужно было переодеваться с такой быстротой, какой позавидовал бы фокусник.

Сценической деятельности я отдался всей душой.

По возвращении из села на родной завод я, к радости своей узнал, что при клубе открывается театральный рабфак. Я без колебаний поступил туда. Днем по-прежнему работал на заводе, а вечером учился. Окончив рабфак, я с товарищами уехал в Киев: мы уже числились студентами Музтеатрального института имени Лысенко.

Удивительно сходятся порой жизненные пути! Институт в Киеве помещался на Крещатике, его окна выходили на Бессарабку, тот самый рынок, где я в детстве пел сиротские песенки под горький перестук деревянных ложек.

Но теперь я был юношей, казалось, нашедшим свою дорогу в жизни, был студентом театрального института. К сожалению, никому из нас не удалось окончить его. Время было трудное. В стране только что прошла коллективизация. Ожесточенный саботаж кулаков вызвал повсеместно жестокий голод.

Стипендию в институте задерживали, и мы, рабфаковцы, вместо того, чтобы посещать лекции, бродили по городу в поисках пропитания и заработка.

По вечерам мы работали в Театре имени Франко,

участвуя в спектаклях статистами или получая маленькие роли.

У нас была возможность сниматься на Киевской киностудии. С удовольствием вспоминаю наше участие в съемках фильма Довженко «Иван». Александр Петрович в ту пору был молодым, одевался чуточку франтовато и вместе с тем просто. Мы чувствовали силу его таланта и часто спешили на студию не ради заработка, а чтобы поучиться у этого большого художника.

Словом, нам, «актерам», учиться было трудно. Страна жила героикой строительства: вступали в строй Днепрогас и тысячи крупнейших заводов, шахт. И мы уехали в родной Донбасс.

У меня не было ни обиды, ни разочарования, потому что я находился в поисках и не знал еще, какой путь избрать в своей жизни. В нашей семье вообще был интерес к искусствам. Старший брат хорошо пел, сочинял частушки. Средний руководил ТРАМом — театром рабочей молодежи. Может быть, и я искал свой способ выразить чувства, рассказать людям о том, что волновало меня.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТЫ

Не могу сказать, в этих ли поисках зародился у меня интерес к литературе. Возвращаясь мыслью к далекому прошлому, я припоминаю, что в детстве был редактором пионерской стенгазеты и сам сочинял половину заметок, сам придумывал и раскрашивал заголовки, сочинял тексты под каррикатуры. Особенно нравился мне отдел «Что кому снится?» — тут я давал волю своим сатирическим способностям. Впоследствии я был селькором, потом рабкором. Но я не вывожу из этого своей писательской биографии. Ведь в те годы нельзя было не писать в газету, и писали буквально все. Если редактор поймает где-нибудь в коридоре и скажет: «Садись пиши заметку», — значит, надо. Не напишешь — получишь выговор за пассивность.

Под влиянием ли книг, которые я очень любил и много читал, или по «зову сердца» я тайком от друзей пописывал стихи и заносил их в тетрадку. Конечно же, никто не знал об этих моих забавах.

Помню комический случай, связанный с этой тетрадкой. Долго я мучился своей тайной и, наконец, ре-

шил посвятить в нее близкого друга. Сначала я колебался, но потом не выдержал и показал. Друг взял тетрадку, почитал ее, повертел в руках и вернул со словами: «Хорошая тетрадь, рубля три стоит».

Эта честная и бесхитростная оценка моего сочинительства отрезвила меня. И хотя я не прекратил своей «тайной» деятельности по сочинению стихов, но относился к ней самокритично и строго.

Все же это были забавы, и не более.

АРМИЯ

Первым сознательным шагом в моих литературных попытках был случай с пьесой.

Я был призван на военную службу в погранвойска Средней Азии. Однажды во время боевой операции в песках Каракумов был убит в перестрелке наш командир. Хоронили его в городском сквере. Для боевого салюта было выделено наше отделение пограничников. Мы трижды дали залп из десяти винтовок, и этот скромный солдатский салют отдался болью в моей душе. Я не знал, как выразить свои чувства, и написал стихотворение «На смерть командира». Стихи были напечатаны в многотиражке, которая печаталась на стеклографе прописным шрифтом от руки.

На другой день меня вызвал руководитель агитбригады. Он был доволен, что появился свой «поэт». Меня взяли в агитбригаду, где я стал играть... в оркестре на балалайке.

Не знал я тогда, что это была уловка и что начальник агитбригады имел меня в виду как «драматурга». Просто у него не было такой вакансии, и он зачислил меня в оркестр. Словом, начальник вызвал меня однажды и сказал, что нужно написать для сцены историю, из нашей жизни.

— Ты комсомолец? Значит, садись и пиши.

— Но я не умею.

— Ерунда. Не боги горшки лепят... Что же мне, Погодина из Москвы выписывать, что ли?

Приказ есть приказ. Меня освободили от военных занятий, предоставили в мое распоряжение архив.

Я воспринял это задание как долг и как первый экзамен судьбы. В самом деле, ведь я не имел ни опыта, ни специального образования. С чувством страха при-

ступил я к работе, и через две недели «Литературный монтаж для сцены» был готов. Честно говоря, я и сам был удивлен этим, и мой «успех» можно было объяснить только доверием. Начальник агитбригады был хитер и знал, как окрыляет человека доверие, сколько оно придает ему сил.

Произведение мое было прочитано, одобрено и... сдано в тот самый архив, из недр которого родилось.

Скоро я забыл об этих тревожнениях и о своем «детстве драматургии». А потом и вовсе был демобилизован из рядов РККА по состоянию здоровья.

Помню, когда я ехал в госпиталь, у меня в поезде украли сапоги. Вместе с сапогами исчезла тетрадка стихов. С лирикой было покончено. Суровая проза жизни требовала более ответственного подхода к житейским делам.

Я уехал в Донбасс и поступил на работу, когда через год неожиданно получил увесистый пакет вместе с денежным переводом. В пакете лежала Почетная грамота, выданная на имя «красноармейца Жарикова». Не веря собственным глазам, я узнал, что мне присуждена первая премия «за литомонтаж» — так и было написано — «литомонтаж». Оказалось, что мое сочинение было исполнено на сцене в дни смотра художественной самодеятельности.

Не скромности ради, а по существу должен признаться, что то мое сочинение было, безусловно, слабым. Жюри смотра, по-видимому, решило поощрить «талант из низов» и сознательно переоценило мои способности. Эти добрые люди, безусловно, не предполагали, что их скромная похвала в адрес юноши-красноармейца будет иметь для него огромное значение.

Мне вспоминаются мудрые слова, принадлежащие М. Шагинян, слова о том, как важно вовремя ободрить неопытного пловца, попавшего в беду, надо крикнуть ему: «Доплывешь!» — и он сверх всяких сил, на удивление самому себе, доплывет.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ...

В дни юности литература казалась мне прекрасным храмом, а писатели — волшебниками. Как иначе было объяснить то чудо, когда под пером писателя на чис-

том листе бумаги вдруг появляются люди, до того никогда не существовавшие, начинают ходить, разговаривать, ссориться? А ты, читатель, тоже начинаешь волноваться за судьбы этих выдуманных людей, следить за их поступками.

Словом, такие рассуждения наталкивали на вывод, что быть писателем не каждому дано, что писателем надо родиться и, уж во всяком случае, отдать этому делу всю жизнь без остатка. Высокое звание писателя казалось мне недостижимым.

Конечно же, в этих суждениях был излишек юношеского пыла. Но я должен признаться, что в своей основе такое отношение к литературному творчеству осталось у меня и поныне.

В годы мечтаний о литературном труде я примерно знал, какие трудности ожидают человека, который решил посвятить себя литературному творчеству. С кем бы я ни говорил тогда о труде писателя, какие бы книги ни читал, я всюду находил подтверждение подвижнического характера творческого труда.

Талант, нужно иметь талант... Не знаю почему, но я тогда не думал об этом, а больше об ответственности, которую принимает на себя тот, кто решил посвятить свою жизнь творчеству. В самом деле, как это серьезно, и трудно, и даже немного страшно думать, что твои произведения будут выставлены на всеобщий суд. Каждое слово, каждая фраза предстанет перед читателем...

О чем же писать, если у самого знаний «с гулькин нос»? Конечно же, надо учиться. Писателя определяет широта кругозора и образованность. Чтобы служить обществу, надо овладеть всеми вершинами человеческих знаний. Чтобы учить, надо самому глубоко знать жизнь.

В общем, я тогда правильно понял свою задачу — надо учиться.

Теперь я с улыбкой вспоминаю о тех первых шагах учебы. Она была безалаберной и бестолковой, хотя я работал буквально по восемнадцати часов в сутки. Что поделать, у меня не было в жизни советчика, я не знал ни одного писателя, который мог бы мне подсказать, и я учился стихийно.

Жадно читал я книги по философии и ботанике, изучал поэзию и астрономию, бросался изучать труды

по геологии и постоянно носил с собой романы и повести классиков. Я собирал книги натуралистов, где описывалась жизнь зверей, птиц и насекомых. Меня интересовали труды археологов, где рассказывалось о раскопках древних курганов и легендах ушедших веков. Я учился так, будто пробирался сквозь непролазные дебри, затрачивая огромные усилия на решение давно решенных вопросов, на открытие давно открытого. Ведь писатель, думал я, должен знать решительно все. Я забывал о простой истине, что нельзя объять необъятное и что стараться быть везде сильным — значит быть везде слабым.

В рабочем общежитии над кроватью я повесил на гвоздь избранный мною девиз:

Кто жизнь не поставит,
как ставку в бою,
Навеки упустит
тот жизнь свою.
Ф. Шиллер

Товарищи по общежитию посмеивались надо мной и вешали на гвоздь кепки, закрывая изречение. Мне было обидно, вместе с тем я испытывал чувство зависти, когда товарищи после работы уходили играть в волейбол или гулять в городской сад. Но меня ждали «великие дела», и я спешил в библиотеку, где уединялся с книгой. Так повторялось изо дня в день.

Однажды мне попало письмо академика Павлова к советской молодежи. Оно покорило меня своей мудростью, и я заучил его на память, как стихи, чтобы никогда не забывать:

«...Прежде всего — последовательность... С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в накоплении знаний. Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего.

Никогда не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими переливами мыльный пузырь — он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у вас не останется...

Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. Как бы высоко ни оценива-

ли вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда.

Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за нее вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за нее вы утратите меру объективности...

Третье — это страсть. Помните, что наука требует от человека всей жизни... Будьте страстны в вашей работе и во всех исканиях... Молодым много дается, с них много спросится...»

Письмо академика помогло мне осознать мое заблуждение. Я понял, что тратил много времени впустую, что стихия самообразования захлестнула меня.

С той поры я сосредоточил внимание только на литературной учебе.

Я развил «бурную деятельность» по сочинению стихов и посылал их в литературные консультации, чтобы получать отзывы и учиться на замечаниях и подсказках.

Одновременно я работал в местной вечерней газете внештатным репортером: писал заметки и фельетоны о том, что в городском парке лодки превратились в «подводные» и на них нельзя кататься, что уличные часы всюду показывают разное время, а в городской бильярдной грязно, как в кабачке. Сотрудник отдела информации Мельнупе принимал от меня заметки и давал новые задания. Этому журналисту я до сих пор признателен за первые серьезные навыки газетной работы.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Много раз мне приходилось слышать, что наблюдательность есть главная черта таланта. А тут попалась статья о писательском труде, в ней упоминались записные книжки А. П. Чехова. Я взял в библиотеке томик его сочинений и стал читать записки и заметки.

Я уж не говорю о том, что меня невозможно было оторвать от чтения — с такой жадностью набросился я на записные книжки великого писателя. Я понял, что наблюдательность не просто важная черта таланта, она источник творчества.

Очень хорошо сказал знаменитый таежный следо-

пыт Дерсу Узала из книги писателя-путешественника В. В. Арсеньева: «Глаза у тебя есть, а посмотри — нету». Искусный следопыт адресовал свои слова охотникам, но их можно отнести и к писателям. Нужно уметь видеть то, что не видят другие.

Не откладывая дела в долгий ящик, я решил развивать в себе наблюдательность, сшил записную книжку и дал себе задачу: за день заполнить ее всю.

Зачинив несколько карандашей, я отправился на улицу «наблюдать жизнь». Сколько я ни глазел по сторонам, не видел ничего такого, что было бы достойно записи. Вокруг меня шла обыкновенная жизнь, настолько обыкновенная, что становилось скучно. По небу плыли редкие облака — что же в этом необычного? На углу улицы сидела торговка семечками — что здесь интересного? Я столкнулся с первой трудностью, и она готова была привести к разочарованию. Значит, у меня нет таланта. Впрочем, может быть, сама жизнь малоинтересна? Может быть, нужно куда-то поехать за интересными наблюдениями?

Со скучающим видом я снова поглядел на торговку, подошел поближе и стал наблюдать, как она торгует. Высыпая стакан семечек в карман покупателю, старушка ласково приговаривала: «Лускай, родненький, грызи, ягодка». А потом долго и хмуро пересчитывала корявым пальцем медяки на ладони — не надул ли ее покупатель. Приоткрылся характер старушки. По ее вкрадчивому певучему голосу можно было подумать, что она доверчива и добра. Но это была маскировка. Старуха оказалась скупой и недоверчивой. Стоп! Такое надо записать.

И в записной книжке появилась первая зарисовка. Я ободрился и уже с большим интересом принялся искать, что еще занести в свою заветную книжечку.

Я вышел на окраину города. Передо мной открылась степь и облака, плывущие по небу. Тени от них падали на землю и тоже плыли через балки, степные курганы, через дороги, уходящие к дальним рудникам. На берегу речки Кальмиус стояла заброшенная водопроводная будка, или, как мы ее называли, бассейн. Когда-то в будке жила сторожиха. С утра у бассейна выстраивалась очередь женщин и детей с ведрами на коромыслах. Каждый, кому приходила очередь набирать воду, оставлял ведра под краном, а сам спешил

в будку. качать насос. Когда ведра наполнялись, ему кричали: «Довольно-о-о!»

В детстве мы, ребяташки, любили качать воду для всех людей. Бывало, так разгонишь колесо насоса, что только подставляй ведра. И на горку от бассейна шли друг за другом люди с ведрами на коромыслах, и на всем пути от бассейна до калиток — дорожки от мокрых капель...

Стоит это записать? Пожалуй.

Я отправился на городской базар. Там глаза мои разбежались от обилия всяких интересностей. Странно, но еще вчера я ни на что это не обращал внимания. А теперь...

Вот какой-то бойкий маленький старичок в стоптанных сапогах продает камешки для зажигалок и кричит на весь базар:

— Ам-мериканские камушки для зажигалок. Как чиркнешь, так Америку увидишь!

Тут же, неподалеку, шел мирный разговор двух друзей. Один из них развел руками и сказал:

— Ноги отрезали — и будь здоров!..

В этот же день я вычитал в газете смешную фразу: «Бригада из одиннадцати человек работала за троих».

Можно сказать с уверенностью, что, если бы я не настроил себя на особое внимание, я бы не заметил этой газетной ошибки, вернее, смешного ее подтекста.

После того как я подслушал в аптеке еще более смешную фразу: «Дайте мне порошков от нервной почвы», — и того, что придумал сам: «Зубной рвач», — мне стало весело, и я почувствовал вкус к наблюдательности. Теперь уж как-то само собой складывалось, что я замечал: у кого-то папироска торчит за ухом; обращал внимание, кто как идет, ест, смеется. Словом, жизнь, которая раньше казалась обыкновенной и скучной, выглядела теперь интересней, полной смешного, драматического. Жизнь оказывалась богаче мечты, и «изучение» ее пошло быстрее.

К вечеру записная книжка была заполнена. Туда вошло немало чепухи, но в целом я был доволен, и душа моя радовалась. Торжественно написал я на последнем листке: «Конец первой книжки!» — и помчался в канцелярский магазин за новой. На ее обложке вывел чернилами: «Запкнижка № 2» — и, подражая писателю Лаврухину, автору книги «По следам героя»,

приписал сбоку: «Нашедшего эту книжку прошу возвратить по адресу...» Я должен был сделать такое предупреждение, ибо отныне каждая записная книжка становилась для меня сокровищем.

С той поры я никогда не расставался с записной книжкой и, куда бы ни шел, всюду брал ее с собой, как друга и советчика.

Теперь, когда прошло много лет и тренировка наблюдательности стала потребностью, могу сказать, что первое и основное в ремесле писателя — развивать наблюдательность. Именно с этого начинается творчество: с наблюдательности и размышлений.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Летом 1935 года я поехал отдыхать в плавучий санаторий на Днепре.

Однажды там был объявлен вечер самодеятельности, и я, сам не зная почему, вызвался прочитать свой рассказ.

Вся мера ответственности дошла до меня лишь тогда, когда организатор вечера включил меня в программу и объявил об этом. Но рассказа не было. До начала вечера оставалось три часа. Я помчался в лес, улегся под сосной и огрызком карандаша стал лихорадочно писать рассказ. Я настолько ушел в работу, что когда закончил рассказ и поднялся, тогда лишь почувствовал, что весь искусан муравьями — оказалось, я лежал на муравейнике.

Рассказ я прочитал глухим от волнения голосом и, точно сквозь сон, услышал аплодисменты. До чего бывает великодушным зритель! Ведь тогда ни они, ни сам автор ничего не поняли из рассказа.

Я извлек из этого лишь пользу, стал серьезнее и вдумчивее относиться к творчеству, постепенно осознавая его исключительную ответственность.

По-настоящему первый рассказ я написал весной 1936 года. Назывался он «Песня о сыне».

В те годы в Донбассе работала довольно сильная группа писателей: Петр Северов, Павел Беспощадный, Юрий Черкасский, Петр Чебакин, Александр Фарбер.

Я жадно следил за творчеством донецких писателей. На литературных вечерах забивался куда-нибудь в дальний угол зрительного зала и думал с замираю-

щим сердцем: вот они, живые писатели! Сорок лет отделяют события тех дней, но я до сих пор как бы снова слышу застенчивый голос «усатого» поэта Павла Беспощадного:

В тех краях я летал коногоном,
Там мои побратимы-друзья,
И на ржавом подземном вагоне
Напечатана песня моя...

Долго не решался отдать свой рассказ в редакцию. Наконец отнес и стал ждать ответа, точно приговора.

К радости, рассказ взяли, и он был напечатан в журнале «Литературный Донбасс». Опубликовали его под скромной рубрикой «Трибуна начинающего», но это было большим событием в моей жизни. Я вспомнил о первом совете академика Павлова — быть последовательным в накоплении знаний — и задумал поступить в Литературный институт имени Горького.

Я собрал все свои стихи, взял зачитанный самим собой до дыр номер журнала с моим рассказом и поехал в Москву.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

Не могу без волнения вспоминать о годах литературной юности, когда после огромных усилий мне удалось поступить на первый курс института. Правда, сначала меня зачислили на отделение поэзии, так как решили, что стихи более определенно указывают на мои «таланты», чем проза. Но я уже считал себя прозаиком и надоедал директору просьбами перевести меня на семинар, где занимались прозаики.

Литинститут... Можно с уверенностью сказать, что у доброй половины советских писателей это слово вызывает в душе много теплых воспоминаний — ведь большинство нас вышло из его стен.

У меня лично с институтом связано все: и рождение «Повести о суровом друге», и мое становление как литератора. Это был крутой поворот в судьбе.

Литературный институт стал для меня в полном смысле родным домом. В ту пору институт находился в стадии организации и не имел ни стипендий, ни общежития. Лекции заканчивались поздно вечером. Студенты-москвичи расходились по домам, а мы с поэтом

Сергеем Смирновым отправлялись к директору за разрешением переночевать в стенах института.

Если директор бывал в хорошем настроении, он уступал нам свой кабинет. Сергей Смирнов усаживался за начальственный стол и сочинял стихи, а я устраивался с книгой на клеенчатом диване и, укрыв озябшие ноги пиджаком, читал:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пилеева сына...

Все, что я узнавал в институте, было для меня ново, мудро. В институте я познакомился с бессмертными творениями классиков, открыл для себя родниковую чистоту и аромат тургеневской прозы. Там я разгадал единственную «тайну» творчества, которая заключалась в бесконечном, неустанном труде, в вечной душевной неудовлетворенности.

Свои произведения мы писали на тех же залитых чернилами щербатых столах, за которыми слушали лекции. Но вот Союз писателей предоставил студентам загородное общежитие. Это была бывшая баня, одноэтажный деревянный домик в Переделкине. Жизнь пошла веселее.

Четверо студентов, первые жители этого «литературного ковчега», переселились туда со всем своим «движимым и недвижимым имуществом». Домик стоял в лесной глуши, в стороне от дорог, так что проходящий мимо лось мог заглянуть к нам в окно. Скоро мы полюбили нашу «Авсмижабу»¹ и воспели ее в шуточных «гимнах» и «эпитафиях»:

Когда умрем — завоют звери
И дворник скажет: «Вот те на...»
И мелом на парадной двери
Напишет наши имена.

Жизнь в институте бурлила. В коридорах спорили о литературе, «свергали» авторитеты. Часто приходили к нам большие мастера литературы, и тогда мы затихали, точно школьники, и слушали. Помню одну такую встречу с Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем. Он начал свою беседу словами: «Писателем может быть каждый, у кого на плечах голова, а не астраханский арбуз».

¹ АВ-деев, СМИ-рнов, ЖА-риков, БА-уков.

В институте бывали и другие писатели. Помню встречи с Бабелем, Фединым, Паустовским, Павленко, Алексеем Толстым. Мастера литературы делились с нами своим творческим опытом.

«ПОВЕСТЬ О СУРОВОМ ДРУГЕ»

В институте были творческие семинары. Каждый студент обязан был представить на обсуждение рассказ или главы повести. Я задумался: что написать?

Меня волновали впечатления детства. Не забывалось прожитое и пережитое. Неотступно стояли перед глазами картины ребячьих забав, маленьких трагедий и детских игр. Помнились уличные «сражения», которые часто происходили в старой Юзовке. В этих баталиях было немало комического, озорного, а подчас и героического.

Я решил написать об этом, тем более что мне хотелось «посмешить» своих товарищей.

В самом деле, «битвы» происходили забавные. Старшие ребята посылали нас, малышей, к позициям «неприятеля» задираться. Наша задача состояла в том, чтобы подойти поближе и выкрикивать оскорбления. «Противник» не выдерживал и тоже посылал против нас своих малышей. Мы отступали, зная, что позади спрятались в засаде наши старшие товарищи. Они встречали «врага» ударами с флангов. «Неприятель» посылал подкрепления, и завязывалась баталия.

Противник наступал с горы — там была «буржуйская» часть города. А окраинные улицы, густо населенные рабочим людом, спускались к речке Кальмиус. По ее берегам проходили наши «пролетарские» позиции.

Свой рассказ я назвал с оттенком иронии и шуток — «Битва на реке Кальмиус».

С этого рассказа, ставшего впоследствии главой повести, все и началось. Но об этом я расскажу дальше. А сейчас расскажу о главном, о героях повести, расскажу, откуда они явились и кто из них «списан» с натуры, а кто «выдуман».

Скажу прямо — герои пришли в повесть из жизни.

Сначала явился Ленька Устинов, от имени которого ведется повествование. В этом образе «спрятался» сам автор. Но, по всей вероятности, читатели не запо-

дозрели бы этого, если бы не совпало имя героя с именем автора.

Откуда взялся Вася Руднев, первый друг и учитель, защитник и опора Леньки Устинова? Этот образ родился из мечты. Дело в том, что я всю жизнь искал дружбы преданной, бескорыстной, дружбы до последнего дыхания, она жила в моих мечтах. Я рисовал себе друга отважным и справедливым, упрямым и смелым, не отступающим ни перед какими трудностями. Таким вот и родился Вася Руднев, суровый и нежный покровитель маленького Леньки.

Многие читатели в письмах упрекают автора: зачем он «убил» своего героя? Почему так печально окончилась повесть?

Мне и самому было очень жаль моего Ваську. Я «пожертвовал» своим любимым героем ради одной, как мне кажется, очень важной мысли. Я объясню ее.

Из всех добрых человеческих черт меня всегда привлекала в людях черта жертвенности. Достойны уважения те, кто думает не о себе, а о народе. Сама пролетарская революция — яркий пример массового героизма, когда простые, безымянные герои смело шли навстречу смерти лишь для того, чтобы лучше жилось людям будущего. Вот мысль, которая натолкнула меня на образ Васи Руднева, и это определило его характер и его судьбу. Ведь он умер за народ, за счастье будущих поколений, и поэтому гибель его не звучит печально, а скорее призывно.

Сейчас мне самому любопытно вспомнить о том, что вначале я даже не представлял себе этого мальчика, не знал еще, каким он будет, но уже знал, что он должен погибнуть, выполняя боевой приказ.

По мере работы над повестью этот образ постепенно оживал, радуя меня. Васька — атаман шахтерской детворы, храбрый полководец маленьких пролетариев — стал песней моего сердца, ожившей мечтой всей моей жизни. Он будто приснился мне, бесстрашный и стойкий, решительный и смекалистый, непримиримый к врагам и заботливый к своим маленьким помощникам.

В повесть мне хотелось ввести и комический образ. И появился одноногий гречонок Уча. Этот образ «сшит из лоскутов».

Помню, у нас в городе на Пятнадцатой линии жил

мальчик по имени Уча. Отец его был чистильщиком сапог. Уча, маленький ростом, черноглазый мальчишка с огромным носом, любил подшучивать над собой. Однажды Уча остановил посреди дороги извозчика, взялся рукой за свой длинный нос, отвернул его в сторону и сказал: «Проезжай!» Этой шуткой Уча вызвал дружный смех, и его стали уважать еще больше.

В то же самое время почти по соседству с Учей жил другой мальчик, инвалид Коля Бойченко. Он отчаянно играл в футбол, прыгая по полю на костыле. Никто не мог отнять у него мяч. Он имел право бить по мячу костылем и пользовался этим правом великолепно: подгонит мяч к воротам и так хватит по нему костылем, что ни одному вратарю не удержать! Толкнуть Кольку, а тем более подставить ножку считалось позором. И ребятам ничего не оставалось, как терпеть напористый Колькин характер.

Так из двух характеров сложился образ гречонка Учи, у которого нет ноги, но зато есть веселый и отчаянный нрав.

Мои товарищи по перу, писатели, знают, как порой неожиданно и даже смешно «появляются» герои. У меня в записной книжке была фраза: «Умел шевелить ушами и этим вызывал к себе уважение». Из этой записи родился целый образ. Я почему-то представил себе, что такой мальчишка должен быть глуповатым, а может быть, и хитрым. Собственно говоря, рыжий Илюха таким и вышел — хитрым и трусливым. Ему не чуждо и хвастовство — ведь эти черты сродни одна другой. Илюха не враг, он из такой же небогатой семьи, как и другие, но его хлебом не корми, а дай посплетничать, выведать чью-то тайну, а потом издеваться над своим же товарищем. Откуда это у Илюхи?

У нас на улице жил старик, он работал банщиком, любил чаевые, и поэтому характер у него выработался раболопский и жадный. Я решил избрать этого старика в папаши моему Илюхе. Сыночек пошел в отца.

Для того чтобы подчеркнуть, что Илюха все же был бедным, я придумал ему такую деталь: штаны у Илюхи сшиты из мешка с клеймом «пшено». Эта деталь оказалась счастливой: я сам слышал, какой оглушительный смех раздается в зрительном зале, когда на сцену Московского областного ТЮЗа выходит артист, играющий Илюху, и у него на штанах видна надпись

«пшено». Режиссер В. С. Фридман талантливо использовала эту простую авторскую деталь.

Не менее неожиданно появилась в повести Тонька. Ее образ родился из... объявления. Однажды мне попался старинный журнал «Нива». На его обложке я нашел забавное объявление. В нем говорилось, что за небольшую плату желающий может приобрести руководство для «сочинения любовных писем». Книга может научить «побеждать непокорное сердце», может посоветовать, как «влюбить в себя красивую и богатую вдову». Объявление показалось мне до такой степени комичным, что мелькнула озорная мысль: что, если мальчишка Ленька прочтет такое объявление?..

Так появилась героиня повести, которую Ленька решает украсть, чтобы поселиться с нею в шалаше на берегу речки Кальмиус.

Я пишу о героях повести «родился», «появилась», как будто ничего нет проще — взять и придумать человека. Но это очень трудно дается. Ведь художественный образ всегда собирательный, он складывается из многих подобных черт разных людей. Прошло немало времени, прежде чем мои «выдуманные» герои показались мне живыми и я сам поверил в них так, как если бы знал их в жизни.

Л. Н. Толстой, рассказывая о том, как родился образ Наташи Ростовой, писал: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа».

В этой полушутливой фразе великого художника заключен глубокий смысл. Не легко и не просто «взять и перетолочь»... Нередко бывает так, что с того момента, как герой задуман, и до того, когда художник увидит его живым, поверит в него, проходят годы напряженного труда.

Продолжу рассказ о том, как формировалась «Повесть о суровом друге».

Первым шагом была зарисовка ребячьей битвы на реке Кальмиус. Я назвал ее рассказом.

Затем я написал второй рассказ и назвал его «Октябрь». Он тоже родился «нечаянно», без всякой связи с первым. Его содержание было навеяно личным горем, пережитым мною в детстве, — смертью отца и матери.

Каледины сжигают в коксовой печи отца Леньки Устинова, расстреливают мать. Все это происходит в

один день. Безногий сапожник Анисим Иванович, отец Васи Руднева, берет сироту к себе в дом. Почти так было со мною. Рассказ явился как бы потребностью души, желанием высказать боль. Я лишь в одном «согрешил»: перенес события двадцатого года в семнадцатый. Родители Леньки Устинова погибли — это было типично для того времени.

Само собою вышло так, что в обоих рассказах действовали одни и те же герои — Васька и Ленька. Этих выдуманных мальчишек я успел полюбить, и мне хотелось продолжать описывать их жизнь.

Я принялся за третий рассказ, тоже без всякой связи с предыдущими. Он был посвящен историческому событию — немецкой оккупации Украины в 1918 году. Почему именно об этом я решил написать? Время было тревожное, в 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер. Еще раньше в Италии появился «дуче Муссолини» — фашизм рвался к власти. Рассказ был злободневным.

Здесь, кроме Васьки и Леньки, появился новый герой — Илюха. Этот сразу заявил о себе тем, что переметнулся на сторону оккупантов и даже придумал себе новое имя — Фриц Адольфович и говорил «мы германцы». Ребята прозвали его за это Мокрицей.

Три рассказа составили единый узел событий, где все было освещено с одной точки: читатель как бы видел эти события глазами мальчика Леньки.

Само собою складывалось так, что в рассказах находили отражение революционные события, и они определяли характеры моих героев.

Я впервые подумал о повести. Меня смущало лишь то, что в повести главы должны быть связаны между собой единым сюжетом, а у меня были написаны рассказы, и каждый был закончен и существовал сам по себе. Впрочем, если герои одни и те же, то почему бы не свести их действия к единой цели?

Так я и поступил. Мне тем более было радостно, что герои оживали и уже сами подсказывали автору свои действия.

Образ Васьки «требовал» подвига, и у меня начал складываться еще один, четвертый по счету, рассказ «Последняя ночь». Васька должен пронести через фронт донесение, но он гибнет от пули деникинца. Васька умирает на руках своего маленького друга

Леньки. Юный герой встречает смерть со всей силой упрямого характера.

Мне было горько расставаться со своим героем, и я не мог писать о последних минутах его жизни без волнения.

Рассказ «Последняя ночь» как бы заключал все предшествующие события. Если я хотел, чтобы получилась повесть, то должен был найти начало. Так возник замысел пятого рассказа — «Царь». Почему я решил писать о царе? Потому что надо было раскрыть, откуда появилась у моего героя ненависть к самодержавию, почему он всей душой был за рабочих.

И появился пятый рассказ — «Царь» — начало будущей повести.

Однако стоило мне собрать воедино все рассказы, как оказалось, что цельного сюжета нет и нет главной, все объединяющей мысли.

Сказывались недостаток в материалах, ограниченность моих знаний. Я отправился в архив Октябрьской революции и, засучив рукава, принялся за работу. Я читал газеты и журналы того времени, изучал исторические документы, рассматривал плакаты, выпущенные белогвардейскими штабами, читал «Окна РОСТА». Мне удалось найти живых свидетелей Октябрьских боев, и я записал их воспоминания.

Замысел повести прояснялся: должна быть книга об Октябрьской революции, о защите ее завоеваний от иностранной интервенции и множества внутренних врагов.

Я задумал шестой, последний по счету рассказ и назвал его «Любовь». В нем нашли отражение события, связанные с белобандитизмом на Украине. Когда этот рассказ был написан, повесть приобрела более или менее законченную форму. Что и говорить, для меня это была большая победа.

Я задумался: как назвать повесть? Мне нравились заглавия старинных русских повестей: «Слово о полку Игореве», «Повесть о Фроле Скобееве». И я решил назвать ее — «Повесть о суровом друге».

Почему суровом? Ведь герой не был таким, его маленькое отважное сердце переполняла любовь к людям, к рабочим-пролетариям, ко всем тем, кого угнетали богачи, управлявшие Россией. Почему все же я назвал книгу «Повестью о суровом друге»? Потому, что

жизнь шахтера до революции была каторжной, она отложила на лицах рабочих отпечаток нелюдимости. Если к этому добавить, что в Донбассе и климат неласковый и воздух насыщен серным дымом и угольной пылью, то все вместе и создает характер суровости. Меня давно преследовал образ именно такого человека — внешне молчаливого и угрюмого, но в душе внимательного и доброго к людям.

Эти черты воплотил в себе Вася Руднев, суровый и нежный друг Ленки.

Так родилась первая редакция «Повести о суровом друге».

Рукопись состояла из разрозненных листов, вырванных из бухгалтерских книг, из ученических тетрадок и блокнотов, исписанных красными, зелеными чернилами, карандашом и снова чернилами. Словом, она соответствовала тем условиям, в которых создавалась.

Но вот директор Литинститута А. Л. Жучков узнал, что один из студентов-первокурсников написал повесть. По принципу «подать сюда Тяпкина-Ляпкина» он вызвал меня в кабинет.

— Что ты там написал?

— Ничего... — ответил я, не зная, пугаться мне или радоваться.

— Где повесть?

— На вешалке...

— Неси сюда!

Повесть была перепечатана на машинке и послана на отзыв самому Фадееву. Александр Александрович был в то время одним из руководителей Союза писателей.

Не помню уже, сколько прошло времени, но вот писатель Фадеев явился в институт на общее собрание студентов-прозаиков.

Он прилюдно разобрал мое произведение, отметил удачные и не вполне удачные стороны повести и, в общем, оценил ее положительно. Фадеев подробно говорил о языке. Он взял из рукописи один абзац и выправил его — один-единственный абзац! Но как много объяснил мне этот пример большого художника!

У меня абзац выглядел так:

«Возле шарманщика стоял городской в белом кителе, с облезлой черной шашкой. Оранжевый шнурок, привязанный к револьверу, обвивал его шею. Горо-

вой ел кавун. К его усам и бороде прилипли черные косточки».

В редакции Фадеева абзац читался иначе:

«Возле шарманщика стоял городской в белом кителе, с облезлой черной шашкой, свисающей до земли. Оранжевый шнурок от револьвера обвивал его шею. В расставленных руках городской держал по куску кавуна и, вытянув шею, чтобы не закапать китель, хлюпая, грыз то один, то другой кусок. Сусову него текло, к бороде прилипли черные косточки».

С той поры, сколько бы я ни работал над повестью, перечеркивая целые страницы, дописывая новые, меняя сцены и диалоги, я оставляю в неприкосновенности этот «фадеевский» абзац. Он для меня не просто память о большом художнике, принявшем участие в моей творческой судьбе, но и пример того, как надо внимательно работать над словом.

В работе над повестью в общей сложности прошло около года. Рукопись попала к Всеволоду Вишневскому, главному редактору журнала «Знамя», и повесть была напечатана в десятой книжке этого журнала за 1938 год.

С волнением я стал ждать отзывов читателей. Но вот пришли первые письма, появились рецензии в газетах, повесть читали по радио.

Много радости доставляли мне весточки от неизвестных людей. Писали школьники, старые большевики, красноармейцы, рабочие. До сих пор я бережно храню эти пестрые и разноликие конверты и листки. Это были добрые и теплые слова поддержки и напутствия.

В следующем году «Повесть о суровом друге» вышла в «Роман-газете». Одновременно мы с редактором готовили отдельное издание.

Первый редактор — как первый учитель: его долго помнишь, испытывая чувство благодарности. Юрий Борисович Лукин был мне почти ровесником, но я относился к своему редактору с уважением, как к старшему. Он располагал к себе большим чувством такта, образованностью и спокойным характером.

Опытным взглядом он подмечал в рукописи недостатки, но никогда не исправлял их сам, он редактировал рукопись моей рукой, подсказывая, что и как надо исправить. Я вписывал или вычеркивал ту или иную сцену и показывал редактору. Он соглашался или да-

вал новые советы. В такой работе в повесть не вкрадывалась чужая интонация, как бывает всегда, если туда вписывают чужие слова. Язык повести не утратил своей индивидуальности, своего первоначального звучания и в то же самое время стал лучше.

Книга начала трудовую жизнь. На московских заводах шли обсуждения, в школах организовывались литературные конференции. Здесь я встречался лицом к лицу со своими читателями и слышал из их уст советы и подсказки.

Я мечтал о продолжении работы. Дело не в том, что я был недоволен повестью. Просто я знал, что можно сделать ее лучше, и видел, как это нужно делать.

В то время я задумал и начал работу над большим романом о гражданской войне. В архивах я наталкивался на документы и воспоминания, которые буквально «просились» в «Повесть о суровом друге». Это были воспоминания шахтеров Донбасса о революции.

Год от года накапливались у меня новые материалы о жизни дореволюционной Юзовки. Мне не терпелось взяться за работу над «Повестью» снова, но мои планы перечеркнула война. У всех жизнь изменилась. Началась работа оперативная, горячая, подчиненная дисциплине военного времени.

ДНИ ВОЙНЫ

Те тревожные годы у всех у нас в памяти, и еще долго будем мы писать о них, рассказывая юным поколениям о тех ужасах, что принесла война.

В конце 1941 года я написал небольшую повесть «Снега, поднимитесь метелью!». В ней я рассказал о героическом подвиге 28 панфиловцев, принявших во главе с политруком Клочковым неравный бой с фашистами. Это было на Волоколамском направлении, на разъезде Дубосеково.

Повесть была напечатана на родине панфиловцев, в Алма-Ате, а затем во Фрунзе. Теперь этого издания нет: весь его тираж был послан на фронт.

В последующие годы главным в моей работе были задания «Комсомольской правды», где я состоял в должности специального корреспондента. Позже — разъезды по стране спецкором «Последних известий» Всесоюзного радио.

Но самой волнующей была моя поездка в освобожденный Донбасс осенью 1943 года. Я ходил по дымящимся руинам родного города и не мог сдержать слез. Мне казалось, будто вместе с поверженными в прах улицами и разбитым заводом враги сожгли и разбили мое детство. В заводе были подорваны опорные колонны доменных печей. В механическом цехе, где когда-то я работал, стальные тавровые балки были скрючены силой взрыва и торчали из земли, точно изломанные руки, молящие о помощи.

Я написал несколько очерков о рабочих Донбасса, которые в труднейших условиях восстанавливали свой город, заводы и затопленные шахты. Героизм людей был сродни героизму тех, кто ушел на запад добивать врага.

Поездки в освобожденный Донбасс оставили глубокий след в моей душе. Очерки я печатал в газетах «Труд» и «Комсомольская правда», в «Литературной газете». Но главным своим заданием я считал книгу о беспримерной отваге партизан Донбасса. Им приходилось сражаться в условиях открытой степи, где невозможно укрыться и нужно было вести рейдовые бои. Я собирал материал для романа о партизанах, о беззаветной храбрости юных подпольщиков-комсомольцев. Мне приятно думать, что настанет время, когда я закончу эту работу и появится новая книга о героях Донбасса.

СНОВА ЗА ПОВЕСТЬ

Минуло четыре года войны, и прошло еще немало времени, прежде чем я получил возможность вернуться к «Повести о суровом друге» и завершить работу над нею.

Скажу еще раз, почему возникла такая необходимость. В первой редакции повесть являлась краткой историей о дружбе двух мальчиков. Это не была еще книга о судьбе народа, а мне хотелось сделать ее именно такой, придать эпический характер событиям, которые были в ней отражены. Мне хотелось раскрыть природу героизма, присущего поколению революции, показать, во имя чего люди шли на смерть.

Нет, не напрасно я в течение десяти лет собирал по деталям, по факту дополнительный материал. Новые на-

блюдения складывались в картины, и хотелось поскорее приняться за работу. Было радостно оттого, что мой любимый герой Васька снова ожил. Вожак шахтерской детворы как бы сам подсказывал автору: «Почему не покажешь, как мы свергали царя?»

И тотчас возникла комическая сцена. На городской площади рабочие «сбрасывали» царя: накинули ему на чугунную шею петлю и, ухватившись за свободный конец веревки, тянули изо всех сил. Конечно же, для мальчишек это развлечение. Они взобрались на чугунную голову, отломившуюся при падении, и танцевали на ней. Кончилась власть царя!

Для начала я написал одну главу «Конец империи» — о событиях Февральской революции.

Теперь я понял, что глава такая нужна, и она родилась. Она вклинилась в старый текст. Однако художественное произведение — живой организм, и нельзя просто так, механически вставлять туда сцены и детали. Вот почему новая глава «Конец империи» перестроила всю повесть и выдвинула новые вопросы. Царя свергли. А почему? Что явилось причиной всенародного гнева, снесшего царский трон, подобно весеннему половодью? Надо было раскрыть причины, которые вызвали революционный взрыв, показать горькую жизнь рабочего люда.

Осенью 1950 года я отложил в сторону все дела, засел за работу. Я уже видел книгу, о которой мечтал много лет.

За короткое время я написал три новые главы: «Бог», «Флаги над городом» и «Деникинцы». Они распределились в повести так: «Бог» — вторая, «Флаги над городом» — восьмая, «Деникинцы» — одиннадцатая.

В этой решающей переработке изменился сюжет, появились новые герои. В главе «Бог» возник атаман шахтерской ребятни, милый моему сердцу, грозный и лохматый лампонос Пашка Огонь. Он стал помощником главного героя повести Васьки Руднева.

Появились другие персонажи, которых раньше в повести не было: дед Карпо, дочь революционера Митяя Надя. Сиротка — комиссар по борьбе с контрреволюцией и он же — первый учитель открывшейся первой советской школы.

Дополнения, вошедшие в книгу, доставили мне мно-

го радости. Повесть стала полнее и, как мне казалось, глубже, интереснее.

Отдельные страницы приходилось переписывать десятки раз, и все-таки они не давались, я перечеркивал написанное и снова садился перед чистой страницей.

В этой тяжелой, а порой мучительной работе меня обрадовали три находки. Первая — родился сказочный образ бандуриста Бедняка, который не побоялся сказать царю Далдону, что он его повесил бы на трех дубах.

Вторая — обогатился образ матери Леньки. Для меня это было особенно важным, потому что, рано оставшись сиротой, я берег в сердце светлый образ своей матери. Раньше в повести не находилось места для такого рассказа: слишком тесно было от обилия важных революционных событий. И вдруг место нашлось. Мать вместе с Ленькой отправилась по селам менять вещи на хлеб. Тут и встретили они ночью в степи у костра слепого бандуриста, в котором Ленька «узнал» Бедняка из Васькиной сказки про царя Далдона.

Важным было появление в повести вождя революции Ленина. В этой главе рассказывается, что в канун предоктябрьских революционных битв Ленин приезжает в Россию. Он выдвигает знаменитые Апрельские тезисы — установка на вооруженное восстание против буржуазии, захватившей власть после свержения царя Николая Второго. «Революция не кончилась, она только начинается!» — в задумчивости повторяет дед Карпо вслед за рабочим-революционером Егором Устиновым.

Здесь я должен сознаться в одной своей слабости. Я люблю главу «Апрель» больше всех других. От нее пахнет украинской степью, дымом походного костра в ночи. Но главное в ней для меня — образ Ленина. В последнее время в нашей детской литературе образ вождя революции нередко рисуется однобоко — этаким добреньким дедушкой. А ведь Ленин был полководцем величайшей из революций! Спору нет, Ленин для всех нас — пример внимательности к людям и великой скромности в личной жизни, но, кроме того, он был бесстрашным бойцом за народное счастье. Именно эту сторону мне и хотелось подчеркнуть в главе «Апрель».

И по-видимому, не случайно в этой главе родилась сцена, где Васька и Ленька дают клятву друг другу

«бороться, как Ленин», и в доказательство Васька держит руку в пламени костра.

«Повесть о суровом друге» родилась заново, и уже трудно было определить, что в ней осталось от прежнего текста и что пришло нового — все переплелось и спаялось.

Я не жалею о том, что на завершение работы затратил втрое больше времени, чем на первоначальную редакцию повести.

После выхода книги из печати писем было еще больше.

На этот раз они шли не только от советских читателей, но и из других стран. Особенно волнующими были письма с далекого и героического острова Свободы — Кубы, где повесть разыгрывалась в сценах, передавалась по радио.

Невозможно равнодушными глазами смотреть на письма читателей, на эти пестрые конверты, исписанные детским почерком, на трогательные подарки — открытки, альбомы с рисунками, на школьные сочинения, украшенные малиновыми и желтыми цветочками.

«Теперь я знаю, как мне жить», — писал ученик 7-го класса из города Орла. Кого не взволнуют эти искренние слова, сказанные человеком, только вступающим в большую жизнь?

Чем чаще приходили письма, тем радостнее становилось у меня на душе: значит, правильно поступил, отдав этой работе много труда.

Читатель из города Кокчетава Григорий Конопля с трогательной решительностью заявляет:

«Мне стало ясно теперь, каким должен быть комсомолец нашего времени. Я запомнил слова Васьки: «В тебя стреляют, а ты иди! Тебе больно, а ты не плачь!..» Я решил, что нет ничего на свете, чего бы не победил комсомолец...»

Если книга воспитала хотя бы одного бойца — это уже победа. Я писал повесть, думая об одном — говорить правду и рисовать жизнь, как бы ни была она сурова. Ведь только так можно разбудить в человеке чувство примера и сознание долга.

Размышляя над письмами читателей, я снова и снова утверждаюсь в своем давнем и неизменном правиле, что книга писателя должна сражаться, как солдат,

должна «работать», будя в человеке мысли и зовя на добрые дела.

Вот как понимает роль книги ученица сельской школы Галя Слюсарь, посвятившая «Повести о суровом друге» свое стихотворение:

Мы вырастем, станем большими,
По верной дороге пойдем,
И с книгой нас враг не поборет,
И с книгой мы счастье найдем.

Письма, письма... Не представляю, как мог бы работать писатель, не «разговаривая» со своими читателями посредством встреч и писем. В каждом письме читателя свои особенности, свой характер. И как тут не привести еще одно, по-детски наивное, чистосердечное и милое письмо:

«Здравствуйте, дорогие писатели нашей Родины!.. Я хотел сам быть советским писателем, но я прочел «Повесть о суровом друге», и меня очень взяло стремление стать летчиком и драться в воздухе за свою любимую Родину...»

Нет, такие письма не проходят бесследно, они обязывают — хочется снова и снова работать, искать, думать.

«ТЫ ОДИН МНЕ ПОДДЕРЖКА И ОПОРА...»

На этом можно было закончить рассказ о том, как была написана эта книга, рассказ о жизни и нелегком нашем писательском труде.

Какой вывод хочется сделать? Очевидно, тот, что повесть создавалась не одной лишь учебой или трудом, а всем опытом жизни — поэзией детства, горечью сиротских дней, трудностями, сомнениями. Говоря иными словами, чтобы написать «Повесть о суровом друге», мне самому нужно было прожить большую и довольно сложную жизнь.

О чем еще сказать? Что помогало мне в творчестве и без чего я не мог обойтись в работе?

В годы юности я не знал, что художественное мастерство, его сила и глубина зависят от того, хорошо ли владеет писатель главным оружием своего труда, основой всех основ — языком.

Как для строителя необходим кирпич — без него не возведешь здания, так и для писателя обязательно,

неотложно знание языка. Язык — это «характер» писателя, его душа.

В дни нашей юности я, как и многие современные юноши и девушки, ошибался, думая, что «модные» в то время словечки, которыми мы пользовались в разговоре друг с другом, есть развитие языка. Мы говорили: «зекай» вместо «гляди», «будь спок» вместо «не волнуйся». Мне казалось тогда, что эти слова отражают время, что они характерны. Помню, меня удивили слова Максима Горького, напечатанные в газете:

«С величайшим огорчением приходится указать, что в стране, которая так успешно в общем восходит на высшую ступень культуры, язык речевой обогатился такими нелепыми словечками и поговорками, как, например, «мура», «буза», «волыннить», «шамать», «дай пять», «на большой с присыпкой», «на ять».

Мы, молодежь, в особенности «литературная», не были согласны в душе с замечанием большого писателя. Зато сколько горя принесла мне та словесная шелуха, тот языковый суррогат и мусор, которые принимал я за новый язык! С какой болью освобождался я от этих наслоений, въевшихся в меня, подобно ржавчине! Я с жадностью и вниманием читал произведения классиков и медленно «оттаивал». А когда погрузился в чистые родники русской речи, когда почувствовал «аромат» тургеневского, а потом лесковского и пришвинского языков, понял цену «новым» словам.

Все в жизни повторяется. И когда я слышу сегодня, как разговаривают между собой многие молодые люди, говоря «чувак» вместо человек, «кончай смеяться» вместо «не смейся», «сила» вместо «хорошо», «побацаем» вместо «потанцуем» и т. д., мне становится жалко этих юношей и девиц. Они проходят мимо Прекрасного, чем является чистая русская речь. Они обедняют себя и унижают в одно и то же время. Трудно будет им освободиться от этих диких словечек, порожденных невежеством и малограмотностью. Да, да, малограмотностью, ибо человек образованный никогда не станет произносить эти вульгарные словечки. Пройдет время, и эти молодые люди в силу законов жизни сами станут воспитателями. Тогда-то и обернется недостатком их нынешняя скудная и засоренная речь.

Я отвлекся от главного разговора, но читатель, на-

деюсь, простит мне мое волнение. Оно продиктовано любовью к подрастающему поколению.

Для писателя язык — как воздух для крыла птицы. Без знания его, без овладения всеми его несметными богатствами писателя быть не может.

Говоря о работе над языком «Повести о суровом друге», я хочу заметить только одно: я старался не засорять речь своих персонажей сомнительными словечками, хотел, чтобы они говорили по-человечески, хотя, как я уже сказал выше, в те годы мы разговаривали на засоренном уличном языке.

Я знал, что спасение мое в языке народном. Для того чтобы повесть передавала дух и характер шахтерского края, я тщательно изучал и обдумывал местную речь, отбирал слова, бытующие там: «террикон», «жу-желица», «ставок»; старался использовать украинскую народную речь, тоже очень характерную для Донбасса.

Иные слова я просто-напросто лелеял — так они мне нравились. Например, в детстве мы говорили в Донбассе не «радуга», а «райдуга». Мы верили, что радуга — дорога в божье царство, в рай. Ну, а если так, то дорога эта может быть только такой красивой и сказочной. Поэтому — райдуга. Из одного слова в повести выросла целая картинка.

Поскольку я коснулся здесь ребячьих верований, очень характерных для того времени, потому что религия давила своим гнетом, народ пребывал в невежестве и суевериях, меня такое взяло искушение использовать в повести эти суеверия, что я погрузился в сборники народного фольклора и даже в религиозные книги. Потом я понял, что это придало книге особый народный колорит, помогло мне ярче обрисовать образы и передать неповторимый характер времени.

Я старался широко использовать народное творчество: старинные шахтерские песни, украинские народные сказки, пословицы и поговорки. Без этого язык повести многое потерял бы. Не напрасно говорит мудрость: в языке ищи душу народа. Как же иначе можно сделать книгу близкой народу, если не использовать все сокровища языка и народного творчества?

В одном своем произведении известный русский историк и писатель Н. М. Карамзин говорил:

«Богатство языка есть богатство мыслей, он служит первым училищем для юной души».

В наше время нужно особенно глубоко изучать язык, этого требует сама жизнь. Теперь совершаются такие великие деяния и рождаются такие яркие, поистине героические характеры, что произведения искусства обязаны быть равными им по глубине мысли и богатству языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мне хочется закончить разговор о повести одним очень интересным, поистине трогательным письмом. Приведу его полностью:

«Только что закончила читать книгу писателя Л. Жарикова. Повесть мне очень понравилась. Понравилась суровая дружба Лени и Васи, понравились герои книги — рабочие завода и шахтеры Егор Устинов, Анисим Иванович и другие. Все они непреклонно боролись за свободу и счастье народа.

Очень жаль, что погиб Васька, что погибли Егор, Мося и Надя, но ведь, к сожалению, никакая борьба не обходится без жертв.

Когда я закончила читать книгу, то мне показалось, что я прочла лишь отрывок из большой книги, рассказывающей о борьбе поколений. Очень хочется узнать, что было дальше, как сложилась жизнь Лени и его друзей, оставшихся в живых. Какую профессию выбрал он? Ведь он так хотел быть рабочим, мозолистые руки которого умеют все сделать!

Наверное, места, где жили герои повести, теперь изменились: серая донецкая степь теперь уже не такая серая, и землянок там нет, и мелкая речка Кальмиус, на берегу которой умер Васька, быть может, стала полноводной рекой. Или совсем пересохла? Обо всем этом хотелось бы прочитать в продолжении «Повести о суровом друге»...

Лия Овчинникова, студентка Тамбовского педагогического института».

Всю жизнь я пишу о Донбассе и часто бываю в родной стороне.

Это правда, речки Кальмиус уже нет, и там, где она протекала, раскинулось теперь огромное водохра-

нилище с песчаными пляжами, с белыми парусниками и моторными катерами, бороздящими синюю водную гладь. Правда, что нет землянок. Вместо них пролегли через весь огромный город широкие проспекты с многоэтажными домами, кинотеатрами и кафе, институтами, дворцами культуры, с высоченной мачтой телевизионного центра.

Сердце радуется, когда я вижу эти великолепные перемены. Я всегда думаю о том, что сегодняшний Донбасс — лучший памятник тем, кто отдал свою жизнь за рабочее дело, за дело партии Ленина. Жизнь, о которой мечтали маленькие герои повести, пришла на донецкую землю. И хотя досталась она ценою пролитой крови, она пришла. Приезжайте в Донбасс, когда там цветет белая акация и воздух, отдающий дымком, напоен пьянящими ароматами. Там живут шахтеры, великие труженики, герои подземного труда, мои суровые и нежные друзья.

Нелегко далось мне ремесло литератора. Но я люблю свою профессию именно за то, что она трудная, и еще за то, что она требует постоянной учебы.

Какое это счастье — узнавать то, чего ты не знал, бывать там, где не бывал, учиться у жизни, у книг, у птиц и звезд, учиться неустанно, идти по нескончаемой дороге знаний к манящим горизонтам и знать, что дорога эта никогда не кончится!

Иди же по ней и делай открытия, мой юный друг! Счастливых находок тебе!

Леонид Жариков

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ О СУРОВОМ ДРУГЕ

Часть первая. В цепях	7
Глава первая. Царь	9
Глава вторая. Бог	36
Глава третья. Красные маки	68
Глава четвертая. Конец империи	99
Глава пятая. Апрель	119
Глава шестая. Битва на реке Кальмиус	153
Часть вторая. Буря	177
Глава седьмая. Октябрь	179
Глава восьмая. Флаги над городом	198
Глава девятая. Немцы и германцы	219
Глава десятая. Любовь	241
Глава одиннадцатая. Деникинцы	260
Глава двенадцатая. Последняя ночь	292
СТРАНИЦЫ ПЕРЕЖИТОГО	311

*Для детей среднего
и старшего школьного возраста*

Леонид Михайлович Жариков

ПОВЕСТЬ О СУРОВОМ ДРУГЕ

Редактор Э. С. Смирнова
Художественный редактор М. В. Таирова
Технический редактор И. И. Капитонова
Корректор З. И. Шехмейстер

ИБ № 1906

Сдано в набор 21.09.79. Подписано в печать
09.04.80. А02890. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типо-
графская № 1. Гарнитура школьная. Печать вы-
сокая. Усл. п. л. 18,48. Уч.-изд. л. 18,34. Тираж
100.000 экз. Заказ № 459. Цена 80 к. Изд. инд.
ЛД-260.

Издательство «Советская Россия» Государст-
венного комитета РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Москва,
проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома
Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Электросталь Московской области, ул. им. Те-
восьяна, 25.

五言古詩
卷之四

五言古詩
卷之四